



В ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ





В ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ

К 70-летию
Пограничных войск
КГБ СССР



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 84Р7—4
В 11

Составитель
В. ТУРАПИН

**В пограничной полосе: Повести, рассказы / Сост.
В 11 В. В. Турапин; Предисл. П. А. Иванчишина. — М.:
Мол. гвардия, 1987. — 368 с., ил. — (Стрела).**

1 р. 30 к. 150 000 экз.

Очередной сборник серии «Стрела» посвящен воинам-пограничникам. Велика протяженность нашей границы. В Заполярье и Кушке, в Бресте и на острове Ратманова зимой и летом, днем и ночью идут по дозорным тропам солдаты в зеленых фуражках. Самоотверженность, преданность своему народу — таковы основные черты этих молодых людей. Издание рассчитано на массового читателя.

В 4702010200—014
078(02)—87 211—86

ББК 84Р7 — 4

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.

ЧАСОВЫЕ ГРАНИЦЫ

Рядом со святым понятием — Родина — для меня, человека военного, есть и другое, не менее дорогое и трепетное, — граница. Здесь берет начало наше великое Советское государство. Отсюда, от первых заповедных метров земли нашей, распахиваются необозримые дали Отечества с его горами и долами, полноводными реками, бескрайними лесами и нивами... Именно тут, на государственном рубеже, вчерашний школьник постигает суровую солдатскую науку бороться и побеждать, обретает прочную идейную, нравственную закалку, бдительно и надежно с оружием в руках охраняет покой и мирный труд отцов и матерей, братьев и сестер.

Граница... Ей чужд покой, неведомо затишье. Она живет по своим, особым законам — законам передовой линии и оттого всегда напоминает взведенный курок. Границу справедливо называют еще и политическим барометром, потому что она мгновенно и чутко реагирует на малейшие изменения в мире, малейшую напряженность в международной обстановке.

Вдоль границы на всем ее протяжении в шестьдесят с лишним тысяч километров стоят пограничные заставы. А каждая застава — это люди, оберегающие в бессменном дозоре передний край Отчизны. Они хорошо знают, какую святыню доверили им партия, народ, и неизменно зорек их взгляд, горячи сердца, тверда их поступь по родной советской земле, куда путь для врага заказан. Они не любят громких слов. Но героические дела сегодняшних наследников боевой славы дедов и отцов, отстоявших мир в суровых испытаниях Великой Отечественной, говорят сами за себя. В этом убеждает и оценка партии, данная органам государственной безопасности и Пограничным войскам на XXVII съезде КПСС: «Мы убеждены, что советские чекисты, воины-пограничники всегда будут находиться на высоте предъявляемых к ним требований, будут проявлять бдительность, выдержку и твердость в борьбе с любыми посягательствами на наш государственный и общественный строй».

Вместе с часовыми границы в едином строю несут боевую вахту и их верные помощники — книги, в ряду которых и книги о пограничниках, такие, как повесть В. Беляева «Граница в огне», повесть П. Федорова «В Августовских лесах», роман О. Смирнова «Прощание». С любовью читают их на каждой заставе.

Пограничные войска, созданные по декрету, подписанному В. И. Лениным 28 мая 1918 года, стоят на пороге своего 70-летия. Весь их славный боевой путь в нашей литературе воспет.

Немало книг о пограничниках выпущено издательством «Молодая гвардия». Вот и очередной сборник повестей и рассказов «В пограничной полосе» посвящен советским пограничникам, их суровой, напряженной службе на границе. В повести Е. Воеводи-

на «Пуд соли» действие происходит на северных рубежах, на далеком острове, где пятеро молодых воинов, возглавляемых сержантом, несут службу на посту технического наблюдения: днём и ночью «ощупывают» лучом прожектора и волнами радиолокационной станции вверенный участок. «Пуд соли» нужно было вместе съесть солдатам, прежде чем они поняли, как сроднила их граница. То же самое можно сказать и о героях повестей В. Пшеничникова и П. Ермакова. Приключенческий с виду сюжет не заслоняет главного — характеров людей, таких разных и таких схожих в беззаветном служении Родине.

Вчитайтесь глубже в строки повестей и рассказов, взгляните внимательнее в лица героев этих произведений — ваших сверстников, и вы наверняка почувствуете дыхание границы, ее пульс, который сегодня, как и семь десятилетий назад, бьется напряженно. Перед вами воочию, зримо предстанут люди, которым доверено высокое и святое, ответственное право стоять с оружием в руках на переднем крае родной земли...

*Первый заместитель начальника
Политического управления
Пограничных войск КГБ СССР
генерал-майор В. НАЗАРОВ*

ПАВЕЛ ЕРМАКОВ

ПОКА НЕ ПАЛ ТУМАН





Этой повестью я обязан своему товарищу-пограничнику, продолжающему службу на границе. Невероятная на первый взгляд, эта история случилась в начале шестидесятых годов на Н-ской заставе Западного пограничного округа.

Автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Задержанный нарушитель границы, пока его везли на заставу, и потом, сидя на табуретке посредине комнаты, молчал. Малоподвижное, заросшее короткой, рыжеватой, словно подпаленной, щетиной лицо не выражало ничего, кроме усталости и изнеможения. Плечи были вяло опущены. Казалось, в эти минуты у него жили только глаза. В них изредка вспыхивали тусклые огоньки, по которым можно было определить, что мысль его напряженно работает, что он беспокоится за свою судьбу. Да еще по рукам, нервно мявшим суконную кепчонку, запорошенную не то опилками, не то отрубями.

По одежде нарушитель вполне сошел бы за крестьянина или лесоруба. С плеч мешковато свисал просторный, изрядно поношенный и порванный во многих местах брезентовый плащ. На ногах были ботинки из грубой кожи, с толстой рубчатой подошвой.

— С какой целью вы нарушили советскую государственную границу? — в который уж раз спрашивал его начальник пограничной заставы Серов, стараясь казаться спокойным.

Битых полчаса он пытался получить показания от нарушителя, а тот или притворялся, что не понимал, о чем его спрашивали, или молчал сознательно, что-то выжидал, выгадывал.

Стоял теплый вечер. В распахнутом настежь окне темнота еще не загустела, и небо вдали, над лесом, чуть тлело последними неяркими красками заката. Наплывали пряные запахи провяленной горячим солнцем и ветром травы, смородинника, обильно разросшегося в палисаднике.

Серов поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Остановившись позади задержанного, он взглянул на его заросший затылок, поникшие плечи. Своим внеш-

ним видом нарушитель границы производил впечатление человека жалкого, обездоленного, изнуренного тяжелой, может быть, подневольной работой. И молчание его казалось странным: если он крестьянин, перешел границу случайно, почему же об этом не рассказать?

Задержание его прошло быстро, без помех.

После боевого расчета Серов направил на границу инструктора службы собак сержанта Короткова — до наступления темноты проверить контрольно-следовую полосу. Сам не успел дома и чашки чаю выпить, как Коротков доложил, что обнаружил следы. Отпечатки были ясно видимые, «горячие», и розыскной пес Кузнечик с ходу их взял.

Нарушитель не маскировал, не прятал свои следы. Углубился на нашу территорию километра на два с половиной и, когда возвращался, был настигнут и задержан Коротковым ближе к стыку с участком соседней заставы. Сопrotивления не оказал.

И вот он сидел перед ним, старшим лейтенантом Серовым, и... молчал. Проще простого было бы тотчас же снарядить машину, отправить нарушителя в пограничный отряд, занести на боевой счет заставы очередное задержание, отметить отличившихся пограничников и на этом поставить точку. Но что-то удерживало Серова от такого решения. А что — он и сам пока определенно объяснить не мог. Даже мысленно подтрунивал над собой. Дескать, пока прохлаждался в отпуске, от границы отвык и теперь осторожничаешь, призываешь на помощь изречения, вроде семь раз отмерь...

Серов остановился у окна, закурил. «Ни черта не выходит, — досадовал он. — Следовательно из меня непутевый...»

Нарушитель шевельнулся на стуле, взгляд его упал на пачку сигарет. Серов предложил ему закурить. Задержанный осторожно взял сигарету, глубоко затянулся. И вдруг заговорил:

— Господин офицер, я не виноват. Границу перешел случайно, по ошибке. Заблудился.

Торопясь, он рассказал, как заплутал в поисках потерявшейся коровы. Бурая, с толстыми короткими рогами, она постоянно паслась поблизости от дома и неожиданно исчезла. Он ее искал с полудня, не соечитать, сколько километров обошел, в лесной чаще одежду порвал о сучки, ноги промочил. Увидел незнакомые места, понял, что перешел границу. Испугался и сразу по-

вернул обратно. А тут солдаты... Дома его, наверное, хватились, тревожатся. Отпустить надо, он не виноват. Произошло досадное недоразумение.

Пожалуй, все, о чем он говорил, походило на правду. Пограничники неоднократно задерживали людей, нарушавших границу с хозяйственными целями: в поисках сушняка на дрова, делянки для косьбы, потерявшегося скота. Те нарушители о себе рассказывали охотно. Жаловались на жизнь, на изнурительную работу от зари до зари, не приносящую, однако, ни достатка, ни радости, на несправедливость законов, по которым лучшие участки земли принадлежали богатым хозяевам. Все они бывали столь же небогато одеты, как и этот задержанный.

С теми быстро наступала ясность. После уточнения всех деталей и получения доказательств случайного нарушения границы составлялся акт и задержанный передавался пограничным властям сопредельной стороны.

В окне появился Коротков. На гимнастерке его проступили пятна, по распаренному, словно после бани, лицу текли струйки пота. Он быстро и зло взглянул на задержанного, и тот еще больше сжался под его взглядом.

— Товарищ старший лейтенант, можно вас на минутку? — шумно выдохнул Коротков.

Кивнув часовому — не спускать глаз с задержанного, — Серов вышел.

— Что у вас?

— Почти ничего, — облизнув пересохшие губы, сказал сержант. — Как вы приказали, я произвел обратную проработку следа. Ни одного предмета ни справа, ни слева нарушителем не оставлено. Ни петли в следах... Ничего такого нет. А сомнение есть!

Коротков ребром ладони смахнул пот со лба. Капли упали на доски крыльца.

— Извиняюсь... жарко. Торопился шибко, понимаете? Когда нарушителя на машину сажали, я его подтолкнул к контрольно-следовой полосе. В лесу-то палая хвоя да лист, след не разглядишь. А на КСП отпечатки что надо. Понимаете?

— Ближе к делу, Коротков.

— Слушаюсь! Теперь самую суть изложу. Я измерил следы на «входе» и на «выходе». Вот тут-то и загадка...

Порывшись в кармане, Коротков достал две палочки, сложил их рядом. Одна была короче.

— Эта, подлиннее, обозначает глубину следа на «входе», вторая, покороче, — на «выходе». Понимаете?

Серов передернул плечами, как при ознобе. Любил Коротков разводить турусы. Да еще это «понимаете» прицепилось.

— Земля под подошвой на «входе» примята сильнее, чем на «выходе», след глубже, — убеждал Коротков.

— Вам не показалось?

— Как же... показалось, — в голосе Короткова прозвучала обида. — Товарищ старший лейтенант, мой вывод такой: нарушитель по неизвестной причине полегчал. Это уж как пить дать... Извиняюсь. — Сержант приподнял фуражку, поскреб в затылке. — Только удивительно, когда шли по следу, Кузнечик ни разу не отвлекся. Значит, все чисто. Уж он-то маху не даст, он бы почуял. Понимаете?

Как не понять. В том, что говорил Коротков, крылось что-то серьезное. И затянувшееся молчание нарушителя теперь не выглядело простым испугом. За ним, может быть, таилась какая-то уловка... Но какая? Серов решил сам выехать на контрольно-следовую полосу и все тщательно проверить, а Короткова, хоть он и его Кузнечик порядочно утомились, вновь послать по следу. Ничего не попишешь, обстановка вынуждает. Приказал сержанту встречать его на «выходе» у следов.

Через минуту «газик» мчался по лесной просеке. Колеса подпрыгивали на перехлестнувших дорогу корневищах могучих сосен и елей, низко свисавшие мохнатые лапы ветвей стегали по брезентовому тенту.

«Круто дело поворачивается, — думал Серов, вглядываясь в сумрак леса, рассекаемый лучами фар. — Поворачивайся и ты побыстрее, товарищ начальник. Это тебе не у тещи... на блинах».

Втихомолку усмехнулся последней мысли, адресованной себе. Ведь вчера еще ни о чем таком, что подбросила ему граница сегодня, Серов и не помышлял, потому что находился в отпуске. Вчера лишь сошел с поезда. А приехал именно от тещи, где отведал и блинов. Отпуск у него, правда, не кончился. Осталось несколько дней. Хотелось порыбачить на здешних озерах, сходить с женой Ольгой по грибы, благо их тут хоть косой коси. Но как утром «на минутку» заглянул на заставу, так за весь день оттуда и не выбрался. Не потому, что случи-

лось что-то непредвиденное и потребовалось его срочное вмешательство, а по извечной привычке и неписаному правилу офицера границы: быть на заставе и не жить се заботами просто невозможно.

Серов встречал возвращавшиеся со службы пограничные наряды, со старшиной Симоновым обошел и осмотрел хозяйство. В «гарнизоне» был полный порядок, в помещениях чистота, уют, огород ухожен. Симонов многие годы находился на сверхсрочной, старшинские обязанности любил, и Серов в этом смысле чувствовал себя за ним как за каменной стеной.

В полдень старшина отправился на участок достраивать мост через ручей и обновлять кладки.

— Спрявим дозорку, не нужно будет обходить болотину, — пояснил он. — Козырев со своими ребятами приедет.

Мастер лесопильного завода Алексей Дмитриевич Козырев был давним другом заставы и постоянным добровольным помощником в охране границы. Ни один поиск не обходился без его участия, да и крупные работы по хозяйству тоже.

Замещавший начальника замполит Гаврилов доложил, что служба идет в обычном ритме, обстановка на границе нормальная. И вот — на тебе...

Колеса в последний раз подпрыгнули на корневниках, «газик» вырвался из лесного коридора и мягко покатился вдоль широкой ленты контрольно-следовой полосы.

Одного взгляда достаточно было Серову, чтобы убедиться в правоте Короткова. Кажется, пограничников, а стало быть, и его, начальника заставы, обвели вокруг пальца. Значит, поиск, о котором Серов вначале подумал как о легко и скоро закончившемся, далеко не завершен, а только начинается.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Минут десять-пятнадцать пришлось подождать, пока появился Коротков.

— Опять пробежались впустую, — запыхавшись, виновато доложил сержант, и Серову показалось, что он, лучший после Симонова следопыт, озадачен и сбит с толку. — Всю дистанцию Кузнечик прошел чисто. Не споткнулся.

«Чертовщина какая-то, — появилась у Серова тре-

вожная мысль. — Не испарился же ни с того ни с сего вес нарушителя. Только сам он может внести ясность».

— В машину, — распорядился Серов.

Коротков тяжело плюхнулся на сиденье, Кузнечик, впрыгнув в «газик», тотчас улегся на пол, положив голову на вытянутые лапы.

«Досталось обоим», — жалеючи подумал Серов, а на заставе, когда приехали, приказал:

— Пока отдыхайте. Собаку покормите, возможно, скоро придется снова работать.

Совсем стемнело. Лес, окружающий заставу плотной стеной, казалось, придвинулся еще ближе, навис темной громадой над казармой и офицерским домом. Во дворе было тихо. В беседке, затянутой кудрявыми побегами хмеля, мелькали огоньки сигарок. Навстречу Серову вышел замполит Гаврилов.

— Обстановка изрядно осложнилась, — отвечая на его немой вопрос, сказал Серов.

— Значит, все-таки нарушитель что-то или кого-то нес на себе? Так надо понимать?

— Можно только предполагать, — ответил Серов, отряхиваясь от пыли. — Надо немедленно перекрыть границу.

Заставу подняли по тревоге, и через минуту наряды, одни на машине, другие пешим порядком, отправились на перекрытие важнейших направлений.

В канцелярию заглянула Ольга. Она держала за руку четырехлетнего сына Костика. Мальчик зевал и потирал глаза.

— Что случилось? — спросила Ольга.

— Пока ничего особенного. Задержали нарушителя.

— А почему — «в ружье»?

— Остались некоторые невыясненные обстоятельства. — Серов подошел к Ольге, обнял за плечи, притянул к себе, сказал успокаивающе: — Все обойдется. Ступайте-ка с Костиком спать. Я задержусь.

— А кино?.. Когда будет кино? — запротестовал Костик.

— Кино посмотрим завтра. Сейчас маршируй в кровать. Глаза твои давно уж спят.

Костик было заупрямился, но тут же согласился. Завтра — это не так далеко. Поспит, и будет завтра. А сегодня, за первый день после возвращения от бабушки, на заставе было так много впечатлений, душа его настолько переполнилась светлыми, восторженными

чувствами, что он размяк и не в состоянии был противиться. Для виду нахмурил брови, точно так, как хмурил их отец, когда с чем-то был не согласен, невнятно пробормотал:

— Только ты приходи скорее, сказку мне доскажешь...

Ольга подняла его на руки, и Костик уронил голову ей на плечо.

— Во, на галопе заснул, — рассмеялся Серов, а мысли его уже были заняты тем, как подступиться к нарушителю, выудить у него истину, которую тот скрывает.

Появился старшина Симонов. Шагнул через порог, заслонил могучей фигурой дверной проем, и в комнате словно стало теснее.

— Разрешите доложить, — развёрнув широченную грудь, пробасил он. — Мостик готов, кладей осталось проложить всего ничего: метров семь. Основное сделали. Алексей Дмитрич свою артель почти в полном составе привел. Известно, гуртом и батьку бить сподручнее...

У старшины еще не прошло возбуждение от недавней работы. От него веяло запахом дыма, смолы и еще чего-то удивительного, лесного.

— Спасибо, Егор Петрович, — Серов пожал Симонову руку, ощутил жесткую кожу на ладони и бугорки мозолей. — На лесопилку я, как освобожусь, съезжу, поблагодарю Козырева и его ребят. Приглашу на заставу.

— Они сегодня собирались заехать, повидаться с вами, да тут не до гостей. Я в курсе... с дежурным связь поддерживал, — Симонов погасил улыбку, кивнул в сторону комнаты, где содержался нарушитель. — Не признается? Чую, крутит быка за хвост.

— Давайте его сюда! — Серов задернул шторку на схеме участка.

— Часовой! Мигом задержанного сюда! — гаркнул старшина так, что на столе звякнул стакан о графин с водой.

Однако нарушитель повторил свой рассказ, ничего не убавил и не прибавил. Теперь он был более оживлен, казалось, страх, тяготевший над ним, отошел. Даже какое-то подобие улыбки появилось на его заросшем лице.

— А ну, руки! — неожиданно приказал старшина,

и задержанный опять сжался в комок. — Покажите руки!

Поняв, что от него потребовали, вытянул руки.

— Так я и думал, — сердито сказал старшина, покачивая головой. — Он такой же крестьянин, как я папаримский. Наврал он нам с три короба, — старшина, когда горячился, не особенно подбирал выражения. Серов не сдерживал его, может, именно такой ход Симонова и поможет расшевелить нарушителя. Выставив вперед свои широкие, как лопаты, задубелые ладони, старшина гремел: — Вот рабочие руки! А у вас они просто грязные. Испачкали, поцарапали, продираясь через лес.

Повернулся к Серову, быстро шепнул на ухо:

— Точно — гусь лапчатый. Его надо повести на следы, как преступника на место преступления. Не может быть, чтобы он там себя не выдал. Разрешите мне вместе с Коротковым?

Серов кивнул, и Симонов, предупредив: «Я только вооружусь», выскочил из канцелярии. Нарушитель бросил ему вслед встревоженный взгляд.

Через пару минут старшина возвратился. На ремне у него висела брезентовая сумка с магазинами, в руке он держал казавшийся при его могучей фигуре игрушечным автомат.

— Хватит рассиживать попусту, пошли! — повелительно сказал он нарушителю.

С тем вдруг произошло что-то неуловимое, он обмяк, заерзал на табуретке и не вставал, будто у него отказали ноги. Не мигая, он смотрел на Серова, недоумевал: почему молчит господин офицер? А Серов жестко приказал:

— Встать!

В глубоко спрятанных глазах нарушителя плеснулся страх. Он не понимал действий пограничников и сделал поспешный, явно неверный вывод.

— Куда вы меня поведете? Зачем? Я устал, хочу спать, — забормотал он. — Я ни в чем не виноват.

— Видели его — притомился! Так здесь для тебя гостиницы не приготовили. Гость нежданный, — Симонов навис над нарушителем. — Покажешь нам, где границу перешел. Потопаешь еще, не переломишься...

— Спокойно, старшина, — сказал Серов.

— Это есть камуфляж, — торопливо заговорил нарушитель, захлебываясь словами, то прижимая руки к груди, то хватаясь за полы плаща. — Меня прину-

дили. Дали деньги, пообещали дать еще. Я принес на себе человека. Едва сердце выдержало, пока тащил его.

— Куда он подевался?

— Больше я ничего не знаю. Он спрыгнул с моей спины в ручей и сказал, чтобы я шел обратно. Когда отправляли нас с той стороны, грозили, если попадусь, должен молчать. Меня уверяли, что со мной ничего плохого не случится.

Значит, тот соскочил в воду со спины, а этот перешел ручей по мосткам. Ручей тек в сторону от границы, пересекал сосновый бор и там вливался в таежную реку. Серов представил себе ту местность. Пожалуй, к реке враг не пойдет. Там ни дорог, ни населенных пунктов. Наверняка путь его лежит к железной дороге и дальше — в город. Где-то он из ручья выбрался. Надо пройти по берегу и отыскать след.

— Как выглядит этот человек? Куда он направляется? — повторил свой вопрос Серов.

Но так ничего толком и не узнал из дальнейшего опроса нарушителя.

Того человека, твердил задержанный, он, по существу, не видел. До границы его сопровождал кто-то другой, а этот молча взгромоздился на спину, даже лица своего не показал... Что теперь будет? Пропали обещанные деньги. А деньги ему так нужны.

— Ах, обормот! — заключил Симонов. — Нашел средство наживы. Крепкая тюрьма по тебе плачет.

— Уведите его, — приказал Серов и, когда часовой увел задержанного, сказал Симонову: — Вам, Короткову и резерву — пятиминутная готовность.

Кажется, что-то прояснилось: задержан проводник. За деньги готов на любую пакость. Трясется, глаза мертвеют, когда заговаривают о деньгах. Кому полагается, с ним разберутся досконально. Для Серова сейчас важно задержать другого, который, очевидно, гораздо опаснее. И надо спешить, не дать ему выйти на пути оживленного движения, затеряться.

Во дворе заурчала машина, скрипнули тормоза. Появился лейтенант Гаврилов, доложил о перекрытии нарядными назначенных им участков границы.

— Хорошо, — отозвался Серов и снял трубку.

Телефонист вызвал ему соседнюю заставу, где вот уже третьи сутки находился начальник пограничного отряда полковник Коновалов, инспектировал ее вместе с группой офицеров штаба и политотдела. Серов еще не

встречался с ним. За время его отпуска произошли перемены, прежнего начальника отряда перевели в округ, приехал новый, с дальневосточной границы. Молва рисовала его человеком суровым и требовательным. Почти все дни, как принял отряд, он проводил на заставах, часто ходил по участкам пешком или ездил то на машине, то на коне, вникал в мелочи, разговаривал с солдатами и офицерами. И боже упаси начальнику заставы или его заместителю быть не уверенным, не осведомленным в том, что по долгу службы обязан знать.

«Нет, он стружку не снимает, как наш прежний «батя», много слов не тратит, — рассказывал Серову один из тех, кто «малость подзаплыл» перед начальником отряда. — Посмотрит так, что станет неуютно на душе. Да еще напомним, мол, застава — это основное звено в охране границы. Нельзя ему дать порваться, а вы, кажется, недостаточно полно это себе представляете».

Возможно, суровости полковнику офицер прибавил, как «пострадавший», и передал Серову сугубо свое мнение. Но такая характеристика Серову пришлась по душе. Он и сам в подчиненных ценил четкость и определенность.

О своем возвращении из отпуска доложил Коновалову по телефону. Полковник сказал, что знакомиться с ним будет на месте, на заставе.

Сейчас он спокойно выслушал доклад о происшествии на границе. Серову пришлось подождать, пока полковник спросил у кого-то карту, уточнил квадрат, где нарушитель спрыгнул в ручей. Действия Серова по перекрытию границы и решение вести поиск вдоль ручья одобрил, сказал, что район будет блокирован. Последнее особенно порадовало Серова, потому что людей в резерве у него не осталось, посылать в заслоны было некого.

У сидевшего рядом и слушавшего разговор Гаврилова загорелись глаза. Он ждал, когда начальник заставы прикажет ему выступить... Но Серов, положив трубку, сказал другое:

— Остаетесь на заставе за меня. Рацию держать включенной постоянно. Все вопросы решать, исходя из сложившейся обстановки, в интересах успешного проведения поиска.

— Есть! — ответил Гаврилов.

Получалось не так, как он замышлял. Но он понимал своего начальника: тот шел туда, где решалась сейчас главная задача.

На дорожке, в падающей из окна полосе света, стояли пограничники. Симонов, с автоматом за спиной, что-то перебирал в вещевом мешке. К нему торопливо подошел невысокий худощавый солдат, подал увесистый сверток.

— Молодец, Петькин! А я гляжу — где же наши харчи... — одобрительно проговорил старшина и сунул сверток в мешок. — Ну, ступай седлать коней. Да поспеши.

Коротков присел на корточки, гладил Кузнечика, что-то тихо говорил ему. Уши собаки пригибались под его рукой и снова вспархивали треугольными флажками, глаза косили на хозяина.

Пора было выходить, но не успел Серов дойти до двери, как зазвонил телефон, соединяющий заставу с лесопильным заводом. На проводе был Козырев.

— Может, я напрасно отрываю вас от дела, — заговорил Алексей Дмитриевич, когда Серов взял трубку. — Но и не сообщить, считаю, нельзя. Подозрение у меня возникло... Днем, как направлялись мостик строить, я с парнями подъехал до тупика на ручной дрезине. Оставил ее там. Закончили работу, к ней же подался, потому как в баню торопился. Остальные-то ребята на повозке поехали, я рассчитывал на дрезине. Пришел к тупику, а самокат наш кто-то угнал. Дернули по шпалам своим ходом, дрезину обнаружили на середине пути.

— Если точно — в каком месте?

— Помните, сушняк после давнего пожара? Аккурат не доходя до него метров двести. Дрезину мы не тронули, обошли стороной. Там поблизости наши мужики сегодня дрова для школы пилили.

Железнодорожный тупик был в глубине участка заставы Серова. Ветка на несколько километров врезалась в лесной массив. Года четыре назад там начали лесоразработки, да вскоре прекратили. Но шпалы и рельсы не сняли, дорога заросла кустами и травой. Рабочие с лесопилки ездили по ней на дрезине: зимой сухостой на дрова перевозили, летом отправлялись по грибы.

— Может, кто-то из дровосеков воспользовался дрезиной? — спросил Серов.

— Спрашивал я мужиков-то, не брали они.

— Огромное спасибо, Алексей Дмитриевич, за сообщение. Будем немедленно проверять. — Серов помолчал. — Знаю, вы сегодня не отдыхали, воскресенье в рабочий день превратилось... по нашей милости. Но то, что вы рассказали, чрезвычайно важно.

— Уловил, Михаил Федорович, дальнейших пояснений не требуется. Укажите только пункты.

— Дорогу и лощину южнее поселка перекройте, если сможете, пожалуйста.

— Будет сделано. Бегу будить ребят, в другой раз доспят. Не беспокойтесь, товарищ начальник заставы, службу будем нести как надо, — заверил Козырев.

Так вот запросто — «бегу будить ребят». А ведь известно для чего — не на огород сходить, лукового пера нащипать для похлебки. Поднимутся, займут рубеж, указанный Серовым, и чужой через него не проберется.

У Козырева слово крепкое. В прошлом году Серов снаряжал с заставы в поселок делегацию — чествовать кавалера недавно учрежденной пограничной медали Алексея Дмитриевича Козырева. Одним из первых среди местных жителей удостоился редкой пока еще награды. На том же железнодорожном тупике столкнулся он с вооруженным нарушителем. Один на один. Браг стрелял в Козырева, да промахнулся. Алексей Дмитриевич изловчился, выбил пистолет, задержал нарушителя. Когда принимал награду, сказал: «Законы границы мне известны. Всю жизнь вблизи нее прожил, мыслю себя ее солдатом, хотя и без погон».

Переговорив с Козыревым, Серов сообщил новые данные полковнику Коновалову и высказал свои соображения по этому поводу. Начальник отряда несколько охладил его пыл, не следует, дескать, увлекаться. Все имеющиеся данные и те, которые поступят впредь, тщательно проверять. Ранее принятое решение остается в силе. Самому Серову прибыть к месту обнаружения дрезины Козыревым. Полковник добавил, что выезжает туда же, прихватит инструктора службы собак комендатуры.

Через минуту Симонов с Коротковым уехали на машине, а Серов сел на коня. Нагнулся, пожал руку замполиту. Тот все еще выглядел огорченным, и Серов сказал ему негромко и душевно:

— Не журишь, Витя, хватит нарушителей и на твою долю.

С места пустил коня крупной рысью. Петькин на «пожилой» кобыле едва поспевал сзади. По сторонам мелькали темные кусты.

...Сквозь частокол деревьев мелькнул огонек, похоже, кто-то закуривал. Подъехав, Серов увидел офицеров и солдат, безошибочно выделил начальника отряда и доложил о прибытии.

— Ведите к дрезине, товарищ Серов. Инструктора с собакой — вперед, — приказал полковник и спросил: — Далеко до железнодорожной ветки?

У Серова в висках толчками забилась кровь. Уж не галлюцинации ли у него? Голос полковника показался ему очень знакомым, но долетевшим как будто издалека. Не по расстоянию, а по времени. Нет, не может быть, это какое-то наваждение... Живой голос, но он принадлежал человеку, которого, Серов знал это совершенно точно, не существовало на свете.

— Что с вами, начальник заставы? Почему не отвечаете?

— Извините, товарищ полковник. Дорога отсюда в километре.

— Покажите по карте.

Несколько офицеров склонились, кто-то набросил плащ, полковник включил фонарик. Серов взгляделся в зеленую штриховку лесного массива, нашел точку стояния и тонкими линиями прочертил направление.

— Дрезина должна быть здесь, у горелого леса.

Складывая карту, полковник повернул фонарик, яркий луч упал на погон, осветил лицо. Серов увидел коротенькую щеточку побитых сединой усов, словно подернутый инеем висок. А выше пересекавшую лоб ветвистую бороздку шрама. Брови с характерным изломом сошлись у переносицы, хмурились. Чуть прижмуренные глаза смотрели в темную даль, будто желая рассмотреть, что там, за нею... Знакомые глаза. Серов чуть не вскрикнул: «Дядя Сережа! Это вы?..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Передышка эта — последняя. На последнем рубеже в моей военной судьбе и, видимо, в жизни. Другого не будет, потому что все мы — а нас осталось очень мало — не сойдем с него. Умрем, а не отступим!

Милая жена моя Галя! Сыночки мои, кровиночки, Толик и Петя. Закрываю глаза и вижу вас как наяву. Хочу надеяться — миновали вас вражеские бомбы и пу-

ли. Как хочется обнять вас, почувствовать ваше тепло, ощутить биение ваших сердец. Да знаю — не суждено.

Обещаю вам, клянусь Родине, что не сделаю больше ни шагу назад. Как коммунист, как пограничник, клянусь — отдам жизнь за нашу священную землю. А знали бы вы, как хочется вернуться на родную границу, политую и моей кровью. Жаль, уже без меня поставят наши пограничники сбитые фашистами пограничные столбы. Пусть без меня, но так будет. С верой в это иду в последний бой.

Уже мелькают черные тени над нашей позицией от крыльев вражеских самолетов. Взрывы сотрясают землю.

Многое хотелось сказать — и не успел...

Прощай, Родина!

Капитан Коновалов С. И.».

(Записка, найденная в патронной гильзе.)

До чего же муторное дело пасти телушку, норовящую то и дело удрать от тебя. Куда приятнее в эту жару таскать с соседней улицы воду из колодца и поливать огород. И попьешь, и на себя брызнешь, освежишься. Хотя, конечно, тоже занятие не мед. Колодец далеко, ведра тяжелые. Но все лучше, полезным делом занят. А телушка занудливая, бодливая, даром что и рога еще не растут. Когда угоняли скот за Волгу, ее вынуждены были оставить здесь. Из-за своей резвости попала в яму, ногу повредила о камень. И теперь хромает, а бодаться все норовит.

«Попаси, внучек, на свежей травке. Она, как вырастет, тебе за это молочка принесет», — морща нос и прикрывая глаза, Мишка смешно передразнил бабушку.

Долго этого молочка ждать придется. Ничего, он как-нибудь и без молока обойдется. Не маленький. Теперь забот и без телушки хватает.

У Мишки выгоревший добела короткий чубчик, облупившийся, обожженный солнцем нос. Лицо и руки загорели до черноты. Глаза с зеленоватым отливом, над ними светлые, как маленькие ржаные колоски, брови. Одет в заношенные, из «чертовой кожи», пузырящиеся на коленках штаны и ситцевую, в мелкий горошек косоворотку.

Далеко гнать телку он не собирался.

— Шалишь, бодливая, у меня не разгуляешься. Не на того напала. Это тебе не с бабулей характер показывать, — пришептывая, Мишка в первой же балке забил покрепче колышек и привязал телку.

Сам улегся в жидкую тень кустика и, глядя в белесое от обилия солнечного света небо с реденькими, высоко парящими облачками, задумался.

Думы Мишкины были невеселые. Честно признаться, совсем печальные. Всего год назад сказал бы кто, что будет он вот так в тоскливом одиночестве размышлять, не зная, что делать и как ему быть дальше, он не поверил бы ни за что, почел за оскорбление и кинулся на обидчика. А что сейчас в действительности получилось? Опустил крылышки Мишка Серов, так-то...

Протекала в его родном городе жизнь — лучше не надо. Школа была ему не в тягость, как некоторым, учился он легко. По правде, так в отличники не выбивался, но и в хвосте не плелся. А наступала благодатная летняя пора, и отец, слесарь-ремонтник, брал его с собой в депо, говорил, пряча усмешку:

— Чем в бабки играть, привыкай к ремеслу.

Мишка этому не противился. Веселый мастеровой народ ему нравился. Оказался он у ремонтников нужным человеком: то с кем-то гайки подкручивал, то из тяжелой, с длинным носиком масленки заливал смазку в механизмы, то протирал детали. В депо крепко пахло каленым железом, машинным маслом, махорочным дымом. Звенела наковальня, поскрипывали цепи талей, гулко отдавались под высоким застекленным куполом крыши голоса. Это была обычная рабочая обстановка. Мишка скоро стал чувствовать себя в ней как рыба в воде. Сколько радости вызывал оживший паровоз! Он казался мальчишке живым существом, не только невероятно могучим, но и умным, послушным. Мишке хотелось встать за рычаги управления и повести по рельсам машину.

— Вырасту, рабочим буду, — как окончательно выпестованную мечту, поверил он однажды отцу свое желание.

— Что ж, рабочим быть — самое почетное дело, — похвалил отец.

По субботам, бывало, закатывались на рыбалку. Изредка на Дон выбирались. На ночь ставили удочки на сома да сазана, встречали зори под тихий плеск волн.

Как давно это было, целый год назад.

Рухнула, на мелкие осколки разлетелась Мишкина мечта. Все пошло прахом. Июньским днем, таким же жарким, как сегодняшний, вернулись с отцом с Дона и слышали грозное слово: война. Через два дня проводили отца на фронт, а через полгода пришло известие, погиб Федор Серов смертью храбрых, обороняя Москву.

Горе это Мишка переживал тяжело. Мать после печального известия собралась переезжать к своему отцу в Сталинградскую область, и уехали тут же, как только у Мишки кончились занятия в школе. Деревушка, где жили дед с бабушкой, была невелика, и Мишка уже настаивался ходить в седьмой класс в центральную колхозную усадьбу за три километра. Ему казалось, это даже интересно. Пока же вместе с матерью стал работать на колхозном поле.

Но тихой жизни не получилось, снова все круто переменялось через какой-то месяц после приезда. Опять война подкатывалась к самому порогу, фашистские войска оказались недалеко — на противоположном берегу Дона. Запасы зерна и продуктов из колхоза вывезли за Волгу, угнали и скот. В деревне остались старики, женщины да ребятня малая, кому нелегко было подняться, оторваться от родного подворья. Мать ушла с колхозным гуртом. Она уговаривала и деда ехать вместе, но дед сказал, что слишком стар и не выживет вдалеке от дома. На самом деле, его часто сгибала какая-то хворь, стреляло в поясницу, он тяжело дышал. Мишка не захотел оставлять одних деда и бабушку. Обрадовавшись решению внука, дед похвалил:

— Хорошо рассудил... Может статься, супостата сюда и не пустят, отобьют.

Уходя, мать обещала через неделю вернуться и забрать Мишку, горевала — один он у нее остался.

Пока желание деда оправдывалось. Где-то вдали за гребенкой леса, там, куда каждый день садилось солнце, постоянно погромыхивало, словно перекатывался гром далекой, а потому неопасной грозы. Над степью звенели жаворонки.

Но все равно на душе было неуютно и одиноко.

Неожиданно строй Мишкиных мыслей прервал близкий рев моторов. Вскочив, он увидел взлетающие из-за горбатого, порыжелого кургана тройки краснозвездных самолетов. Вспорхнув, они быстро терялись среди перистых облаков и солнечного сияния.

Вскоре где-то за речкой, километрах в трех от Миш-

ки, застучали, как дятлы в лесу, зенитные пушки, в небе начали вспыхивать белые букеты разрывов. Потом тяжело, с раскатыстым гулом, загрохало по степи. Мишка понял: самолеты сбрасывали бомбы, и они рвались, сотрясая землю. Выбежав на тракт, он остановился на пригорке, надеясь разглядеть, куда падали бомбы, кого атаковали наши самолеты. Но, кроме пыльных султанов, подхваченных ветром, не было видно ничего.

В небе близился, нарастал рев моторов, через минуту самолеты зачертили по воздуху, будто ласточки перед дождем. Над Мишкой вспыхнул воздушный бой. С визгом, воем, металлическим клекотом машины то с красными звездами, то с черными крестами на крыльях проносились над самой землей, свечками взмывали в небо, рассыпали трели пулеметных очередей. Вот один за другим промчались два самолета. Чтобы лучше разглядеть их, Мишка прикрыл глаза ладонью — солнечные блики выжимали слезу. Передний, с крестами на крыльях, накренился, заскользил вбок, выбросил шлейф дыма и полого потянул вдаль, стараясь уйти на свою сторону. Он долго держался, мотор его был на высокой ноте, но неожиданно звук этот, вонзающийся в душу как штопор, оборвался, самолет рухнул камнем. За излучиной реки взметнулся столб дыма.

— Ура! — восторженно закричал Мишка, взмахивая и крутя руками, словно сам пытался взлететь, вприпрыжку помчался по дороге. — Сбили гада!

Потом еще падали самолеты. Когда, оставляя дымный след, сваливалась вражеская машина, Мишка грозил кулаком и кричал:

— Так им, дайте еще, бейте фашистов!

Но если падал наш самолет, он сглатывал подступающий к глотке комок, сдавленно шептал:

— Ну что же ты? Не надо падать, держись.

Бой скоро затих, над степью повисла тишина. Мишка, долго не думая, побежал к излучине реки, куда, как ему показалось, упал вражеский самолет. Очень хотелось добраться до машины и поискать на ней что-нибудь. Может, удалось бы пушку поглядеть... или пулемет. Не в лепешку же самолет разбился.

Однако возле реки ничего не было. Мишка пошел по берегу вниз по течению. Жаль, конечно, что напрасно пробежался. А если все идти и идти вдоль речки, пожалуй, и до Волги дотопать можно? А телушка, как там одна-то? Еще запутается за веревку.

Над рекой летали стрекозы, ивы полоскали в воде зеленые косы, в камышах возилась, плескалась какая-то живность. Мишка сбросил сандалии, уселся на бережок и опустил ноги на мокрый песок. Подумал немного, сбросил штаны и рубашку и бултыхнулся в омуток. Долго нырял и плавал и совсем забыл, куда и зачем он шел. Уж очень уютный был бережок, вода ласкала и освежала тело. А омуток, тут, наверное, сазанчики водятся? И сразу вспомнились поездки с отцом на Дон, с горечью подумалось, что они никогда в жизни больше не повторятся... Вроде разом потускнел воздух, куда-то пропали стрекозы, по воде прошлась рябь. Мишке стало зябко.

Он оделся и пошел домой. Обратный путь показался ему длиннее. Солнце жгло немилосердно, над землей струилось жаркое марево, злые, как рассерженные осы, налетали и впивались в кожу слепни.

В безмолвной и пустынной с утра степи сейчас царил оживление. На дороге пылили машины и повозки, по обочинам вереницами тянулись солдаты. Их было негусто, они неторопливо вышагивали, минуя деревню, и скрывались в дали, затянутой серой пеленой пыли.

Мишка обнаружил, что уходили не все. Песчаный гребень, рассеченный дорогой, был испятнан окопами, как оспинами. Под солнечными лучами взблескивали лопаты. Пахло взрытой землей, пылью, бензиновой гарью. Мишка вдруг со всей отчетливостью представил, что война, погромывавшая до сего дня за далекой гребенкой леса, придвинулась и сюда, к деревенской околице. Побежал в балку, отвязал телушку, привел на двор. Дед встретил его встревоженным вопросом:

— Видел, внучек? — тыкал он скрюченным коричневым пальцем в сторону моста на реке и бугра, испятнанного окопами. — Не миновала нас, окаянная. Вот какая выходит история. Оборона тут, стало быть, возводится.

Тревожился дедушка Назар, как соображал Мишка, не потому, что возле деревни могли начаться бои. Этого дед не боялся. Не проходило дня, чтобы они не обсуждали сводки с фронта, и он всякий раз с надеждой ожидал почтальона, брал газету, желая прочитать, что наконец-то остановили и повернули врага вспять. Иной раз вспоминал, как сам воевал в гражданскую...

— В этих же местах за Советскую власть с беляками бился. Под Царицыном кровь пролил, без малого бо-

гу душу отдал. А оклемался, здесь и жизнь свою наладил.

Горше всего ему было по той причине, что не оправдывались его ожидания, враг не был остановлен за Доном и лез теперь к Волге. Мрачные мысли тяготили его еще и потому, что сокрушала его хвороба, временами дышать становилось совсем неважно, немели руки. А перед надвигавшейся опасностью он не мог сидеть без дела, душа требовала действия.

— Я, внучек, пока тебя не было, к бойцам нашим на позицию подался, в смысле подмогнуть чем, — признался дед. — Только откомандировали они меня назад по причине моей немоги.

Вплоть до вечера он не мог себе места найти и, когда легли спать, все ворочался и вздыхал, вставал и выходил во двор, прислушивался. Только было тихо в деревне, тишина стояла и в оборонительных порядках. Вдали, может быть за Доном, по горизонту пробегали красноватые всполохи.

Загрохотало, лишь только наметился рассвет. Мишка кубарем скатился с лежанки и выскочил во двор. Дед сидел на вязанке хвороста и курил, бабушка куда-то погнала телушку. Мишка хотел было шмыгнуть мимо и кинуться к дороге, но дед задержал.

— Не суетись, внучек, по степи теперь шальные пули летают, ужалить могут. Про всякие детские игрушки-штучки позабудь.

Он поднялся, приставил ладонь к уху, пояснил:

— За переправу бой идет. На пригорке пока молчат.

Бабушка привязала телку в огороде, пригнувшись и крестясь, просеменила в хату, говоря:

— Полезал бы ты, Мишенька, в погреб. От греха подалее.

— Еще чего! Что я — таракан? — недовольно передернул плечами Мишка.

— Ты не ершись, не геройствуй. Убьют тебя, матери-то что скажем?

Так уж сразу и убьют, еще чего не хватало. Мишка, приставив лестницу, взобрался на открылок над сенями. Отсюда открывалась степь с повисшим над ней красным диском солнца, лента гравийной дороги и пересекавшие ее по песчаному бугру окопы. В первых косых лучах солнца вспыхивали в степи снопы оранжевой пыли. Мишка не сразу понял, что это взрывы от снарядов, а когда догадался, содрогнулся — снаряды уже

клевали, брызгая огнем, взметая фонтаны земли, окопы, возле которых он вчера был. У реки, над мостом, низко кружили самолеты, оттуда катился по степи гул, давил в уши.

Бабушка раза три сгоняла его с крыши, то и дело давала ему всякие поручения, и Мишка носился по двору как волчок: то тащил ведро с глиной и помогал замазывать щели в печке, то доставал из подполья пустую кринку, то вынужден был садиться за стол и есть, потому что подошло время завтрака. После только, когда Мишка снова, увильнув от бабушкиных заданий, выбрался на крышу, догадался, что она все это придумывала для того, чтобы придержать его около себя.

Улегшись животом на нагретые доски, Мишка увидел ползущие вдоль дороги танки. Они качались, как на волнах, стреляли на ходу, выбрасывая из стволов короткие языки пламени. Танковые пушки кинжально били по гребню, снаряды летели с металлическим звоном и шелестом, вспарывали землю, вздымая над окопами глыбы земли. За танками бежали серые, из-за дальности казавшиеся маленькими, фигурки солдат. Они растекались от дороги в степь, широко охватывали бугор.

Мишке сначала показалось, что вся стрельба идет впустую, что в окопах на гребне никого нет. Но вот с гребня начали тоже стрелять пушки, и тут же задымился и остановился один танк, приблизившийся к окопам, потом вспыхнул другой. Фигуры солдат заматались возле горевших машин.

Но другие танки ползли, неумолимо приближались к окопам, и у Мишки в тоскливом предчувствии сжималась грудь, пощипывало глаза. «Куда вы смотрите, чего ждете?» — хотелось крикнуть так, чтобы услышали там, на взгорке, и начали стрелять чаще и метче, чтобы вражеские танки разом загорелись и солдаты, бегущие за ними, попадали. Но этого не происходило, и Мишка отвернулся, уткнувшись лбом в кулаки.

От нагретых досок остро пахло растопившейся сосновой смолой, под носом билась, жужжала пчела, наверное, принявшая прозрачную клейкую капельку за мед и влипшая в нее. Мишка на миг словно отключился от всего окружавшего его, ему подумалось, что на самом деле нет никакого боя, он привиделся ему во сне, он просто задремал на пригретой солнцем крыше.

Однако в степи продолжало греметь, взрываться и

рокотать. Только теперь вид изменился, и он порадовал Мишку. Дымные столбы возникли еще над двумя танками, а остальные гораздо поспешнее, нежели продвигались вперед, откатывались обратно, куда-то схлынули, возможно, залегли, попрятались в воронках солдаты.

— Получили по морде! Не понравилось... Получили по морде! — выкрикивая одну и ту же фразу, Мишка вскочил и заприплясывал по открылку.

Пляску прервала бабушка. Она позвала его и сунула в руку тяжелую корзинку.

— Пока тихо, отнеси-ка, внучек, бойцам. Поди, притомились, родимые. Кой-чего собрала, картошечки да яичек сварила, огурчиков нарвала.

Подхватив корзину, не дослушав бабушкиных слов, лишь заметив, как вытирала она краешком фартука глаза, Мишка вихрем помчался к дороге. Что ни говори, а бабушка у него не какая-нибудь такая, а с понятием. То в подвал его загоняла, а то прямо на позицию отправила. Там бой шел, а она картошку варила. Молодец бабушка!

Чем ближе к дороге, тем больше воронок встречалось ему. Возле окопов Мишка увидел сваленное на бок орудие с длинным стволом и неподвижно лежащего около него бойца с залитой кровью головой. И у Мишки зашевелилось между лопаток, будто кто сыпанул туда горсть муравьев.

Из окопов бойцы выбрасывали лопатами землю, насыпали бровку перед ними. Их командир, Мишка определил его по желтым угольникам, нашитым на рукавах, и вишневого цвета эмалированным прямоугольникам на зеленых петлицах, занимался пулеметом. На голове его была надета зеленая фуражка с ремешком под подбородком, левый рукав гимнастерки был закатан, и рука перебинтована.

Через дорогу перебежал боец, спрыгнул в окоп.

— Там всех подобрали, товарищ капитан, — доложил он и направился к бойцу, лежащему около орудия.

Повернувшись, командир хриловато сказал:

— Здесь... пулеметчика заберите. Орудие поставить, может, не окончательно разбитое.

Коротко глянул на Мишку, тронул пальцами забинтованной руки короткую щеточку черных усов. Над карманом тускло блеснула медаль.

— Ты чего тут, малый? Живо ложись, а то фашист подстрелит.

— Вот, еду принес. Бабушка прислала. — Мишка соскочил в воронку, откуда только что унесли убитого артиллериста, протянул корзину со снедью.

У командира в улыбке раздвинулись потрескавшиеся губы, порхнули черные, с характерным изломом брови.

— Это, брат, здорово. И бабушке, и тебе — наша благодарность. — Он принял корзину, протянул бойцу, коротко распорядился: — Одежить всех, насколько возможно. — Пояснил Мишке на полном серьезе, и Мишке это понравилось: — Позицию в порядок приводим. Скоро опять фашист полезет, не даст и дыхнуть.

Пригнувшись, посматривая в сторону противника, командир пошел по окопу, останавливался около каждого бойца, что-то говорил. Пока он ходил, солдаты поставили пушку на колеса, закатили ее в углубление, покрутили маховички.

— Жива, старушка, действует! — воскликнул один в такой же зеленой фуражке, какая была на капитане. — Еще преподнесет фрицам гостинчик. — Обернувшись к Мишке, спросил: — Видел, на костылях гадам? Еще на костылях, нас на испуг не возьмешь. Не отойдем отсюда, шабаш!

Нет, здесь не помышляли об отходе. Поторопился Мишка, лежа на крыше, подумать, что тут всех перебили. Как пообещал боец, эти еще на костылях немцам.

Бойцы, у кого уже побывала корзинка, торопливо ели, похваливали:

— Картошечка, братцы, в мундире, а!.. Сейчас бы ее горячей да чугунок побольше. Да с солененькими грибами. Да под это самое...

Из рук в руки переходил бидон с квасом. Каждый отпивал по несколько глотков. Подошел капитан. Ему подали две картофелины, огурец и кусок хлеба. Он снял фуражку, открыв на лбу красноватый ветвистый рубец, видимо, след от недавно зажившей раны, подмигнул парнишке:

— Как звать-то тебя?

— Мишкой.

— Михаил, значит. Мишук. Ну, спасибо тебе. Если обстановка позволит, приходи еще. А теперь...

Капитан не договорил. Перед окопами ударил снаряд. Взрывы зачастили справа и слева. В соседнем око-

не взметнулся сноп огня и дым, раздался отчаянный крик, что-то взлетело и шлепнулось возле Мишки. Капитан натянул фуражку, опустил ремешок.

— Без команды не стрелять. Беречь снаряды и патроны! — Он старался перекрыть гул и грохот, но вряд ли кто что разобрал, кроме тех, кто был рядом.

Как и утром, поползли вдоль дороги танки, и, прячась за ними, побежали солдаты. Только теперь они казались Мишке гораздо ближе к окопам.

— Эх, проворонили мост... — Капитан с горечью в голосе стукнул кулаком по краю окопа. — Прут по нему фашисты без оглядки.

Мишке из воронки виделась обожженная солнцем шея капитана, его широкая спина с перекрестиями ремней, облезлая кобура с выглядывающей из нее рукояткой нагана.

У пушки, склонившись к прицелу, замер наводчик. Пулеметчик сжал рукоятки так, что побелели косточки суставов. В стрелковых ячейках в крайнем напряжении затаились бойцы. Капитан сопровождал взглядом выскочивший на дорогу танк и только тогда взмахнул рукой, когда, как показалось Мишке, он почти заслонил собой всю степь. Над головой сильно треснуло раз за разом. Мишка ткнулся головой в стенку, и бой словно отдалился. Ни выстрелов, ни криков не было слышно, только гудело и звенело в голове, как гудят на ветру телеграфные провода.

Минуту или десять так лежал Мишка, он не знал. Когда выглянул из воронки, то увидел, что танк на дороге горит, а пушка валяется вверх колесами. Бойцов, что были около нее, разметало. В окопе за станковым пулеметом стоял капитан. Пулемет жевал ленту, вытягивая ее из металлической зеленой коробки, на бровку окопа ручейком стекали дымящиеся гильзы.

По степи перебежали солдаты.

Один танк шел особенно быстро, мельтешили его высветленные о землю гусеницы. Он правил прямо на окопы.

«Пушки-то нет, из чего стрелять?» — подумал Мишка, широко раскрывая рот, как рыба, выброшенная на берег, и похлопывая ладонями по ушам. Грохот, как бы приблизившись, снова навалился на него. Он услышал крик капитана.

— Что у вас с пулеметом, почему не стреляете?! —

Тот, приподнявшись, глядел за дорогу, где стоял другой пулемет. Мишка не услышал ответа, и капитан тут же выругался: — А, черт... Ленты сюда давайте!

Но никто не появлялся, никто не нес ленты, и Мишку будто кто толкнул. Он перекатился через дорогу, соскочил в окоп и увидел пулеметчиков. Один лежал на дне окопа, другой, запрокинувшись, стоял на коленях, не отпуская рукоятку, тупорылый ствол «максима» задрался в небо. На бруствере валялась пустая коробка. Мишка огляделся, увидел в нише другую. Схватил ее, ощутив тяжесть, побежал по окопу к капитану.

Краем глаза увидел бойца в зеленой фуражке. Опираясь здоровой рукой, он полз от окопа вперед, навстречу противнику, зубами подтягивая за собой связку гранат на шнурке. «Куда он, зачем? Танк раздавит его», — мелькнуло в голове. Споткнувшись о лежащее в окопе тело, Мишка, похолодев, упал на убитого. Поднялся, перешагнул через него и наткнулся на капитана.

— Ты!.. Почему ты здесь? — крикнул он, подхватив коробку, торопливо начал вставлять ленту в приемник пулемета.

В окопе резко пахло гарью, удушающий дым проникал в легкие, щипал глаза. Мишка раскрыл рот, но ничего не смог ответить, потому что у него свело челюсти, перехватило дыхание. Он глядел на правое плечо капитана, просто не мог отвести глаза, потому что по гимнастерке, от самого воротника, вдоль портупеи к широкому командирскому ремню расползлось темно-красное пятно.

Капитан припал к пулемету, руки и плечи его начали вздрагивать, и подбегавшая уже к окопу цепь солдат рассеялась, одни попадали, может убитые, а другие залегли, чтобы спастись. Капитан тут же повернулся к Мишке, тяжело дыша, сказал громко, чтобы он услышал:

— Малый, давай отсюда, поспешай.

На его покрасневшем лице виднелись грязные потки, пыль и пороховая гарь смешались с потом. Заметив, что парнишка словно окаменел и не двигается с места, улыбнулся ободряюще:

— Не бойся за нас, мы еще поживем. А ты, Миша, ступай до дому. Видишь, сынок, некогда мне...

Выпрыгнув из окопа, Мишка отполз немного, потом

побежал, оборачиваясь на бегу. Последнее, что он увидел, был боец в зеленой фуражке, метнувший связку гранат, яркую вспышку огня под танком... Потом мелькнул в поле зрения припавший к вздрагивающему пулемету капитан с мокрым, ставшим еще большим пятном на плече и боку, наплывающие на окоп серые фигуры солдат.

Эта картина долго протом стояла у него перед глазами.

А вдали, за гребенкой леса, садилось багровое солнце. Но теперь оттуда не слышалось раскатов грома. Грохотало, рвалось здесь, совсем рядом, у Мишки за спиной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вечером, лишь только сумерки опустились над степью, по дороге потекли войска. Гудели моторы, скрежетали гусеницы, в полосах желтого света клубилась пыль.

— Не удержались наши, не смогли, стало быть. Вот она, внучек, какая история, — с горьким вздохом сказал дед.

Они стояли на огороде, глядели на полощущийся по дороге свет и размышляли, что теперь будет, как дальше жизнь пойдет... И понимали, что будет плохо со всех сторон. И мама не сможет приехать.

Дед беспокойно оглядывался, к чему-то прислушивался, хотя, кроме шума, доносившегося с дороги, ничего не было слышно. Он опустил худую руку на плечо Мишке, притянул его к себе.

— Давай-ка сходим с тобой туда... а, внучек, — жарко шепнул он Мишке в ухо.

Мишка сразу понял куда. Уразумел, и в груди стало тесно. Снова перед взором возникла последняя картина: боец в зеленой фуражке под гусеницами вражеского танка, слепящая глаза вспышка, захлебывающийся очередями пулемет, тяжело раненный капитан и надвигающаяся на окопы цепь солдат.

— Пошли, дедуня.

Там, куда они нацеливались идти, катилась лавина из машин и людей, громяющих, воняющих бензиновой гарью, готовых в любую минуту стрелять, плевать огнем, давить гусеницами и колесами.

Вынужденно сидели, хоронясь в придорожных кустах, задыхаясь в бензиново-пыльном смраде. Наверное, прошло больше часа, пока уменьшился, а потом и схлынул поток машин. Из-за облаков вынырнул серпик месяца, и бледный, призрачный свет разлился по степи. Мишке сначала показалось, что, случись тут быть вражеским солдатам, они враз заметили бы его и дедушку, но постепенно пригляделся и успокоился. Свет месяца был слабоват, чтобы можно было что-то разглядеть издалека, а вблизи никого, никакого движения не чувствовалось.

На позиции все так же вверх колесами лежала пушка с длинным стволом и около нее тела бойцов. Где ползком, где пригнувшись, Мишка с дедом пробирались вдоль окопов, и даже при хилом свете месяца парнишка узнавал погибших бойцов, хотя видел каждого из них живым совсем короткое время. Ему сейчас казалось, встретить он их не сегодня, а через год или даже спустя десять лет, он узнал бы всех. Так отчетливо они врезались ему в память. Только не встретит он их ни через год, ни когда-либо еще. Все они легли тут.

Танк тоже стоял на том месте, где остановил его гранатами боец в зеленой фуражке, и сам он лежал возле свалившейся с катков гусеницы. Пересекавший шоссе окоп был засыпан доверху и стал снова дорогой, по которой катились вражеские колонны.

Капитана он нашел впереди окопа. Тот лежал ничком, неловко подогнув ногу и вытянув вперед руку с наганом. Мишке показалось, что он и сейчас еще продолжал тяжестью своего тела придавливать распластавшегося под ним вражеского солдата.

— Деда, нашел я, здесь командир-то, — шепотом позвал Мишка.

Вдвоем они перевернули капитана на спину, дед приник к его груди. Щека коснулась холодного кружка медали, а под ней, под пропахшей порохом гимнастеркой, ухо уловило слабое биение.

— Кажись, живой твой капитан. Выручать надо, домой нести.

В отдалении слышался неясный говор. Мишка оглянулся и обомлел: медленно покачиваясь, к ним приближались два фонаря. Люди шли вдоль окопов, часто останавливались, желтые лучи шарили по земле.

Вспыхнула то ли спичка, то ли зажигалка, осветила головы в касках.

— Дедуня, солдаты идут...

— Ох ты, горюшко. Что делать-то нам? — забеспокоился дед.

Издали донесся стон, слабый возглас: «Браток, а браток, пособи...» Фонари метнулись туда, громкий резкий голос что-то прокричал, и тотчас же раскатилась автоматная дробь.

— Слышь, раненого добили. Экие звери. Не успели мы до него дойти... Бери капитана под коленки, понесем в кусты. Скоренько, внучек, поспешай.

Дед подхватил командира за плечи, с трудом приподнял, попятился. Тяжел был капитан, не под силу слабому старику и мальчишке. С трудом оттащили они его подальше от окопов, через кювет у дороги, положили на обочину. Остановились передохнуть.

Солдаты, видимо, обшаривали убитых. Только это спасло Мишку и деда, они воспользовались задержкой солдат и затащили раненого в придорожные заросли. Капитан неожиданно застонал.

— Батюшки-светы, не надо, сынок, потерпи, — дедушка ладонью прикрыл рот раненому. — Больно тебе? Прости, сынок, что разбередили твои раны. Не могли по-другому, торопились схватить тебя. Помолчи, родной.

Фонари покачивались уже на дороге, лучи шарили по кустам, было такое ощущение, что свет прошибал их насквозь. Мишка пригнул голову, ожидая выстрелов, дед склонился, прикрыл собою капитана. Но солдаты стояли молча. Мишка молил только об одном — не застонал бы капитан.

Прошла еще минута, сковывавшее его чувство беззащитности понемногу отпустило. Он понял, что солдаты почему-то не решались переходить за дорогу, а может, у них не было такого приказа. И вдруг им овладела такая злость, накатила такая решимость, что, если бы солдаты подошли к кустам, он бросился бы на них, молотил бы кулаками, рвал зубами до тех пор, пока не убили бы его самого. Ему совсем не жалко было себя, он не пожалел бы своей жизни точно так, как боец в зеленой фуражке, как капитан.

Вдали по степи двигалось еще несколько огней, и солдаты, постояв, пошли на них.

— Миша, беги до хаты, возьми в сенях два мешка

да палки покрепче из плетня выдерни. Носилки соорудим. Бабушке скажи, пусть воду согреет. Ну, одна нога здесь, другая там.

Мишка помчался балкой, напрямую.

Бабушка засуетилась, заохала, пошла в чулан за мешками.

Не ахти какие получились носилки, а все же стало и удобнее, и легче. Им никто не встретился в пути, и это было хорошо. Дедушка сказал, будет лучше, если никто не узнает, что Крапивины подобрали раненого красного командира.

Занесли капитана в хату, уложили на кровать.

Дед хотел было располосовать гимнастерку, но передумал. Втроем раздели командира, сняли и залитую кровью нательную рубашку.

— После в мое бельишко его обрядим. Пойди, внучек, покарауль во дворе. Не ровен час, кто любопытствует.

Выходя, Мишка взглянул на капитана. В свете лампы виднелось восковое, заострившееся лицо, темнела запекшаяся кровь, казалась страшной, огромной рана на плече и шее. Капитан не подавал признаков жизни, но дедушка хлопотал над ним уверенно, и Мишка подумал, что такие заботы нужны не мертвому, а живому.

В деревне было тихо. Дед появился часа через два, устало присел, скрутил сигарку.

— Кажись, все сделали, как следует быть, — затянулся он и глухо закашлял. Крепок у деда самосад. Зачем курит, если и дышать ему тяжело, — этого Мишка не понимал. — Кровью истек капитан, оттого и слаб без меры. Три раны на теле: ногу прострелили да руку, самая опасная на шее. Осколок разворотил мышцу и застрял в ключице. На излете был, видать, неглубоко вошел. Иначе — каюк. Вытащил я осколочек-то, на, поддержи...

Осколок был шершавый, угловатый, с зазубринами. Мишка покатал его пальцем по ладони и съежился. Будто его самого пропороло этой коряжистой железякой насквозь.

Не ложились всю ночь. Капитану в какой-то момент стало плохо. Он тяжело застонал, в бесспамятстве звал кого-то, пытался выкрикивать команды. Но крики были бессвязные, изо рта вырывался только хрип. Начался жар.

— А ведь не можно ему находиться в хате. Надо переносить туда, — дед показал пальцем на подполье. — Хуже там, да безопаснее.

Соорудили в подполье топчан, застелили его матрасом. Не перенести бы им капитана по крутой лесенке, если бы не оборудовал дедушка еще в прошлом году лаз в подполье прямо из огорода. Стало не вмоготу старикам таскать картошку и овощи во время уборки. Дед выбрал часть глинобитной стенки, поставил маленькую дверцу. На зиму лаз плотно замазывали глиной, чтобы не пробрался мороз.

Теперь этот лаз пригодился как нельзя лучше, через него и внесли капитана, через него сами стали входить в подполье. На день заваливали отверстие хворостом, бурьяном, разным хламом, и постороннему глазу было невдомек, что там укрыто. Дверцу в подполье из хаты дед заколотил ржавыми гвоздями, подложив снизу под нее мешки, набитые соломой, чтобы не чувствовалось пустоты. Пол застелили старыми домоткаными половиками. Все предусмотрел дедушка Назар.

Дежурили у постели капитана по очереди сами старики. Мишка по просьбе бабушки днем бегал в степь, искал травку зверобой и еще какую-то с желтыми цветочками, лазил по оврагам, находил ягоды шиповника, выкапывал корешки, названий которых он упомнить не мог, обжигаясь, рвал и сушил листья крапивы. Бабушка готовила из трав и корешков снадобья и отвары, поила ими капитана. Отжимала сок из сочных листьев столетника и тоже давала с ложечки, с усилием разводя стиснутые зубы капитана.

Деревня затаилась, словно вымерла. Даже трубы по утрам не дымили, как обычно.

Вскоре в деревню нагрянули солдаты. Из остановившейся посреди улицы автомашины они вывалились с криками и гоготом, разбились попарно и побрели по дворам. По дверям застучали приклады, тревожно закудахтали куры, то и дело раздавались выстрелы.

Бабушка в это время сидела у капитана в подполье. Дед наказал ей молчать, что бы ни происходило наверху.

Калитка со скрипом и треском распахнулась, во двор шагнули двое солдат. Карабины у них были брошены за спину, в руках оба несли большие брезентовые саквояжи.

— О, грoссфатер... Тедушка, — увидя дeдa нa крылечкe, oсклaбилcя oдин, сморщив жирные щeки.

Потасканный, засаленный мундир солдата был растегнут, на груди что-то оттопыривалось. На слабо затянутом ремне болтался плоский тесак в ножнах, была подвешена пестрая курица. Он занес ногу в тяжелом сапоге на крыльцо, дед едва успел посторониться, чтобы кованая подошва не задела его.

— Солдат фюрера есть победитель, — возвестил он, взгромоздившись на крыльцо. — Вы должны давай продукт армий победитель... Укрыватель будем расстрелять.

Второй молча ринулся к клетушке, в которой еще оставались две курицы. В мгновение ока посворачивал им головы и сунул в саквояж.

Дед вошел вслед за первым солдатом в хату и наблюдал за вторым из окна.

— Давай брот, буттер! Клеб, яйки, — подступал к деду солдат в растегнутом кителе и обшаривал глазами более чем скромную обстановку хаты.

Но дед мотал головой, разводил руками, мол, нет ничего.

Солдат подозрительно уставился на него, переводил взгляд снизу вверх, с дырявых штанов на застиранную ветхую рубаху, что-то соображал. Прошелся по комнате, топая, прислушиваясь.

А дед думал о том, что вовремя он догадался заколотить крышку подполья и припрятать кое-что из продуктов. Одежонку же дочка, Мишкина мать, прихватила с собой. Кстати, где внучек-то?

Солдат направился во двор. В огороде его приятель, держа карабин на коленях, с сочным хрустом грыз огурец и покрикивал:

— Копайт, копайт!

Приказ адресовался Мишке, выдергивавшему картофельные кусты. Картошка, конечно, еще не поспела, но разве это сейчас имело какое-нибудь значение?

Нагрузившись, солдаты пошли со двора. У калитки тот, который свернул головы курам, оборотился, наставил карабин сначала на дeдa, потом нa Мишку.

— Пу, пу! — заорал он, страшно вытаращив глаза, сделав зверскую рожу.

Оба довольно заржали.

Дед опустился на крылечко, вытянул кисет и свернул

цигарку. Заскоруждые скрюченные пальцы мелко подрагивали.

— Пронесло, — сказал он, сплюнув вслед солдатам. — Наторели грабить. За минуту хату, подлец, наизнанку вывернул. По-нашему балакать выучились. — И вдруг спохватился: — А где же наша телушка, внучек?

— Бабушка утром ее куда-то увела. Сховала, должно быть.

— Ишь ты, продукты для армии фюрера заготавливают, — скривившись, будто под язык попало горькое, съязвил дед. — Значит, оголодали победители.

Мишке было горько и смешно слушать деда. Обидно оттого, что он и сам сейчас под ружейным дулом копал картошку, и не чью-нибудь, а дедушкину, и набивал ею сумку «победителю». И ничего поделать не мог. А смешил дед своей потешной руганью.

В душе оба были довольны тем, что приход солдат закончился только грабежом. Видать, были они из проходящей мимо полевой части.

— Ладно, поглядим, как они поведут себя, когда мы сверху окажемся. Я бы уж собрался с силой, этих мародеров осмолил бы на горячих углях.

Дед был уверен в том, что мы в конце концов сверху окажемся. Не для того сложили головы сын и зять, чтобы эти толстомордые тут хозяйничали. Не для того они с Мишкой раненого капитана с поля боя вынесли и теперь как могли отводили от него смерть.

Только на третий день капитан пришел в себя. В это время около него сидел Мишка. В подполье стоял полумрак, свет еле-еле проникал через маленькое отверстие, оставленное для проникновения свежего воздуха. Мишка чуть придремал, потому что каждую ночь теперь толком не высыпался — приходилось дежурить возле дома, чтобы не подошел кто чужой. Проснулся, почувствовав на своей руке горячую руку капитана.

— Где я? — слышал он слабый голос.

Мишка до того обрадовался его голосу, что сначала онемел, а потом спохватился:

— У дедушки Назара Крапивина, в подполье...

— А ты кто?

— Я-то? Мишка я, помните, приходил к вам в окопы?

Капитан ничего не сказал, может, снова забылся. В подполье спустился дедушка, обрадовался:

— Ожил, стало быть. Молодчага, сынок. Теперь-то обязательно дело пойдет на поправку.

— Что наверху? — спросил капитан.

— Ровно Мамай прошел. Деревню нашу обчистили, барахольщики.

Капитан ощупал себя, беспокойно пошевелился. Дед смекнул, успокоил:

— Обмундировка твоя, сынок, и документы, и наган в надежном месте. В сохранности, стало быть.

Капитан едва заметно кивнул. Закрыв глаза, скрипнул зубами и выдохнул:

— Выходит, полегли мои ребята...

Потекли дни тревожные, наполненные постоянной опасностью. Дни полуголодные, потому что «заготовители» еще много раз обшаривали деревню.

Лучший кусок, какой удавалось припасти, дед с бабушкой отдавали капитану. Дед сходил на хутор, где жила с семьей его младшая дочь, принес от нее курицу да банку меду. Дочери тоже жилось несладко с тремя ребятами. Но хуторок стоял в стороне от дорог, в лесу, и она смогла что-то из припасов сберечь. Знаменитую на весь район пасеку, которой заведовал муж дочери, вывезли с хутора, зять ушел на фронт, а семья осталась там.

Капитан, как немного окреп, часто разговаривал с дедом и Мишкой, рассказывал о себе. Звали его Сергеем Ивановичем Коноваловым, был он по должности комендантом пограничного участка на западной границе... Все это дедушка узнал еще раньше из его документов. Но Мишке ничего не говорил до времени. Мало ли что могло случиться, лучше, если малец меньше знает о раненом.

Теперь он стал для Мишки дядей Сережей, для деда с бабушкой — сынком. Они лечили его своими, доступными им средствами. Рана на руке затянулась, поджила нога, хотя и плохо слушалась. Только поврежденная шея не давала покоя. Но прошли дни, и эта рана начала заживать.

Как-то поздним вечером дед с Мишкой помогли Сергею Ивановичу выбраться из подполья на двор. Он долго сидел на крылечке, глядел на недалекое зарево на востоке.

— Сталинград горит, — пристукнул кулаком и, как давно решенное, сказал: — Туда мне и надо пробиваться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Первым движением души, первым желанием Серова было броситься к полковнику, крикнуть: «Дядя Сережа, вы живы?! Вы узнаете меня? Это же я, Мишка!»

Но не было здесь в эту минуту ни дяди Сережи, ни Мишки, а были начальник отряда полковник Коновалов и начальник заставы старший лейтенант Серов, и стояла перед ними одна общая задача — найти и задержать врага...

Шли цепочкой, выдвинув уступом вперед инструктора со служебной собакой. Серов указывал ему направление. Овчарка натягивала поводок, недовольно фыркала, наверное, злилась, что ничего достойного внимания не чуяла в палой хвое и во мху, в котором тонули ноги.

Было тихо, лишь изредка под чьим-нибудь сапогом хрупал сучок. Серов подумал о Симонове и Короткове. Где они? Может, уже бегут по следу? Тревожился, не допустили бы какой оплошности.

В темной глухой стене леса замаячил просвет. Вышли к железнодорожной ветке, увидели дрезину. Полковник обронил скупую похвалу Серову: начальник заставы на своем участке чувствует себя уверенно, местность знает. По цепочке передал команду всем, кроме инструктора, остановиться, и Серов со своей стороны оценил предусмотрительность начальника отряда — нельзя затоптать следы.

Инструктор с Бертой обежали дрезину раз и другой. Собака, уткнув нос, сновала вдоль пути, выбегала на шпалы, неожиданно ложилась, перебирая лапами, беспокойно и виновато повизгивала, не понимала, чего от нее добиваются, зачем без толку заставляют что-то искать, когда пусто вокруг, пахнет только лесом и травой.

— Не суетись, Берта! — Проводник собаки терял терпение, но сдерживался, надеялся, что она наконец найдет то, ради чего все эти люди пришли сюда.

Берта была хорошей розыскной собакой, и не случайно ее держали в комендатуре в резерве, посылали на заставы, когда там не справлялись своими силами. Но сегодня что-то не клеилось у нее, инструктор не мог понять, что ей мешало. Он подвел собаку к дрезине, снова потребовал: «След, Берта! След!» Берта

вспрыгнула на помост и тут же заскулила тоненько, жалобно.

Ни просьбы, ни приказы не помогали, собака соскочила с дрезины и, отбежав, начала кататься, дергала головой и фыркала.

Полковник осветил фонарем площадку дрезины и подозвал Серова. На досках, сиденье и рукоятке управления виднелся серый налет.

— Порошок. След обработан. Где теперь может быть ваш инструктор? — спросил полковник.

— Разрешите установить связь?

— Связывайтесь, и, насколько возможно, побыстрее.

Серов подозвал Петькина с рацией, настроился на волну Симонова. Старшина доложил, что Кузнечик привел наряд к тупику, где след оборвался. Серов приказал не мешкая направляться вдоль пути к горелому лесу, где он будет их ждать.

— Предположим, дрезину угнал нарушитель, — выслушав доклад Серова, сказал полковник. — Если это сделал кто-то из местных жителей, ему нет никакого расчета прятать свои следы. Значит, нарушитель. В таком случае, он дал явную промашку. Дрезина оказалась без мотора, пришлось гнать на собственном паре. Но... все средства хороши, когда торопишься. В действие вступил фактор времени. Нарушитель обнаружил себя тем, что взял дрезину, что применил порошок для маскировки следа. Казалось бы, на этом многое потерял. Но ведь и нас задержал... И неизвестно, как у нас дальше дело пойдет. Стало быть, с другой стороны, он что-то и выиграл. Так?

Размышляя вслух, полковник достал карманные часы, щелкнул крышкой. «Неужто те самые?» — подумал Серов, вспомнив часы капитана, которые часто держал в руках, сидя рядом с ним, слушая, как они тикают, наблюдая за движением стрелок.

— Молодец этот ваш бригадир. Сориентировался, как заправский пограничник, — в раздумье проговорил полковник, пряча часы. — А между тем уже полночь. С момента «высадки» нарушителя прошло четыре часа... Не забудьте предупредить своего инструктора о порошке. Я буду в комендатуре, постараюсь еще усилить заслоны. В помощь вам оставляю двоих пограничников.

Из-под толстых, мохнатых ветвей ели шагнули два солдата, назвались.

— Заслоны заслонами, а я очень хочу, чтобы вы сами взяли нарушителя. Прямо-таки надеюсь на вас, — полковник помолчал, развернул плащ-накидку, набросил на плечи. — Свежеет. Поспешите, товарищ Серов, нежелательно затягивать поиск до утра. По утрам теперь наплывают густые туманы... Представляете, сколько людей потребуется задействовать, чтобы прочесать лес?

Начальник отряда пожал руку Серову, так же цепко и коротко, как при встрече, скомандовал приехавшим с ним офицерам направляться к машине.

— Не удивляйтесь, что оставляю вам в подкрепление столь малые силы, — кивнул на двоих солдат, приданных в распоряжение Серова. — Полагаю, для вас сейчас имеет значение не количество людей, самое главное для вас — отыскать след нарушителя. А за мной, — Серов даже в темноте почувствовал, что полковник улыбается, — остается обеспечение прочных заслонов... Желаю вам успеха. Помните — пока не пал туман!

В стороне заурчал мотор, и скоро все стихло. Вязкая темень плотно кутала деревья, казалось, только сунься в чащобу, сразу потонешь, как в омуте. Ниоткуда не доносилось звуков, даже птицы ночные примолкли. Сквозь густые кроны деревьев едва просвечивали высокие звезды.

Сам Серов молчал, не подавали голоса солдаты, лишь кони тихонько позвякивали трензелями да вздыхали. Под их вздохи и подумалось Серову: вот, намеревался по учебной тревоге поднять заставу, проверить готовность. А обстановка опередила его, учинила проверку ему самому и его людям. Результат этой проверки пока что неважнецкий.

И не только это. Другое испытание, не менее серьезное для него, — встреча с Сергеем Ивановичем Коноваловым. Почти сказочный сюжет, крутой, немыслимый поворот, подброшенный ему жизнью. Из тайников памяти выплыли события далеких дней, отозвались в душе болью и радостью.

«Куда же направился нарушитель? Шевели мозгами, начальник заставы. Натолкнувшись на дровосеков, нарушитель стал действовать осторожнее — в лесу можно встретить людей. Но ведь если люди могут помешать ему, то люди же и помогут. Прежде всего на тракте, водители проезжающих машин, особенно из тех, кто незнаком с правилами пограничного режима. Туда, по логике, и устремился нарушитель. Но это по моей логи-

ке, — притормозил себя в выводах Серов. — У нарушителя может оказаться другая схема движения. Здесь немало совершенно диких чащ, буреломов. Человеку спрятаться что иголке в стоге сена. И днем пройдешь — не углядишь беглеца, не то что ночью».

Из тьмы вынырнули Симонов и Коротков.

— Мы не пошли по шпалам, чтобы крюка не делать. Тут есть тропинка напрямик, — пояснил Симонов.

Гимнастерки на них хоть выжимай, лица распаренные, утомленные, в комариных укусах. Кузнечик сразу же улегся. Бока собаки ввалились, ходили ходуном.

— Товарищ старший лейтенант, нам бы капельку передохнуть, — взмолился Коротков, присаживаясь на валежину. — Самую малость. Дышать уже нечем. Понимаете?

Симонов снял радиостанцию, двигал плечами, разминал натруженные ремнями затекшие мышцы.

Подбежал Петькин, протянул фляжку в защитном парусиновом чехле, включил следовой фонарь. Коротков отвернул колпачок.

— Во, запасливый парень, — подмигнул Петькину. — Кузнечик, давай, родной, испей.

Далеко высовывая красный дымящийся язык, глухо повизгивая, Кузнечик ловил тонкую струйку, сглатывал.

— Пей, Кузнечик, да не забывай, что мы с товарищем старшиной тоже не прочь хлебнуть по глоточку.

Словно понимая, что солдатская фляжка невелика, а желающие напиться есть и кроме него, Кузнечик облизнулся, блаженно потянулся, выгибая крепкую с буграми мускулов спину.

Время короткого отдыха промелькнуло. Коротков, побряхывая, встал без команды, вскочил и Кузнечик. Симонов натянул на плечи ремни рации.

Разминая руки, Коротков порылся в кармане, достал тряпочку.

— Подставляй, Кузнечик, мордуленцию, прочистим тебе сопелки. За сегодня ты уж всякой дряни понанюхался.

Пес с явным удовольствием потерся о ногу сержанта, задрал морду и замер.

— Вот, эдаким манером. Ну, готов к работе? Валяй теперь, родной, нюхай, ищи следы. Обязательно найди, где протопал тот гад, очень тебя прошу.

Приговаривая ласково, просительно, Коротков бежал за псом. Он не подавал команд, как инструктор из комендатуры, а разговаривал с Кузнечиком словно с напарником. Он явно нарушал инструкцию по работе со служебной собакой, запрещающую вести с ней разговоры, требующую понуждать ее искать следы четкими и короткими командами. Он так же вел себя с Кузнечиком и на тренировках. За нарушения «взаимоотношений с собакой» его не единожды распекал начальник службы собак из штаба пограничного отряда, снижал Короткову оценку при проверках, делал замечание Серову. Грозился снять с инструкторов, но не выполнял своей угрозы потому, что Кузнечик понимал хозяина с полуслова, никого больше слушать не желал, не признавал и попросту не замечал. А работал, как не раз убеждался сам начальник службы, «классно», бывало, поднимал безнадежно утерянные следы, безошибочно шел по ним через чащи и топи, был неутомим, будто в груди его билось два сердца.

И сейчас Серов думал о том, что Коротков и его Кузнечик — единственная надежда, последний шанс отыскать утерянный след. Подумалось ему и о том, что начальник отряда, кажется, не очень-то надеялся на благополучный исход, ибо после осечки инструктора из комендатуры сразу уехал укреплять заслоны, чтобы взять под более надежный контроль блокированный район. Ну что ж, он совершенно прав в этом. Потрачено слишком много времени, нарушитель оторвался от преследователей, и обстановка осложнилась. Забот у полковника теперь хватает. Вот когда подтверждаются его слова о главном звене в охране границы. Появилась трещинка на участке заставы Серова, нет, звено еще не разорвалось, возникла лишь трещинка, но нарушитель все-таки проскользнул. Пока он не ушел совсем, где-то затерялся. И полковник старается резервами захлопнуть нарушителя наглухо в западне. Все закономерно. Но и Серов со своими людьми постарается оправдать доверие начальника отряда.

— Кажись, что-то есть, — оторвал его от дум голос Короткова, донесшийся из глубины леса, и Серов бросился туда, пригнувшись, выставив локти вперед, чтобы ветки не хлестали по лицу.

На маленькой прогалине, которую со всех сторон обступили толстые ели и пихты, стоял Коротков. Кузнечик рвал поводок, тянул в лесную густоту.

— Остынь, Кузнечик, минутку погоди. Глядите, чего мы нашли, товарищ старший лейтенант. — Коротков держал большой пучок свежих, еще живых сосновых веток, но измочаленных и ободранных, со сбитой хвоей. Он рассуждал: — Предполагаю такую картину... Нарушитель, не будь дураком, когда садился на дрезину, наломал веток и натер сапоги хвоей и смолой. Понимаете? Соскочил, а на доски порошка насыпал. На травке следы не обозначились. Хитер? Ушлый, можно бы и похвалить. Да не очень. В лес сунулся, ветки начали за одежду хватать. Припотел к тому же, вот тебе и запахи. Букет моей бабушки...

Нагнулся к собаке, погладил по загривку, плутовато глянул на старшину.

— А все Кузнечик! Мудрейший пес, доложу я вам. Теперь-то уж мы нагоним этого занюханного шпиона. Скажи, Кузнечик? Старшина у тебя в долгу неоплатном. Каженный божий день должен выдавать тебе большую порцию самолучшей колбасы. А то и котлетами кормить.

— Мели, Емеля, — пробормотал старшина, но по усталому лицу пробежала улыбка.

Усмехнулся и Серов, заулыбались пограничники. И будто посветлело в лесу, отступили мрачные, поросшие серым мхом могучие стволы.

Еще не было известно, в какую сторону пошел нарушитель, неясно, как все сложится дальше, принесет ли поиск результаты, но уже тяжесть свалилась с плеч, и Серов облегченно сказал:

— Вперед, молодцы! Егор Петрович, мы с вами держимся насколько возможно ближе к Короткову. Петькин с пограничниками идет вторым эшелоном. Не шуметь, держать локтевую связь.

Петькин, опасавшийся, как бы старший лейтенант не оставил его где-нибудь в укромном месте с конями, возликовал. Как-то так уж получилось, по не зависящим от него причинам за свою службу он ни разу не принимал участия в поиске нарушителя, ни с кем не вступал в схватки, никого не задерживал, прослужил спокойно и незаметно. Было бы обидно именно сейчас, когда поисковая группа начинает преследование, остаться в стороне. Петькин подтянул стремяна, чтобы не болтались и не цеплялись за сучья, покрепче пристегнул переметные сумы, передал поводья второго коня

одному из солдат, а сам с Гнедком побежал, стараясь не отставать от группы.

Беспокойство Петькина, надо сказать, было не напрасным. У Серова возникла мысль оставить его на дороге возле дрезины — по лесной чаще с конями пробираться нелегко. Но в последний момент решил не оставлять, кони могли понадобиться.

Сквозь лес пробивались недолго, через полчаса за частоколом деревьев завиднелся просвет. Когда вышли на опушку большой поляны, над головой пронзительно заухал, захохотал филин.

— Напугал даже, черт лесной. Ну и голосок, слушаешься, — ругнулся Симонов, тяжело дыша.

Огляделись. Влево тянулось мелколесье. Серов определил, что они оказались неподалеку от лощины, на выходе из которой должен сейчас патрулировать Козырев. Он ощупал левое плечо. Рукав гимнастерки был разорван, висел большой лоскут, под пальцами прощупывался саднящий рубец царапины. Где-то напоролся на сучок, а когда — не почувствовал. Неподалеку кружил Коротков, увещевал Кузнечика:

— Ты, разумная псина, не теряй следа. Окажемся с тобой последними трепачами. Понимаешь?

Пес тихонько взвизгнул, заскреб лапами.

— Трудно тебе, согласен. Работенка каторжная, не позавидуешь. И враг соображение имеет: из леса на полянку выскочил, где ветерок запахи скорее выдувает. А ты свое соображение поймей — нельзя нам терять следы, не имеем такого права. Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. Ищи следы, милый.

Кузнечик поколесил по поляне, пересек ее с угла на угол и снова взял резво, потянул в мелколесье. Потом еще много раз останавливался, кружил. Коротков снова уговаривал пса, успокаивал, ласкал. Серов то терял надежду, то обретал ее вновь. Казалось, никогда не будет конца этому бегу по рытвинам, корням и кочкам. Серов спотыкался, падал, видел, как падали пограничники, набивая синяки и шишки на коленях и локтях, царапали руки о корявый низкорослый подлесок.

В лощине Кузнечик вдруг круто свернул вправо.

— Что случилось, Коротков, нет ли ошибки? — спросил Серов.

— Не должно быть, теперь идем уверенно.

— Больно резко повернули.

— Опять же предполагаю, может, нарушитель какую опасность усмотрел впереди и свернул.

Перевалили через небольшой увал, миновали перелесок и начали углубляться в болото.

«Все верно. Говоря языком Короткова, нарушитель соображение имеет: тянет через болото к гравийной дороге. По ней часто бегут машины, а на лесовоз можно вскочить, не спрашивая разрешения у водителя — он и не заметит на прицепе случайного пассажира. Вот тогда по-настоящему пиши пропало», — раздумывал Серов, натыкаясь коленями на пружинящие кочки.

— Глядите, вот он, след. — Коротков включил фонарь, луч лег между кочками. — Точно такой отпечатался на берегу ручья. Эти рубчики на подошве я еще там приметил.

— Правильно идем, тот самый след, — подтвердил Симонов.

След тянулся между осинок и низкорослых сосен, не забирая в глубь болота. Со стороны нарушителя это было разумно, потому что в центре могли остаться бочажки, попади в один из них, неизвестно, смог ли бы выбраться.

— Товарищ старший лейтенант, — притормозил Коротков, — Кузнечик верхним чутьем пошел. Догнали...

— Ясно. Через каждые десять-пятнадцать шагов останавливаться и слушать.

Двинулись с предосторожностями. Только слегка шелестела под сапогами жесткая трава. Лопотали на осинах листья. Тучами висели в застойном воздухе болота комары, липли на потные лица, жалили руки. Серов временами проводил ладонью по лбу, щекам, затылку, мямл, размазывал комаров. Кажется, кожа уже не чувствовала укусов.

Впереди хрустнуло раз-другой. Кузнечик рванулся на поводке, придушенно захрипел.

Вот он, нарушитель, протяни руку, достанешь. Безусловно, он давно почуял за собой погоню. Но сил не хватает уйти. Серов прибавил шаг. Впереди, теперь уже ясно слышимые, зачастили шаги, затрещала под ногами валежина. И тогда Серов, набрав в легкие воздуха, крикнул:

— Стой, ни с места!

Шелест травы и топот не прекратились. Видать, из последних сил, но рвется вперед, на что-то надеется.

— Стой, стрелять буду! — снова громко и хрипло, срывающимся голосом выкрикнул Серов.

За осинками сверкнуло, и пуля пропела где-то рядом. Выстрел в постоянно давившей на слух тишине прозвучал необычайно громко.

— Бросай оружие! — загремел Симонов. — А не то раскатаю из автомата...

Впереди снова раз за разом треснуло, пуля с сочным хрустом впилась в дерево. Эхо раскатилось далеко по болоту и замерло вдали, может быть, за дорогой.

— Ложись! — коротко скомандовал Серов, упал между кочками и пополз, поравнявшись с Коротковым, предупредил: — Не стрелять пока.

Приподнявшись на руках, Серов смотрел туда, где сверкали огоньки выстрелов, но ничего не смог разглядеть. Чуть белели в темноте редкие тонкие стволы березок. Снова слышался топот, человек убегал. Серов легко оттолкнулся и тоже побежал. Слева от него тяжело топал сапогами Симонов — теперь не имело смысла таиться. Справа тоже кто-то бежал. Серов догадался — это Петькин с пограничниками.

Убегавший снова выстрелил. Симонов споткнулся и выронил автомат.

— Ранены?

— Нет. Приклад расщепило.

Серов поднял пистолет и дважды выстрелил, беря повыше, чтобы не задеть нарушителя, но припугнуть его, прижать к земле. И это подействовало — нарушитель где-то затих, затаился. Серов тоже приказал всем залечь. Теперь на пулю нарваться можно было запросто, враг мог стрелять прицельно. Было тихо, только слышалось дыхание людей, да лез в уши комариный звон.

— Может, Кузнечика пустим? А то ведь подстрелит кого-нибудь, — предложил Коротков. — Кузнечик его образумит.

— Пускайте. Как только собака схватит нарушителя, тут же бросаемся и мы.

Коротков отстегнул карабинчик от ошейника.

— Давай, Кузнечик, не подведи, родной. Фас!

Пес бросился в сторону врага. Через несколько секунд слышалась возня, глухой вскрик человека, злобный рык собаки.

Пограничники метнулись на звуки борьбы. Не успе-

ли добежать, грохнули выстрелы. Кузнечик коротко взвизгнул.

Серов заметил метнувшуюся в сторону тень, кинулся наперерез. Показалось, прямо в глаза ему полыхнуло пламя, чем-то тяжелым ударило в висок, оглушило. Почти не сознавая уже, что делает, он настиг тень и кулаком с зажатым в нем пистолетом двинул по ней. Ощутил, что угодил. От удара тень надломилась, осела. Зацепившись за что-то, Серов не удержался на ногах и тоже упал. Почти тут же вскочил, но, не в силах превозмочь вдруг появившуюся в ногах и руках вялость, присел, опершись спиной о ствол дерева. Глухота отступила, будто из ушей выскочили пробки, и он услышал, как рядом кричал Симонов:

— Все, готов! Припечатали, теперь не уйдешь!

До Серова с трудом доходил смысл слов старшины. «Как готов? Что значит «припечатали»? Застрелили нарушителя?» Но ведь как будто выстрелов он не слышал. А как он мог их слышать, если оглох?

Висок тупо ныл, за ухом дергало и жгло, словно втыкали раскаленное шило, за воротник текло горячее. Он потрогал висок, рука стала мокрой, липкой.

— Лежи смирно! — снова услышал рокочущий бас Симонова.

Вспыхнул следовой фонарь, над Серовым склонился Петькин:

— Что с вами? Вы ранены?

В снопе света лежал человек со связанными руками. Он моргал и отворачивался от ярко бьющего луча. Рядом с ним неподвижно распластался Кузнечик.

— Не стрекочите. Ранило, ранило... Мы не в куклы тут играли. — Симонов опустился на колено, осветил карманным фонариком Серова. — Ударчик у вас, Михаил Федорович, как у заправского боксера. Этот, как мешок с отрубями, свалился, — он кивнул на лежащего человека. — Э, да вы в самом деле ранены. Держи-ка фонарь, Петькин.

Он принялся осматривать висок, мягко поворачивая голову Серова.

— Кажется, только скользнула пуля, кожу рассекла. От уха капельку отщипнула. Я-то видел, как вы споткнулись, да сразу вскочили. Ну, подумал, все в порядке. Занялся нарушителем. Вот его пистолет. Успел новую обойму вставить, только пострелять больше не довелось. Не дали.

Старшина сунул пистолет в карман, разорвал индивидуальный пакет и начал бинтовать.

— Оглушило меня, совсем было слышать перестал, — проговорил Серов, удивляясь, как Симонов мягко, неслышными прикосновениями пеленает голову. — Что с псом?

— Нет больше Кузнечика, — Симонов вздохнул, голос его вздрогнул. Он кончил бинтовать, затянул узелок, помолчав с минуту, добавил: — Погиб Кузнечик, товарищ старший лейтенант.

Серов посидел еще немного, ухватившись за ствол осинки, тяжело поднялся, подождал, когда отпустит головокружение.

— Обыскали? — кивнул он на задержанного.

— Кроме пистолета, еще это, — старшина протянул кожаный бумажник. — Больше как будто ничего нет. Может, в одежде что зашито.

В бумажнике был советский паспорт, еще какие-то документы, деньги. «После разберемся. С этим потом», — подумал Серов.

— Надо обыскать местность. Возьмите солдат и тщательно осмотрите, — сказал Серов, пряча бумажник.

— Все прочедем. За мной, ребята!

В сторонке, положив голову Кузнечика себе на колени, сидел Коротков, горестно нашептывал что-то сквозь слезы, гладил погибшего друга.

Сноп света заскользил между осинками, ложился на кочки, пробегал по траве и кустам. Серов следил за ним взглядом и чувствовал, как боль в виске постепенно отступала, в ногах уже не было той противной слабости, которая свалила его после того, как пуля чиркнула по виску.

Неожиданно раздался истошный крик Петькина: «Товарищ старшина!» — и ахнул взрыв.

— Охраняйте нарушителя, Коротков! — сказал Серов и опрометью бросился к месту взрыва.

Первым он увидел Симонова. Старшина поднимался, держась за высокую кочку, и ругался. Серов еще никогда не слышал, чтобы Симонов так ругался. А тот гремел на весь лес, не стесняясь в выражениях. Тут же стонал Петькин.

Старшина подобрал валявшийся фонарь, осмотрел Петькина. По брюкам над коленом расползлось тем-

ное пятно. Осколок прошил мякоть и застрял на выходе под кожей. Перевязывая, старшина рассказывал:

— Обшарили местность вокруг — ничего. А тут, глядь, рюкзак валяется. Поднял я его. Думаю, дай проверю, прежде чем вам докладывать, нет ли какой шкоды. Довольно увесистый рюкзачок. Хотел посмотреть, что в нем. Клапан не поддается, вроде нитками пришитый. Дернул я посильнее, слышу — щелчок какой-то. А тут Петькин заголосил, налетел на меня. С ног сбил, упал я между кочек, а Петькин сверху. Тут и рвануло... — Серов уловил в голосе Симонова теплоту, и гордость за солдата, и удивление. Наверное, не думал старшина, что Петькин в такой критической ситуации быстрее его, старого служаки, сообразит, какая опасность кроется в простом легком щелчке, и, не думая о последствиях, примет ее на себя. Симонов закончил перевязку, потрогал, не туго ли, сказал: — Готово. Сегодня я санинструктором поневоле сделался. Никого больше не задело?

— Нет, не зацепило, — радостные, что пронесло, ответили молодые пограничники, оставленные начальником отряда.

Один из них поднял и подал старшине рюкзак.

— Целый! — удивился Симонов, осторожно ощупывая мешок из плотной зеленоватой ткани. — Видать, когда я резко дернул клапан, взрывное устройство вывалилось...

В рюкзаке обнаружили передатчик, несколько снаряженных обойм для пистолета, пачки денег, блокноты, очевидно, с шифрами.

Настроив рацию, Серов условным кодом доложил начальнику отряда о задержании нарушителя границы и ранении рядового Петькина. Полковник приказал выходить к дороге. Он подошлет туда машину.

Подвели лошадей, Петькина подняли в седло.

— Усидишь? — Старшина замотал портянкой его голую ногу, вставил ее в стремя.

— Ага, буду держаться, — сквозь зубы, невнятно ответил Петькин.

— Крепись, казак, атаманом будешь.

Нагнувшись, Симонов потянул нарушителя за воротник:

— Хватит разлеживаться, простудишься.

Коротков мял в руках поводок, который совсем недавно был пристегнут к ошейнику его Кузнечика.

— Товарищ старший лейтенант, Кузнечика здесь не оставляю. На себе до заставы понесу, а не брошу. Не могу.

— Успокойтесь. Кто вам сказал, что мы бросим Кузнечика? Кладите его на другую лошадь!

— Как же вы-то пойдете? Вы ранены, вам надо ехать.

— Обойдется.

За осинником, перед дорогой, открытая низина. Под ногами вязкая сырая почва. Серов с удивлением вдруг заметил, что ведомая им колонна словно забрела в молоко. Туман плотной пеленой скрыл ноги людей и лошадей, и странно было видеть невесомо плывущие, наполовину урезанные фигуры.

На кромке болота черемуховые дебри, тугие заросли колючего шиповника, приторно пахнущего болиголова. С листьев падали тяжелые капли росы.

Из-за поворота, полоснув светом по придорожным кустам, показалась крытая грузовая машина. Навстречу ей вышел Симонов. Скрипнули тормоза, и чей-то звонкий голос позвал:

— Егор, ты?

— Само собой, я. А ты откуда взялся? — глухо ответил Симонов.

— Да стреляли здесь где-то... — говоривший вместе с солдатами выскочил из кузова на гравий дороги. — Не зря, думаю, мой заслон сняли и сюда перебросили.

Ответить Симонов не успел. С противоположной стороны подкатил «газик» полковника Коновалова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Внимание! Германские оккупационные власти объявляют:

1. Всякое огнестрельное оружие и военная амуниция подлежат немедленной сдаче властям. Не выполнивший распоряжение **БУДЕТ РАССТРЕЛЯН**.

2. В этой деревне разрешается жить только оседлым местным жителям. Пребывание вне дома с наступлением темноты до рассвета **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Кто будет обнаружен на дорогах или в других местах вне деревни, считается партизаном и **ПОДЛЕЖИТ РАССТРЕЛУ**.

3. Строго воспрещается давать убежище, снабжать продуктами питания и оказывать помощь военнослужащим Красной Армии и партизанам. Виновные в этом **БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ**.

4. Кто вредит германской армии, пытается уничтожать телефонные провода, железнодорожные пути, мосты, склады, подлежит **НЕМЕДЛЕННОМУ РАССТРЕЛУ**.

5. Жители, замеченные в укрывательстве от германской армии продовольствия и теплой одежды, **БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ**».

Мишка давно уже пробежал глазами крупные строчки, напечатанные на большом листе серой бумаги, вывешенной на стене, а дедушка все еще шевелил губами, шепча непривычные слова.

— Пойдем, внучек, — наконец сказал он Мишке. — Ишь чего понаписали, ироды.

Не сговариваясь, они ничего не сказали Сергею Ивановичу про этот плакат, будто их он не касался. Как и раньше, они выводили его по ночам на двор, подышать свежим воздухом. Вот и сегодня вышли. Капитан стоял, тяжело навалившись на Мишкино плечо. Вдали видны были багровые дымные всполохи, широко расползавшиеся по срезу неба. Доносились приглушенные оружейные раскаты.

По тому, как часто Сергей Иванович затягивался сигаркой, Мишка догадывался, что думы его были беспокойные. При затяжках на его заострившихся скулах вспыхивали красноватые отблески.

— А староста, эта кочерыжка гнилая, похвалялся, — подал голос дедушка, — мол, теперь немцы через Волгу запросто перемахнут. Дескать, эту силищу не удержать. А как за Волгой будут, Москва сама им в ножки поклонится.

— Ну нет, — возразил капитан. — Волги захотели? Шалишь, захлебнутся. Под Москвой им надавали по мордасам, туда они лезть боятся. Да все это только цветочки, ягодки впереди. Погодите, еще как почешут обратно по этой самой дороге, где я со своими... оборону держал, — капитан помолчал и яростным шепотом закончил: — Буду улепетывать... Только выпускать их нельзя. Надо, чтоб здесь они, все до единого, и могилу

себе нашли. А старосту, вот поправляюсь немного, вы мне, дедушка Назар, покажите...

У деда с Мишкой со старостой свои счета имелись. Этот человек неопределенного возраста, с опухшей от пьянства красной рожей появился неизвестно откуда. У него двое помощников-полицаяев, таких же пьяниц, как и он. Ходят с повязками на рукавах.

Они водили по домам вражеских солдат, вместе с ними потрошили скарб деревенских жителей, лазили в погреба, уносили последнее. Нередко крутились возле дедова подворья. Мишке начинало казаться, что он и дед не всегда были осторожны и староста о чем-то догадывался, может, выжидал подходящего момента, чтобы неожиданно нагрянуть и схватить дядю Сережу. Возле хаты он возникал нежданно-негаданно, будто вылезал из тайного схрона. Слонялся под окнами, заглядывал в избу.

Дедушка как-то не стерпел, подойдя к старосте, спросил:

— Аль потерял что? И чего все вынюхиваешь, выведываешь?

Староста замахал руками, скособочив рот,дохнул самогонным перегаром:

— За вами, крапивным семенем, глаз да глаз нужен.

— Гляди, как бы этим глазом в темноте на сучок не напоролся. А то стукнет кто ненароком, — посулил дед.

— Доберуся я до тебя, старик. Крапивин твоя фамилия? Так вот, как крапиву однажды скошу.

— Не пугай, за свою жизнь я много раз пуганный. А ничего, обошлось. От моей гибели проку тебе никакого. Разве в эту рубаху вырядишься, — дед усмехался, приподнимая подол выношенной, с латками на локтях ситцевой косоворотки.

Теперь, прежде чем войти к капитану, Мишка долго кружил возле хаты, смотрел, не притаился ли кто в канаве, в вишеннике. Опасался, не выследил бы староста или его прислужники — полицейские ищейки.

— Что донесла разведка? — шутливо спрашивал капитан.

— Все в порядке, противника не наблюдается. — Мишка уже поднаторел возле капитана, щеголял военными терминами.

Трогая щеточку усов, Сергей Иванович одобрял:

— Хорошо. Бдительность в нашем теперешнем положении, Мишук, первое дело.

Если бабушка случалась тут, поддакивала:

— Береженого и бог бережет.

— Бог-то бог, да сам не будь плох, бабуля. Если этот гад староста что-то почует, он на вашего бога плюнет. Эх, поскорей бы выбраться отсюда.

— Неугомонный, — сокрушалась бабушка. — Рукой-ногой толком двинуть не может, а норовит поскорее уйти куда-то. Отдыхал бы, давно ли от смерти-то отвертелся?

— Фашистов побьем, тогда и отдохнем.

Приближалась осень. Ночное небо стало казаться ниже, звезды на нем крупнее и ярче.

Жить в подполе капитан больше не захотел, попросился на чердак. Дед этому сопротивлялся недолго — Мишка стал на сторону Сергея Ивановича. За трубой расстелили матрац, загородили ложе старыми плетеными корзинами, завесили тряпьем. Мишка поднимался к капитану, целыми днями через щели в крыше они наблюдали за жизнью деревни. Сергей Иванович изучил все закоулки как свои пять пальцев.

Он повеселел, часто рассказывал деду и Мишке о службе на границе. Выходило, что послужил он порядочно, повидал разные места, о которых Мишка знал из учебника географии.

Рассказывал капитан и о своей службе на западной границе, где встретил войну.

— Дядя Сережа, — как-то спросил Мишка, вспомнив в эту минуту своего отца и думая о нем, — где теперь ваша семья?

Надолго замолчал капитан, лишь гладил Мишку по голове, ответил коротко:

— Не знаю, Миша.

И такая тоска в голосе прозвучала, что Мишка пожалел о своем вопросе. Больше об этом они не заговаривали.

Невзирая на запреты деда и устрашающие приказы, повсюду развешанные старостой, Мишка, подобрав малую саперную лопатку, копался в окопах. На поверхности ничего уже не валялось — трофейные команды фашистов подобрали все. Но однажды попался ему обрывок пулеметной ленты, в нише окопа выкопал он горсть винтовочных патронов. Потом отрыл сумку с

двумя ручными гранатами и запалами в деревянном футлярчике. Наконец обнаружил и винтовку и как-то ночью все это добро притащил домой, рассчитывая припрятать, пока дед спал. Но дед ожидал его и, прихватив со всем арсеналом, повел на расправу к капитану.

Неожиданно для деда Сергей Иванович не стал упрекать Мишку, только напомнил, что надо быть осторожнее.

— Я незаметно... никто не видел.

— Коли староста дознается, немцам донесет, — слабо сопротивлялся дед.

— Ладно, старосты не будем бояться, пусть он нас пугается, — усмехнулся Сергей Иванович.

Вместе с Мишкой почистил винтовку, свой наган, смазал их машинным маслом. Мать свою швейную машинку увезла, а масленку забыла. Она и пригодилась. Потом капитан учил Мишку обращаться с оружием, снаряжать гранату запалом, готовить ее к броску. И когда Мишка стал ловко повторять все приемы, сказал:

— Учись солдатской науке. В такое время она пригодится.

Покрутил барабан у нагана, сказал сожалеючи:

— Хороша штука, да без патронов вроде игрушки.

Несколько раз ходил Мишка на позицию. Очень ему хотелось отыскать патроны к нагану. Да где там... Только и отрыл в том месте, где пушка стояла, еще одну винтовку с расколотым цевьем. Эту находку не стал показывать Сергею Ивановичу. Сам почистил, стянул проволокой цевье, завернул в тряпки и спрятал перед окнами под завалинкой. Пусть попробует кто-нибудь найти.

Да еще Мишка в окопе гильзу винтовочную, позеленевшую, обнаружил, а в ней записку капитана Коновалова. Читал, вытирая слезы, принес и показал капитану. Подержал Сергей Иванович не успевший еще пожелтеть листочек, прочитал с таким видом, будто не он сам писал, а кто-то другой, протянул Мишке:

— Оставь у себя, сохрани на память. Вот уйду я, а ты достанешь записку, прочитаешь. Будто письмо от меня получишь.

Знал Мишка, что приближалось время, когда дядя Сережа должен был уйти, смириться с предстоящим расставанием не мог. Вздыхали, чувствуя близкую разлуку, дед с бабушкой. Дед внушал, что, мол, солдат он

и надо ему быть вместе с солдатами, бить врага, так ему повелевает воинский долг. Но успокаивал этим больше себя, а не бабушку. Все они в глазах Сергея Ивановича тоже замечали потаенную печаль. Он хорошо знал, что после всего случившегося дед с бабушкой полагали его за своего сына, но остаться было не в его силах.

Последние три ночи, обрядившись в дедовы холщовые рубаху и порты, капитан исчезал куда-то и появлялся только под утро.

— Должок тут кое-кому выплатить надо, — сказал он.

Эти слова мало что прояснили Мишке, но про себя он решил, что капитан что-то затевал.

Накануне той ночи, когда капитан собрался уходить, случилось непредвиденное. Полицай выследил бабушку, направившуюся поить и кормить телушку. Заметив незнакомого, телушка проявила необыкновенную прыть и смелость. Да все равно не спаслась. Полицай телку пристрелил, а бабушку избил. В тот же вечер пестрая шкура телушки сушилась на плетне у старосты. Сам он заявился во двор к деду, тыкал ему в грудь грязным пальцем и брызгал слюной:

— Ты, старик, скрывал от армии фюрера продукты питания. Доложу коменданту, мокрое место от тебя останется. Пока мы пожалели твою старуху, до поры до времени...

От полицейской жалости бабушка едва дотащилась до хаты и слегла.

Вечером из трубы дома старосты змеился дымок, из окон неслись пьяные крики. Капитан долго всматривался в сгустившиеся сумерки, сказал:

— Это заставляет несколько изменить план... Ну, ничего, долго не задержусь.

Он ушел в хату и появился в своей полной командирской форме, которую бабушка выстирала, заштопала и погладила. На рукавах четко проступали желтые угольники, на груди тускло поблескивала медаль.

— Ох, родимый ты мой, — захохала едва приковылявшая вслед за ним бабушка. — Как же ты в форме-то этой пройдешь? Ведь увидят тебя, поймают, супостаты.

— Ништо, мать ты не тово, не хорони заранее, — дед совал Сергею Ивановичу кисет. — Возьми, Сережа, на дорожку горлодера.

Бабушка подала котомку с вареной картошкой и черными лепешками из отрубей.

— Горе-то наше, и дать с собой нечего. Все под метелку вымели, — она уткнулась лицом капитану в грудь, мочила слезами гимнастерку.

Капитан трижды поцеловал ее, обнялся с дедом, приподнял Мишку, прижал крепко.

— Прирос я к вам. Ухожу, вроде бросаю на произвол судьбы. Вы уж простите, воевать мне надо, — глухо говорил он. — Обещаю: прогоним врага, отыщу вас. Обязательно отыщу.

Взял винтовку на ремень, похлопал по кобуре, где был наган без патронов, пристегнул сумку с гранатами и ушел, растаял в ночи.

Через час вспыхнул дом старосты, загорелся, как смолье на ветру. Ревело пламя, пожирало сухие бревна, дым клубами взлетал в темное небо. Скоро только ярко рдели обуглившиеся стены. Но ни крика, ни зова о помощи не донеслось оттуда. Мишка с дедом молча переглядывались, дед понимающе кивал головой.

Под утро появились солдаты. Они, громко переговариваясь, ходили вокруг рдевших головешек — тушить было нечего.

— Большому черту — большая и яма, — сказал дед. — Что заслужил, то и получил, господин староста.

Не успели Мишка с дедом уйти в хату, далеко за деревней гроыхнуло. Эхо взрыва гулко прокатилось по степи. Мишка стремглав взлетел по лестнице на открылок, но ничего не увидел. «Да это же мост на реке рвануло, — догадался он, определяя направление по докатившемуся гулу. — Точно, мост».

Утром, только забрезжил рассвет, в деревню ворвались фашисты. Они выгнали жителей из хат. Деда тоже забрали, бабушка лежала на кровати как неживая. Мишка успел убежать, затаился на окраине в густых лопухах. Туда же, в поле, и согнали жителей, выстроили их неровной шеренгой.

Двое плечистых мордастых солдат приволокли человека в красноармейской форме. Человек безжизненно висел на их руках, ноги в сапогах тащились по земле, поднимали пыль. Голова в зеленой фуражке свесилась на грудь и болталась из стороны в сторону при каждом шаге. Свет померк в глазах у Мишки. Он больше

ни на что не мог смотреть, видел только эту фуражку. «Дядя Сережа. Поймали дядю Сережу», — стучало в голове.

— Кто знает этого человека? — громко крикнул офицер, размахивая пистолетом.

Люди молчали. Порыв ветра пробежал по лопухам, шелестя листьями, пригибая стебли. Мишка припал к земле, опасаясь, что будет виден.

— Это есть бандит! — надрывался офицер. — Вы есть укрыватели бандита, который совершил диверсию против германской армии.

Он взмахнул рукой. Невысокий кривоногий солдат быстро пошагал вдоль шеренги, громко считая:

— Айн, цвай, драй...

За ним шли двое солдат, выдергивали из шеренги людей и швыряли их под ноги офицеру. Первым выхватили согбенного сивобородого старика. Еще недавно он чинил Мишке ботинки, прибивая подметки деревянными шпильками. Потом схватили мальчишку, Мишкиного ровесника. За ним женщину. Она успела лишь передать своего младенца соседке.

Офицер опять что-то выкрикнул, Мишка не разобрал что, подошел к человеку в зеленой фуражке, поставил пистолет к его груди и выстрелил несколько раз подряд. Человек не вскрикнул, даже не вздрогнул, висел, как прежде, на руках державших его солдат. Видимо, он до выстрелов уже был мертв. Солдаты разжали руки, и он упал лицом в пыль.

А солдаты и офицер бросились на тех, кого выдернули из шеренги. Замелькали плетки, загремели выстрелы.

Мишке показалось, что выстрелы колотят его по затылку, и у него поплыло перед глазами. Когда он очнулся, люди были уже далеко от него, их угоняли куда-то. С ними уводили и деда. Человека в зеленой фуражке тоже не было, должно быть, унесли. Только корчился в пыли сивобородый старик и глухо стонал.

«Погиб дядя Сережа... — думал Мишка, направляясь к старику, надеясь помочь ему. Он вспомнил сейчас про записку, найденную в патронной гильзе. — Вот почему капитан велел сохранить письмо. Он уже тогда знал, как поступит после того, как вылечится. Знал, что погибнет, готовил себя к этому...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Все в сборе? — Начальник отряда выскочил из машины почти на ходу, направился к Серову.

— Товарищ полковник, поисковая группа...

— Ладно, подробности после. Молодцы! Хзаялю, — полковник обнял Серова. — Спасибо, начальник заставы. Благодарю за службу.

«Обнял точно так, как в тот раз», — растроганно подумал Серов, вспомнив расставание с капитаном Коноваловым.

— Где раненый? — Полковник скользнул взглядом по пограничникам, заметил кособоко сидевшего на коне Петькина, обмотанную ногу. — Немедленно в машину и в санчасть. Хирург дожидается.

Завозился Петькин в седле, выпрастывая ногу из стремени.

— Не надо меня в санчасть, товарищ полковник. На заставе я скорее выздоровлю. Ногу перевязали, не болит. Ну, не шибко болит. — Помолчал немного и снова тенорком затянул: — Товарищ старший лейтенант, походатайствуйте за меня перед товарищем полковником. Обрато, кто на заставе за лошадьми станет досматривать?

— Ногу твою доктору показать надо, сынок. Не упрямысь. Долго тебя держать не станут, подживет рана, и вернешься на заставу.

Петькина сняли с коня и пересадили на мягкое сиденье «газика».

Только тут полковник заметил повязку на голове Серова.

— Вы тоже ранены, почему молчали, не доложили? — строго спросил он. — В санчасть немедленно.

— Слегка царапнуло, не опасно.

— Ну вот, у одного не болит, у другого не опасно, — приглядевшись, различил ржавые пятна на воротнике и на погоне, повторил: — В санчасть, пусть доктор посмотрит. Оттуда мне позвоните.

Серов сел к Петькину, под колесами хрустнул гравий, и «газик» повез их в погранотряд.

...Начальник отряда посмотрел на Короткова, понуро державшего за повод гнедого коня, на собаку, безжизненно лежавшую поперек седла, и понял, что «под-

робности», доклад о которых он перенес на потом, имеются...

Распорядившись поместить задержанного нарушителя в кузов машины под охраной, полковник подошел к пограничникам и каждому молча пожал руку, благодаря за службу. Молча, чтобы не заставлять сейчас их что-то говорить в ответ на его благодарность. В жидком, рассеянном свете фар он видел бледные, осунувшиеся лица и глаза с выражением крайнего утомления. Пограничники поеживались, потому что горячка преследования и схватки с нарушителем прошла, на плечи давила, горбила усталость.

Это их состояние видел и хорошо понимал полковник. По собственному опыту он знал, что и минута, проведенная под пулями, — трудно с чем сравнимая величина. А они только что пережили такие минуты. Пережили и задержали нарушителя, который больше уже не опасен, благодаря им врагу не дано совершить свое черное дело, ради которого хозяева послали его через границу.

Полковник разрешил Короткову с одним из пограничников отправиться на заставу, Симонову сказал:

— Вы со мной в комендатуру, разберемся в деталях.

Старшина уже залезал в кузов машины, когда в стороне затрещали сучья, донесся голос:

— Здесь свои. Это я — Козырев.

На дорогу вышли трое, все в ватниках, резиновых сапогах, у переднего — ружье на ремне.

— Здорово, Егор, — обратился он к Симонову. — Это ты, стало быть, шумел в осиннике?

— Уж как пришлось, Алексей Дмитриевич, — неопределенно ответил Симонов. — Здесь начальник отряда...

Узнав, что это и есть тот самый бригадир с лесопилки, сообщивший свои подозрения насчет угона дрезины, полковник подошел к Козыреву.

— Рад познакомиться, Алексей Дмитриевич. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за помощь, — полковник поздоровался с подошедшими рабочими.

— Что ж, помощь... Возле границы живем, — со смущением заговорил Козырев. — Мы с ребятами согласно задаче, поставленной начальником заставы, патрулировали в ложине. Услышали выстрелы, дернули на

них. Как ни торопились, а успели к шапочному разбору. Далеконько бежать пришлось.

— Садитесь в машину, подбросим вас в поселок, — пригласил полковник. — То, что вы не успели прибежать к моменту задержания нарушителя, не беда. Серов управился. А вот за сообщение начальнику заставы спасибо. Глаз у вас наметан и чутье настоящее — пограничное. Прошу передать всем вашим товарищам благодарность командования отряда.

Пока ехали, разговорились о житье-бытье в приграничном поселке. Полковник интересовался производством, бригадой Козырева, его семьей. Бригадир охотно обо всем рассказывал.

— Обязательно побываем у вас, познакомимся ближе, — пообещал начальник отряда.

Не доезжая до поселка, Козырев сошел, сказав, что надо известить ребят о конце службы, отправить их отдыхать.

В комендатуре начальник отряда приказал дежурному передать на заставу Серова распоряжение снять усиление с границы, нести службу в обычном варианте. По возможности обеспечить личному составу полный отдых.

— Идемте, товарищ Симонов, посмотрим на вашего «гуся залетного», — пригласил полковник. — А потом вместе поедem к вам на заставу.

В хорошо освещенной комнате разглядели задержанного. Он был невысокого роста, с выпуклой грудью. Жилистые руки и крепкие плечи говорили о том, что человек много и усердно тренировал себя. Лицо с крупными чертами, тяжелым подбородком, узкими твердыми губами было насуплено. Левый глаз затек, под ним лиловел большой синяк. Внешне этот человек ничем не отличался от местного жителя.

На столе было разложено изъятые у него снаряжение: рация, пистолет, запасные обоймы, бумажник и документы.

На вопросы задержанный отвечал не спеша. Факт его задержания очевиден, отрицать что-либо глупо. Он изучил советские законы, которые учитывают правдивое признание виновного. Да, шел с разведывательным заданием. Передатчик, пистолет и кучу денег не берут с собой, когда отправляются в лес по грибы. Это ясно и ребенку. Подготовку проходил в специальной разведшколе. Адрес школы? Пожалуйста, он не соби-

рается из этого делать тайны. План его переброски был разработан филигранно. Его подвела самонадеянность, он нарушил план, когда воспользовался дрезиной. Ему показалось, за ним и погнались те лесорубы, которых он увидел в горелом лесу. Он не хотел убивать, старался только отпугнуть выстрелами догоняющих его людей. В разведцентре не предполагали, не рассчитывал он сам, что советские пограничники так скоро засекут его. Скорее его выдал тот пигмей, на которого положились в разведцентре при переправе через границу.

— Что скажете, старшина Симонов? — спросил полковник, когда задержанного увели.

— Не знаю, как насчет всего остального, что он говорил, а вот по поводу того, что не хотел убивать, врет. Стрелял на голос, когда прижали, пальнул в упор в старшего лейтенанта Серова. С рюкзаком подлую ловушку подстроил.

Снова переживая все перипетии поиска, но стараясь сохранить спокойствие, Симонов рассказал о задержании, о старательности и смекалке пограничников, особенно сержанта Короткова...

— Не пусти мы собаку, не отвлеки она нарушителя на какие-то секунды, которых нам хватило, чтобы сблизиться с ним, может, и не взяли бы его живым.

— Обрисуйте, что представляет собой первый задержанный.

— По виду — обыкновенный крестьянин, а по сути — проводник, переправщик. Отлично знает местность. Жаден до денег.

— Интересные, важные наблюдения. Завтра мы на него тоже посмотрим, — полковник прошелся по комнате.

Ему понравился старшина, наблюдательный и думающий. Наверное, старается во всем подражать своему начальнику, даже в манере говорить. Это заметно. Что ж, каков командир, таковы и подчиненные.

...Из комендатуры выехали, когда первые робкие проблески зари чуть тронули край неба на востоке. Тих и задумчив стоял лес. Откуда-то, должно быть из болота, наплывал, растекался вдоль дороги густой туман, повисал на кустах большими белыми шапками, колыхался над полотном дороги, даже свет включенных фар с трудом пробивал его.

— Снова жаркий день будет. Верная примета —

туман. — Полковник повернулся к Симонову: — Так говорите, инструктор ваш Коротков сильно горюет? Друга четвероногого потерял...

— На удивление понятливая собака была. Посмотришь ей в глаза, так и кажется, что в них мысль светится. Коротков в своем Кузнечике души не чаял. Оба привязались друг к другу.

— Надо как-то поддерживать сержанта. Подумаем над этим, — полковник откинулся на спинку сиденья, глубже натянул фуражку. — Подремлите, товарищ Симонов, пока едем. Я тоже расслаблюсь.

Когда дремать — езды всего ничего, полчаса. «Как там старший лейтенант? — подумал Симонов. — Хорошо бы отпустили его на заставу».

Серов после осмотра в санчасти действительно был отпущен на заставу, с условием, что на другой день подъедет фельдшер сделать перевязку. Уже у машины его перехватил начальник политотдела, только что вернувшийся после объезда заслонов. Подполковник о схватке с вооруженным нарушителем уже знал, похвалил коротко:

— Молодцы! Я сообщил в округ... Из газеты корреспондент выехал, так что утречком встречайте. С Петькиным как дела?

— Доктор осколок вынул. Обещал через пару недель отпустить.

— Ладно, я его навещу. Видать, славный малый.

Неожиданно переведя разговор на другое, начальник политотдела огорошил Серова вопросом: как он смотрит на то, если его замполита Гаврилова подполковник заберет к себе в помощники по комсомольской работе? Серов не сразу нашелся что ответить.

— Понимаю, не желаете расставаться со своим заместителем. Хорошо сработались... — улыбнулся начальник политотдела. — Ладно, об этом потом поговорим, все взвесим. А теперь поезжайте на заставу, начальник отряда отправился к вам.

...На заставе было тихо. Дежурный доложил: полковник лег отдыхать, а лейтенант Гаврилов отправился на проверку нарядов. Полковник приказал также, как старший лейтенант приедет, чтобы немедленно ложился спать.

— Хорошо, иду, — улыбнулся Серов, подивившись

тому, что и об этом полковник не забыл предупредить дежурного.

В квартире светилось окно. «Не спит или забыла выключить лампу? — подумал он об Ольге. — Для нее ночь тоже была тревожной и показалась, наверное, долгой-долгой».

Перед офицерским домом постоял, опершись на изгородь, ощущая, как истома наваливалась на него, сковывала все тело.

Ольга прикорнула на тахте. На столе горела лампа, лежала раскрытая книга. Ольга была в тех же синих спортивных брюках, что и утром, в шерстяной кофте. Коса расплелась, волосы свесились до пола. «Сморило бедняжку».

Серов подошел к кроватке Костика, поправил одеяло.

— Это ты? Как долго тебя не было. — Ольга открыла глаза и вскочила. — Что с тобой, Миша?

Она рванулась было к нему, но вдруг ноги отяжелели, ослабли, и она медленно-медленно опустилась на тахту, закрыла лицо руками и заплакала.

Шагнув к жене, Серов мельком глянул в зеркало. Из-под повязки с пятном проступившей крови выбились волосы, выглядел он похудевшим, осунувшимся. Гимнастерка изодрана, исхлестана ветками, запятнана кровью. «Нечего сказать — видок у меня... Надо было, прежде чем в дом заходить, привести себя в порядок», — мелькнула мысль. Присел рядом с Ольгой, взял ее руки в свои.

— Не надо, родная. А еще пограничница.

Ольга прижалась к нему, глубоко вздохнула.

— Ты ранен, только говори правду?

— Ничего серьезного, сучком слегка чиркнуло. Ты испугалась? А помнишь, сама на границу просилась? — Серов погладил ее, как маленькую, по голове, взял косу, распустил, зарылся лицом в волосы, ощутил их запах.

— Ну и что, что просилась. И пошла бы, ты сам не разрешил, — она поглядела на него широко раскрытыми глазами, с ресниц скатились слезинки.

— Успокойся, ты же молодец у меня. Ничего особенного не случилось, просто задержание было трудное.

Посидели, обнявшись, чувствуя тепло друг друга. Ольга встрепенулась:

— Разиня я. Сижу, а ты, наверное, голодный.

— Умыться бы. — Серов потянулся, повел плечами, лег на тахту, на нагретое Ольгой место, зажмурился, и перед глазами закачались разлапистые мохнатые ели, поплыли-потекли хлопья белого тумана. Они уплотнялись, клубились, облепляли деревья, затягивали все пространство непроницаемой мглой. «Пока не пал туман... Да, мы задержали нарушителя до тумана». И он провалился куда-то в бездну.

— Вода готова, Миша, тепленькая. Ой, ты задремал, а я тебя разбудила.

Серов вырвался из забытья. Перед ним, прислонившись к косяку, стояла Ольга, на столе ярко горела лампа. К нему не тянулись, не хлестали по лицу колючие ветки, не путала ноги жесткая болотная трава, не заволакивал землю туман. В комнате было тепло и светло, уютно, и рядом стояла жена.

— Сморилло вдруг, — сказал он, оправдываясь, поднялся, стаскивая гимнастерку, пошел на кухню. Нагнулся над широким тазом. — Лей на спину.

Осторожно, чтобы не замочить повязку, Ольга поливала ему. Михаил шлепал себя по груди, покряхтывал: «Хорошо!» Вода освежала, отгоняла сон.

Есть он отказался, выпил только стакан молока. Потом, неожиданно для Ольги, он снял с антресолей потертый чемодан, в котором, знала она, хранились его училищные конспекты, старые учебники. Чемодан был тяжелый, Ольга никогда не касалась его, да Михаил и сам редко заглядывал, потому что конспекты к занятиям всегда писал свежие. Порывшись в нем, Серов извлек сверток, а из него позеленевшую винтовочную гильзу, заткнутую пробочкой. Достал помятую, ветхую, почти потерявшую зеленый цвет фуражку с длинным изломанным козырьком.

— Помнишь, Оля, я рассказывал тебе о бое с фашистами возле нашего села? — Голос Михаила вздрагивал, чувствовалось, он волновался, и его настроение передалось ей. Михаил развернул большой лист серой бумаги. В глаза бросились крупные буквы: «Внимание!» — Я говорил тебе и о том, что мы с дедом Назаром нашли на поле боя тяжело раненного капитана-пограничника и из-под носа фашистов унесли его, спрятали у себя в хате...

— Отлично помню. Вылечили его. Не забыла, как звали его: Коновалов Сергей Иванович.

— Верно, Олечка. Дядя Сережа Коновалов.

— Он потом погиб. У меня после твоего рассказа до сих пор перед глазами стоит картина его жуткой казни.

— Да, такое не забудешь. И я был уверен, что он погиб. И вот сегодня узнал... Невероятно, но факт — капитан остался жив. Он полковник теперь. И начальник нашего пограничного отряда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— А что было потом, когда фашисты забрали деда? Ты об этом почему-то не рассказывал. — Ольга рассматривала старого фасона пограничную фуражку, гильзу и удивлялась, что Михаил до сего дня не показывал ей эти реликвии.

Что было потом? Не рассказывал Михаил потому, что уверовал в гибель капитана, бередить и травить душу не хотелось. Долго горевал Мишка. Сергей Иванович казался чем-то похожим на его отца, от него исходила отцовская теплота, которой Мишке теперь не хватало. Не рассказывал потому, что было тогда тягостное время фашистской оккупации, дни жестокой нужды. Надо было говорить о себе, о жизни мальчишки, у которого было отнято все, кроме самой жизни.

Нет, он ничего не забыл, он помнил все отчетливо, словно было это вчера. Мишке тогда показалось, что он вдруг очутился в пустоте. Сергей Иванович погиб, деда забрали фашисты, бабушка лежала больная.

На второй день после того, как взлетел на воздух мост, фашистские танки, бронетранспортеры и грузовики поперли откуда-то справа. Они катили через их несчастную деревеньку. Дребезжали стекла, пыль поднималась столбом. Ночью тревожные всполохи света ползли по степи, ударяли в окна. Глядя на машины, Мишка уразумел, почему не пожалел своей жизни капитан Коновалов: он вынудил фашистов толочься перед взорванным мостом, пока они нашли переправу в другом месте.

Однажды вечером к деревне приблизились танки. Мишка в это время копался в грядке, надеясь вырыть хотя бы полдюжину морковок — ужасно хотелось есть. Он заметил, что люк в башне передней машины был открыт и над ним возвышался танкист в черном комбинезоне. В зубах у него торчала трубка, в руке он дер-

жал шлем, размахивал им и что-то кричал, нагибаясь. На ветру развевались белокурые волосы. На въезде в улицу он напялил шлем, выхватил трубку и, тыча ею в разные стороны, громко захохотал, закидывая голову назад. Вот он скрылся в люке, и крышка захлопнулась. Танк взревел мотором, пустил из выхлопных труб дымные струи и захохотал по узкой улице. Взметнув гусеницами землю, танк крутанул вправо и вдруг протаранил низенькую, на два оконца, хату. Хотя в хате, Мишка это знал, давно уже никто не жил, у него похолодело в груди. Что же это такое делается?

Танк снова развернулся, пересек улицу наискосок, и вот уже плетень, поставленный им и дедом этим летом, захрустел под гусеницами.

— Бабушка! — закричал Мишка и не помня себя стремглав бросился к хате.

Добежать не успел, а успел бы, угодил под машину. Танк смял передний угол, стена рухнула внутрь, из-под обрушившейся крыши столбом взметнулась известковая пыль.

— Бабушка ведь там моя! — снова крикнул Мишка, но уже увидел, что там, где стояла бабушкина кровать, зиял пролом, громоздилась куча кирпича и деревянных обломков.

Остановившимися глазами Мишка, остолбенев, глядел и глядел, как танк разворачивался на одном месте, как его левая гусеница, словно живая, подминала под себя кирпичи, палки и упругой струей швыряла их перемолотыми на груды лома, придавившую бабушку. Ключнув носом в широкую канаву перед Мишкиной хатой, танк снова выполз на дорогу, рванулся через улицу на крайнюю избу, где жила женщина с тремя детьми, с которыми Мишка играл, если у него выдавалась свободная минутка.

— Не дам, не дам! — В бессильной ярости он ухватил камень и швырнул его в железную грудь танка. В тот же миг, больно стуча в уши, что-то зататакало, шевеля волосы, прошелестело над головой, и Мишка скатился в канаву.

Когда поднялся, танков уже не было. К нему бежала женщина, что жила в крайней избе.

— Живой, — обрадовалась она. — Мы подумали — убило тебя.

Она да еще несколько подошедших женщин помогли Мишке разобрать разрушенную стену, разгрести облом-

ки и мусор. Бабушку вынесли в огород и положили на траву. До утра просидел Мишка около нее, плакал и проклинал фашистов, себя, почему не настоял, чтобы она спустилась в погреб, как многие другие жители. Утром соседи помогли похоронить бабушку возле хаты, в огороде.

И остался Мишка совсем один. Что делать, куда прийтись? Дедушка все не возвращался. Только через неделю после того, как по мосту возобновилось движение и машины перестали катиться через деревню, а шли опять напрямую по дороге, поздно вечером дедушка Назар появился дома. Он пришел, тяжело опираясь на суковатую палку, с присвистом дышал. Долго сидел у могилы бабушки, сгорбившись и кашляя.

— Дедуля, родной, как я тебя ждал. Почему ты так долго не приходил? — Мишка жался к нему, гладил его жилистые скрюченные руки.

— Не позволяли, внучек. День-деньской заставляли камни таскать. Мост восстанавливали.

— Ты бы убежал, дедуня...

— Отбегался я давно. В твои-то годы, знамо, дал бы тягу, не глядя на строгую охрану. Ох, погоняли нас, внучек. Несешь камень да замешкаешься, как не вмогуту станет, тут тебе и палка вдоль спины гулять пошла. Надсмотрщик будто лишь тебя и караулил, когда ты с шагу собьешься. Еды почти совсем не давали. Брюхо к спине присохло. Да это не беда. Поясница отнялась, не сгибается. Вот что плохо...

— Ты полежи, дедуня, отдохни, а я еды расстарюсь. — Мишка помог деду улечься в шалаше, который он соорудил в огороде.

Потом пробрался на колхозное поле, которое теперь охраняли солдаты из хозяйственной команды. Ужом прополз по борозде, жидкая ботва едва скрывала даже его худенькое тело. Мишка не выдергивал кустов целиком, а подрывал их, обрывал два-три клубня, прятал в мешок. Килограмма четыре, наверное, набрал и с опаской убрался с поля, прополз мимо солдата-охранника. Пронесло и на этот раз.

Наварили картошки, досыта поели, и тогда дедушка как взрослому, как человеку, с которым можно говорить обо всем, рассказал Мишке, как фашисты того человека, в которого принародно стрелял фашистский офицер, вдобавок еще и повесили. Все дни, пока шли работы на мосту, его тело не снимали. В один из дней

испортилась погода, подул сильный ветер, и охранники попрятались в будку.

— Тогда и решил я: пан или пропал, все едино. Задумал последний поклон отдать нашему капитану, Сергею Ивановичу, стало быть, — рассказывал дедушка Назар, покашливая, прижимая скрюченную ладонь к высохшей груди. — До последней минуты, внучек, не верил я, сколь фашисты ни горланили, что они споймали пограничника, который мост подорвал. Мне казалось, не похож тот человек на капитана Коновалова. Только ветром с его головы фуражку сдернуло... Припрятал я ее, а теперь принес. На погляди, у тебя глаза молодые, зоркие.

Дед извлек фуражку из-под мусора и подал Мишке. А на что Мишке молодые и зоркие глаза, если они и без того сразу разглядели на подкладке химическую карандашную надпись: «С. Коновалов». Лучше уж совсем бы они не видели ничего, чем увидеть такое.

— Среди нас, кого на стройку моста согнали, такого парня, как наш Серега, не оказалось. Одни бабы да старики. А то бы мы им такой мост сотворили бы... — Дед беспомощно взмахнул рукой, хотя и говорил сердито, и Мишке стало ясно, что дедушке очень плохо.

Он и засыпал-то беспокойно, ворочаясь и постанывая. Мишка, убедившись, что дед заснул, убежал в степь, пробирался к мосту. Слова старика заронили в его душу будоражащую мысль: он должен мстить фашистам. Но что он мог сделать голыми руками, к тому же до моста было теперь не дотянуться — его стали охранять и днем и ночью.

И все же Мишка не отступался, ломал голову, искал, с какого боку подступиться к этим «фюрерам». Однажды ему ударило в голову: так у него же есть винтовка и к ней один патрон, который он постоянно таскал в кармане штанов. Гильза от этого высветилась и отливала желтизной. Весь вечер и полночи рылся в развалинах, раскидывал саманные кирпичи и обломки, добираясь до завалинки. Посбивал руки, пообламывал ногти, а ведь нашел все-таки. Найти-то нашел, да тут же и упал духом: ну что можно с этой винтовкой и одним патроном сделать? К тому же, может, он и в негодность пришел от давности. Откуда об этом Мишке знать?

Но все же уволок винтовку подальше от деревни, в глубокую балку, там и спрятал. Туда и ходил, вспоминая все, что ему показывал Сергей Иванович, ложился,

взводил курок и целился во что-нибудь. Прижмурит один глаз, возьмет на мушку комок глины, потом подведет к самому кончику мушки прорезь на прицельной планке и нажмет курок. Затвор щелкнет, а Мишке так и кажется — еще одного фашиста ухлопал. Так и тешил себя, порой до сотни догонял «убитых» врагов. Да много ли толку от такой забавы?

Иногда Мишка подбирался к дороге. Подползал и прятался в кустах, подолгу наблюдал за бегущими машинами. Тяжело нагруженные, они зло урчали моторами, сотрясали землю, подъезжая, слепили фарами. Мишке начинало казаться, что он под этим светом как на ладони, чувствовал себя перед тяжелыми машинами слабым и беззащитным, как перед танком на узкой деревенской улице. Он думал, вот-вот заскрипят тормоза и над ним нависнет, широко расставив ноги в сапогах с короткими голенищами, солдат. Длинный, белобрысый, он захохочет так же, как тот танкист, выстрелит ему в спину и равнодушно, даже не глянув на свою жертву, сядет в машину и покатит дальше. Временами ему чудилось, что сапоги уже наступили на него и безжалостно давят. Тогда он старался прижаться еще плотнее к вздрагивающей земле.

А чтобы было не так страшно, он стал брать с собою винтовку, когда бывал у дороги. И это придавало ему уверенности, что тронуть его теперь кому бы то ни было не так просто.

Как-то под вечер, когда уже близки были сумерки и неясные тени начали бродить вокруг Мишки, он увидел одинокую автомашину с длинным, затянутым брезентовым тентом кузовом. Стекло в кабине было опущено, шофер, небрежно державший руль одной рукой, выставился и, должно быть, напевал — губы его шевелились. Мишка совершенно неожиданно для себя прицелился в него, все сделал так, как много раз делал, щелкая курком в балке. Только теперь он загнал свой патрон в патронник... Еще успел подумать о том, что если патрон не выстрелит, то щелчка шофер все равно не услышит. А если выстрелит, то...

Что будет потом, он не представлял. В течение тех секунд, за которые машина приближалась к нему, он держал шофера на мушке, и, когда она поравнялась с ним, Мишка нажал на курок. Его сильно толкнуло прикладом в плечо, и он еще успел заметить, что ствол винтовки как бы подпрыгнул.

Машина после выстрела еще какое-то время катилась вперед, а потом резко вильнула в сторону, передние колеса сбежали в кювет. Машина накренилась, медленно и тяжело опрокинулась вверх колесами. Из-под капота выпорхнул черный клубок дыма, желтое пламя начало бесшумно облизывать мотор и кабину.

Мишка понимал, что ему надо поскорее убираться — могли подъехать другие машины. Но какая-то неведомая сила держала его на месте, глаза следили за тем, как пламя растекалось по машине, прыгало по черному комбинезону валявшегося возле раскрывшейся дверцы шофера. И Мишка вдруг содрогнулся — ведь все это происходило наяву. До него с запозданием доходило, что и сотворил-то все это он сам. Откуда взялась эта одинокая машина? Обычно фашисты ездили только колоннами, может быть, этот шофер отстал из-за поломки? Теперь это было совершенно несущественно, теперь этому шоферу никого уже не догнать, и груз не попадет туда, где его ждут.

С трудом оторвав ставшее непослушным тело от земли, Мишка побежал прочь от дороги, в степь. Бежал долго, и слезы текли у него по щекам. Он не видел, что у него под ногами, спотыкался, падал и снова бежал, размазывая слезы кулаками. Плакал от пережитого страха, от овладевшего им мстительного чувства, от радости, что наконец он сделал так, как замышлял.

— Так вам и надо! — всхлипывая, выкрикивал он. — Это за папу... это вам за бабушку... за дядю Сережу! Всем вам, гадам, так и надо...

Долго лежал на жесткой траве в незнакомой балке, успокаиваясь и снова переживая все, что перечувствовал за этот вечер. Не заметил, как на небе собрались тучи и пошел мелкий частый дождик. Рубашонка скоро промокла, стало зябко, он вспомнил, что дед один в шалаше, наверное, потерял его, и побежал домой.

Дед рылся в развалинах своей хаты, худые острые лопатки выпирали из-под ветхой рубахи, седые волосы прилипли к жилистой шее. Острая жалость шевельнулась у Мишки в душе.

— Пришел... — Дед обрадованно закивал седой головой, ничего не спросил и не стал упрекать за отлучку, только пояснил: — Одежонку кой-какую нашел. Уходить нам надо, внучек, осень надвигается, а жить негде...

— ...И ушли мы с дедом на хутор к тетке, сестре моей мамы, помогли ей перебиться с детишками в ту тяжелую зиму, да и сами себя поддержали. Житуха, в общем, была невеселая, — закончил свой рассказ Серов.

— Ну а потом... что было потом? — спросила Ольга.

— Ничего такого особенного в той моей жизни не случилось, — в задумчивости проговорил Михаил, глядя на выцветшую фуражку. — Наша армия расколошматила фашистов под Сталинградом. Я было увязался за одной наступающей частью, да командир не позволил, дескать, сражения предстоят нешуточные. Завернули меня к тетке и деду. Вскоре мама приехала, побывали мы с ней на дедовом подворье. Тяжелейшие бои там прошумели, деревушку как ураганом начисто смело. Перебрались мы с мамой за Волгу, дед остался на хуторе, пасеку принялся восстанавливать. Зимой я учился, летом помогал матери в колхозе. Подошел срок стать солдатом, уехал на границу, а оттуда в училище.

Посидели молча. В соседней комнате завожился, что-то крикнул во сне Костик, и Ольга прошла к нему.

— Приснилось что-то, улыбается во сне, ручонками разводит, — вернувшись, сказала Ольга, пытливо посмотрела на мужа и спросила: — Что-то Петькина я не заметила среди солдат... Он из наряда еще не возвратился?

Не ответив, Михаил заговорил, как бы продолжая рассказ:

— Знаешь, Оля, когда мы с мамой были на месте нашей деревни, мне пришла в голову мысль: что, если Сергей Иванович заходил да не нашел нас? Все говорило за то: нет его в живых, а подумал... И вот же оказалось, уцелел он. Да не просто уцелел, а крепко насолил фашистам. Вот они и искали его, инсценировку устроили. Думаю, рассчитывали, что тот из жителей, кто прятал капитана, не выдержит этой дикой сцены, выдаст себя. А уж они заставят его сказать, где пограничник. Да просчитались...

— Миша, а вдруг и Сергей Иванович тебя сегодня признал, а только виду не подал. Ты ведь сдержался...

— Ну что ты, мыслимое ли дело. Прошло столько лет. Да и фамилия моя ничего не могла вызвать в его памяти. Дед-то — Крапивин. Для всех в деревне мы так и значились — Крапивины. Теперь я уверен, Сер-

гей Иванович свое обещание выполнил, в нашей деревне побывал, но, кроме развалин, не увидел ничего. Мог он искать нас и после. Ищут и находят люди друг друга через газеты, радио. Но ведь дедушки-то вскоре после войны не стало.

— О Петькине ты что-то умолчал, — напомнила Ольга. — Костик, как проснется, побежит его искать.

— Придется парнишке как-то объяснить... Ранило рядового Петькина осколком в ногу. В санчасть отправили.

— Час от часу не легче, — плечи Ольги вздрогнули, напряглись под рукой Михаила. — Что же у вас там, бой был?

— Нет, Оленька, боя не было. Нарушитель стрелял... Ну, так ведь граница есть граница.

— Ой, а ведь день начинается. — Ольга торопливо встала, как бы желая перевести разговор на другое, и Серов почувствовал, что ей столь же нелегко вести его, как и ему. — Гимнастерку твою надо постирать. Ты все же ложись, отдохни.

Ольга пошла на кухню, стукнула тазиком, полилась вода. Какой теперь отдых, думалось Серову. Ему вспомнилось, что бабушка вот так же стирала гимнастерку Сергея Ивановича. Он погасил лампу — проглядели, как и ночь кончилась. Отворил окно, со двора пахнуло свежестью. Над лесом вставало солнце.

Что-то надо будет сказать Костику. Нет, не «что-то», а только правду. Он ведь родился и растет на границе. Серову казалось, что этой ночью он еще больше узнал своих людей, не только конкретно Петькина или Короткова, а через них и всех пограничников заставы. Да и они его узнали, своего командира, как не узнали бы, прослужив рядом еще годы. Способствовала этому сложная и опасная обстановка. Спаянные единой верой, все вместе они защитили границу, одолели врага. Подойдет срок, отслужат и Коротков, и Петькин, и другие пограничники. Может статься, переведут и его к новому месту службы. Разъедутся в разные края, займутся делами, кому какое по душе, и, может быть, в жизни они уже никогда больше не встретятся. Но он уверен в том, что ни он, ни они никогда не забудут эту заставу и эту ночь, связавшую их всех прочными духовными нитями навсегда. Не забудется, не изгладится из памяти то, как все вместе они выросли тут, отдавая друг другу частицу своего сердца, совсем не думая об этом... Каких бы

вершин ни достиг в последующей жизни каждый из них, он будет помнить то, что было сегодня.

Он услышал, как Ольга встряхнула гимнастерку и вышла во двор, как ходила под окнами, развешивая ее на проволоке.

— Доброе утро, хозяйка! — Серов услышал и узнал голос полковника. — Будем знакомы, я начальник отряда Коновалов.

Ольга назвала себя, полковник продолжал:

— Об этом я догадался и потому подошел, чтобы еще раз, теперь лично, поблагодарить вас за проявленную о пограничниках заботу. Видать, душа у вас настоящей пограничницы — правильно разобрались и нашли свое место в трудной обстановке. Ушел повар на границу, вы на заставе заменили его... — Ольга молчала, наверное, смутилась от похвалы, и полковник заговорил о другом: — Вот на вашем озере окуней наловил. Хорошо берут... И мало в эту ночь спать пришлось, а не утерпел, не пропустил зорьку.

Прислушиваясь к разговору за окном, Серов крутанул ручку телефона, вызвал заставу. Дежурный доложил, что на заставе и на границе происшествий не случилось. Все в порядке.

— Почему не позвонили, когда полковник поднялся? — тихо, чтобы голос не был слышен на улице, спросил он.

— Товарищ полковник не разрешил. Приказал не поднимать, даже если тревога. Тогда, сказал, последуют дополнительные распоряжения.

— Ладно. Где замполит?

— Лейтенант Гаврилов до утра дежурил и убыл на сборы. Сказал, выспится в машине, пока едет до отряда.

Серов усмехнулся, положил трубку. «Уж он выспится. Поди-ка, не может успокоиться, что в поиск его не пустил...»

— Прошу вас, заходите, — приглашала полковника Ольга.

— Спасибо, обязательно зайду. Зашел бы и без приглашения — это моя обязанность. Но сейчас надо переодеться, снять рыбацкие доспехи. Гляжу, вы раненько принялись за хозяйство, — у полковника, видимо, было отличное настроение. — Если позволите, посижу тут у вас на скамеечке. Очень уютный уголок. Сами, наверное, посадили кустарник и благоустроили?

— Каждую весну и осень что-нибудь подсаживаем.

Серову надо было бы выйти и встретить начальника отряда, но почему-то он продолжал сидеть и держать старую зеленую фуражку с длинным козырьком и выцветшей карандашной надписью на подкладке. Или хотя бы одеться по форме. Но не сделал и этого.

Он косил глазом и видел полковника и сидевшую напротив на табуретке Ольгу. При дневном свете впервые разглядел, что полковник против того капитана, конечно, изменился, но Серов узнал бы его, где бы и когда бы ни встретил. У полковника кряжистей стала фигура, по лицу пролегли новые морщины, поседели волосы. Он еще думал о том, нашел ли Сергей Иванович свою семью, и если нашел, то где сейчас его сын — ровесник Серова? Как тогда ему удалось взорвать мост и спастись, где после воевал? На гимнастерке его вчера он заметил несколько рядов орденских планок — значит, повоевал Сергей Иванович неплохо. А как сложилась вся его жизнь потом?

На крылечко выскочил Костик, в маечке и трусиках, босиком. Серов даже не заметил, как он проснулся и встал. Полковник взглянул на Костика, и что-то дрогнуло в его лице. Или, может, это Серову только показалось?

Увидев незнакомого, Костик юркнул обратно.

— Заходите все-таки, Сергей Иванович, — пригласила Ольга вновь. — Вот и сын наш поднялся. Да у меня и чай вскипел.

— Вы рыбку возьмите, — протянул он ведерко с окунами. — Уху сварите, с удовольствием побалуюсь ушей. Не буду больше мешать вам, пусть товарищ Серов отдыхает.

— Да он не спит. Мы сегодня еще... — наверное, Ольга хотела сказать, что они и не ложились этой ночью спать, да спохватилась — надо было бы объяснить причину, почему не ложились.

— Тогда другое дело. Если начальник заставы не спит, нарушает отданное мною распоряжение — обязательно отдыхать, — надо зайти, — полушутя-полусерьезно сказал полковник. — Показывайте, куда идти.

Михаил вскочил и замер у стола, прижав старую фуражку к груди.

Полковник переступил через порог, Серов шагнул ему навстречу. Майка-футболка, заострившиеся скулы, похудевшее за трудную ночь лицо, короткий беле-сый чубчик, зачесанный набок, в эту минуту делали его похожим на юношу. И только повязка с проступившим на ней темным пятном напоминала полковнику, что перед ним не юноша, а начальник пограничной заставы старший лейтенант Серов, с которым он встретился ночью в лесу, когда начинался поиск.

Полковник бросил быстрый взгляд на фуражку в руках Серова, на стол, где все еще лежали старая гильза и помятый пакет, на самого Михаила. И с лица его вдруг схлынула кровь, резко обозначились густые брови с характерным изломом и щеточка усов, как бы подернутых инеем...

ЕВГЕНИЙ ВОЕВОДИН

ПУД СОЛИ





День первый из 465

— Островом называется часть суши со всех сторон окруженная водой, — сказал я.

— Молодец, — усмехнулся Костя. — Садись. Пять с плюсом.

Никто не засмеялся. Все стояли и слушали, как вдалеке тарахтит мотор уходящего катера. Теперь он вернется через десять дней с продуктами и почтой. А может быть, и не вернется, потому что метеосводка обещает штормы. Но даже если катер и пробьется сквозь непогоду, к острову не подойти: природа наворотила здесь такие валуны, что даже при малой волне лодка проскакивает еле-еле. Я заметил про эти валуны: «Ничего себе, камешки для зажигалок!», и снова никто не улыбнулся.

Полтора года мы должны прослужить здесь, на этой самой части суши, со всех сторон окруженной водой. На заставе я видел карту: суши было мало, а воды много. Везет же другим! Живут себе на заставах с паровым отоплением, телевизорами, современными столовыми да просто с электричеством! А у нас керосиновые лампы-двухлинейки. Где только они нашлись!

«Ничего, — подумал я, — переживем как-нибудь. Теперь я обязан стойко переносить все трудности воинской службы. И эту лампу тоже. Но почему все-таки мне так здорово не везет? Почему именно я должен был оказаться именно здесь? Судьба, что ли, которая играет человеком?» Сначала я обрадовался. Еще бы, погранвойска, джужльбарсы, романтика, нарушители... Там, на учебном пункте, малость запахло романтикой — это когда нас учили различать следы. Как, например, определить скорость движения однокопытных животных? По интервалу между отпечатками передних ног. Шаг — сорок пять сантиметров. Бег — пятьдесят восемь. Га-

лоп — девяносто четыре. Отпечаток задней ноги впереди отпечатка передней. Если что не так — звони на заставу и вызывай «тревожных» с собачкой... И вся эта наука оказалась мне ни к чему. Дежурный крикнул: «Соколов, к подполковнику!» И я побежал к начальнику учебного пункта, пытаюсь вспомнить, что же такое натворил и за что меня вызывают. «Вы сварщик?» — спросил он. «Да». — «Значит, с электричеством в дружбе? А с дизель-генераторами знакомы?» Я не был знаком. «И с прожекторами тоже дела не имели? — спросил подполковник. — Ничего, научитесь».

И романтика побоку! Какое там — к лешему! Джульбарс... Вместо него — здоровенный прожектор с параболическим отражателем и дизель-генератор АДГ-12. Я стал «совой» — так прозвали прожектористов, потому что служба ночная.

А сержантов зовут «отцами». Наш «отец» — Василий Сырцов — вроде ничего парень. Вроде — потому, что мы еще плохо знаем друг друга. С Костькой Короткевичем я все-таки с самого начала был на учебном пункте, за это время можно узнать человека. А остальные — какие они? Я прикинул в уме: за день человек съедает граммов десять соли. Значит, пуд соли мы все съедем месяцев за девять. Долгонько, конечно. Но уж тогда-то точно можно сказать, что представляет собой «отец» или эстонец Эрих Кыргемаа, Леня Басов или Саша Головня.

Катер ушел.

А мы еще стояли и слушали. Но только волны со стеклянным звоном разбивались о камни.

Скоро мне на службу, я впервые включу этот прожектор и поведу синим лучом по воде... Вода, вода, вода, изо дня в день вода или ледяное поле, и ничего больше — полтора года вода или лед.

— Пошли, — сказал сержант.

В доме было тепло. Все-таки молодцы «деды» — те, кого мы сменили на прожекторной, не пожалели дров, натопили как следует. И сарай позади дома набит дровами.

В доме две комнаты. Здесь стоит незнакомый запах чужого жилья, и вещи тоже пока чужие: кастрюли, сковородки, бачок с водой, сейф, часы-ходики. В углу прислонен спиннинг, видимо, забытый кем-то из «дедов».

Я взял этот спиннинг и увидел привязанную к катушке картонную бирку. На ней было написано: «Ни хвоста тебе, ни чешуи!»

— К черту, — сказал я.

— Ты чего? — спросил Костька.

— Так.

Значит, спиннинг не забыли, а оставили. И все вымыто, вычищено, и белье на постелях свежее. Сами стирали, здесь прачек или стиральных машин нет...

— Ты чего? — снова спросил Костька.

— Интересно, как они тут жили? — сказал я.

— Ну, через неделю тебя это уже не будет интересовать, — усмехнулся Короткевич.

У него манера — все время усмехаться. Он сел на кровать возле окна, потрогал руками пружины и снова усмехнулся:

— Не очень-то разоспишься...

Мне хоть немного, да повезло. На моей койке раньше спал парень огромного роста. Пружины прогнулись, и я словно бы провалился в лунку. Мне будет удобно спать. Как в люльке.

— Товарищи робинзоны, — сказал я. — Бросим на морской — кому чаек организовать, а?

— Отставить, — хмуро сказал Сырцов. Он расставлял и раскладывал в тумбочке свои вещи, зачем-то отвинтил крышку на флаконе с одеколоном и, понюхав, завинтил снова, но в комнате уже пахло как в парикмахерской. Потом сержант захлопнул тумбочку и сказал:

— Выходи строиться.

Должно быть, он хотел свою власть показать. А ему столько же, сколько и мне, только он служит второй год и кончил школу сержантов. Подумаешь, начальство!

— Товарищ Соколов, вы что, команду не слышали? Повторить?

— Бегу, — сказал я. Просто мне никак не хотелось вставать с этой кровати. Значит, чаю не будет. Уже темнеет, сейчас боевой расчет. Как всегда, трое должны быть на прожекторе и возле дизеля. Один человек — на вышку. Там всегда один. Не поговоришь. На вышку идет Эрих Кыргемаа.

Басов — на кухню.

Головня от службы свободен, и я завидую ему острой и самой черной завистью. Мне бы сейчас завалиться в эту лунку на постели да рвануть минуток шесть-

сот: все тело ноет, будто меня долго и аккуратно били. Это оттого, что целый день мы перетаскивали с катера мешки, ящики, коробки — продукты, запчасти, гвозди, бидоны с горючим для дизеля, даже лопаты (зачем лопаты?) — и я здорово устал.

Ничего, переживем. Эриху на вышке будет хуже. Ветерок там будь здоров, и еще по дороге Эрих опускает «уши» своей зимней шапки.

— И́так, — говорю я Костьке, — начнем первый день из предстоящих нам четырехсот шестидесяти пяти.

— Лобачевский плюс Ковалевская минус Эйнштейн, — усмехается Костька, берясь за чехол, которым накрыт прожектор. — Вот станешь академиком, и будут о тебе писать: интересную юность прожил великий ученый.

— А что? — говорю я, берясь за чехол с другой стороны. — Не исключено. По теории вероятности.

— Скажи лучше — по теории невероятности. Снимай! Двери надо пошире открыть.

Прожектор стоит в гараже на тележке, а тележка — на рельсах. Выкатить эту махину на прожекторную площадку не так-то просто. Пришлось попынтеть, пока ока-янная не сдвинулась с места. Так будет каждый день. Зато к концу службы у нас нарастут мускулы, как у Василия Алексеева. Лучшей тренировки не надо.

— Слушай, а этот остров как-нибудь называется?

— Остров Пасхи, — отвечаю я. — Тот самый.

— Серьезно же спрашиваю.

— Мадагаскар.

Я не заметил, как подошел Сырцов.

— Остров называется Кузнечный, — сказал он. — А вы долго возитесь.

— Готово, отец.

— Рядовой Соколов, я вам не отец, а сержант. Ясно?

— Ясно, батя. Только не топочи на меня.

— Еще раз — и получите наряд вне очереди.

Мне вовсе не нужен наряд вне очереди. На кой он мне, да еще вне очереди? Мне становится скучно. Вот с таким-то сержантом служить до лета! «Ничего, — говорю я себе. — Перевоспитаем. Это он на первых порах выбивает из нас гражданскую пыль. Молодой начальник всегда, как новый пиджак: сначала топорщится, потом пообомнется».

Наша техника работает как часы. «Деды», которых

мы сменили, здорово ухаживали за ней. Только «машинное», где находится дизель, начинает что-то подозрительно дрожать. Сырцов врубает ток, и из черного нутра прожектора сразу вырывается синее облако. Луча я не вижу. Надо отойти в сторону или опуститься ниже, чтобы увидеть его. Синее облако рвется вперед, в темное пространство, и теряется там. Луч ведет Костька. Он «кладет» его на воду, и теперь вода высвечена на несколько километров. В синее море врывается похожий на корабль островок с мачтами-соснами. А потом снова вода с синими гребешками над волнами.

От козуха тянет жаром. Луч меркнет медленно, словно нехотя забираясь обратно в прожектор.

— Товарищ сержант, разрешите доложить, техника работает нормально, нарушения границы не обнаружено.

Я, конечно, говорю это так, шутки ради, а Сырцов воспринимает всерьез. Потом он уходит к дизелю. Я слышу, как по мелким камням хрустят его шаги: хруп, хруп, хруп...

— Дает прикурить, а? — усмехается Костька.

— Все пройдет, как с белых яблонь дым. Я на своем веку всякого начальства повидал.

— Ишь ты! А вообще, брат, с таким хлебнешь... Дорвался до власти.

Конечно, Костька прав. У нас на заводе не очень-то любили тех, кто корчил из себя начальство. Но здесь не завод, и мне вовсе ни к чему наряды вне очереди.

Леня Басов приготовил наутро целый обед, и это просто здорово — съесть тарелку щей и жареной картошки, а потом чай, и наконец — в люльку. Костька засыпает мгновенно. А я еще долго устраиваюсь в люльке, и вдруг оказывается, что мне не уснуть. Никак не уснуть, хоть начинай, как в детстве, считать белых слонов: один белый слон... два белых слона... три белых слона.

Здесь, в спальне, темно, окна завешены, и лишь через щелочки пробивается серый дневной свет. Я не привык спать днем. Пусть здесь темно, но я-то знаю, что сейчас день, и что-то во мне бунтует против сна. Даже усталости словно бы нет, надо же так! А мне казалось, только коснусь головой подушки, и тогда с кровати меня бульдозером не стащишь.

Да, на улице день, вернее, рассвет. Мать и Колянич уже ушли на работу. Обычно мы уходили вместе и на улице расставались. У нас было правило: сначала подойти с мамой к метро, попрощаться с ней, а потом уже — на автобус. При этом Колянич неизменно говорил: «Вперед, рабочий класс!»

Рабочим классом я стал два года назад, после страшной домашней забастовки, которую не смогли подавить мать и Колянич. Я заявил, что хватит мне ходить в школу, надоела она мне хуже горькой редьки, и я больше не намерен протирать штаны на школьной парте. Все!

К этому были две причины.

С детства я слышал разговоры о заводе, о заводских делах, привык к ним. Друзья Колянича — такие же рабочие, как и он сам, — нравились мне очень. Потом я узнавал: один стал сменным инженером; другой — заместителем начальника цеха по подготовке производства; третий ушел на партийную работу; самого Колянича назначили мастером. Работал он на «Большеви́ке» с шестнадцати лет. Почему же он мог пойти на завод в шестнадцать, а я, пай-мальчик, должен бегать в полную среднюю?

Вторая причина была, конечно, лишь поводом уйти из школы. Меня отвергла первая школьная красавица Лия Арутюнян, и я не мог этого вынести. Объяснение было на Лийкиной лестнице. Она стояла, поглядывая на меня с нетерпеливой тоской. Я сказал Лии, что люблю ее давно, еще с прошлого года. Она пожала плечами и ничего не ответила. «Надо поцеловать ее, что ли?» — подумал я. Но, к счастью, наверху хлопнула дверь, и кто-то начал спускаться по лестнице. Я ждал, когда старик с бидончиком доберется до первого этажа. Вот тогда поцелую. «Почему ты молчишь?» — спросил я. «А разве надо отвечать?» — сказала Лия. «Надо». — «Господи, — вздохнула она, — всегда надо отвечать...»

И я понял, что не первый говорю ей о любви, и не первый торчу здесь, на ее лестнице, и не мне первому пришла в голову мысль поцеловать Лийку. Только, может быть, другие оказывались смелее и удачливее меня. Стоило мне решиться, как снова хлопнула дверь, на этот раз внизу... «Я пойду́, — сказала Лия, чуть поднимая мохнатые ресницы. — По алгебре много задали». Я не стал ее удерживать. Я сел на подоконник и просидел, наверное, час.

Наверное, час, потому что в десятых классах было на урок больше, чем у нас, девятиклассников. И через час на лестнице появился Ковалев — абсолютный чемпион района по шашкам среди юношей; длинный и белесый, как мороженный судак. Он поглядел на меня прозрачными глазами и спросил: «Ты курица?» — «Это почему же?» — «Лийку высиживаешь». — И, пройдя мимо, нажал кнопку Лийкиного звонка.

Потом, уже в школе, десятиклассники, проходя мимо меня, вежливо осведомлялись, что именно я высидел из того самого подоконника? Чемпион, оказывается, был еще и трепло. Мне не хотелось больше объясняться с Лийкой. Но я решил — хватит! Пойду на завод и буду учиться в вечерней школе, как все порядочные люди.

Когда я сказал об этом своим, мать начала ходить из угла в угол, охватив плечи руками так, будто в квартире трещал мороз. Впрочем, это не мешало ей говорить о том, что я хочу остаться неучем, и что у меня нет никакого самолюбия, и что я выбираю путь наименьшего сопротивления, потому что она точно знает — в вечерних школах требования не такие, как в обычных. Мама у меня всегда все знает совершенно точно!

— погоди, — перебивал я ее. — А как же Колянич? Тоже неуч, да? Он когда пошел на завод?

— Было другое время, другие обстоятельства, — возражала мать. — Ему нужно было помогать семье. А ты сыт, одет, в тепле.

— ...Отдельная квартира, телевизор, — подхватил я, — холодильник, пылесос, абонемент в филармонию.

— Как ты разговариваешь со мной?!

— Я не разговариваю, а перечисляю. Ты просто не хочешь понять, что я не ребенок и морально не школьник.

Во! Мне здорово понравилось это «морально не школьник». Сразил наповал. Мать даже остановилась и начала разглядывать меня так, будто видела впервые, и теперь пыталась догадаться, кто же этот парень?

Колянич хмурился. Потом выставил маму за дверь и спросил:

— Ну а по совести?

— Что по совести?

— Какая тебя муха укусила?

— Укусила одна, — признался я.

— У нее есть определенное имя?

— Конечно.

— Наплевать, — сказал Колянич. — Тебя еще сто раз такие будут кусать. Что ж, каждый раз бегать, что ли?

С Коляничем мне всегда было легко. Мы договорились, что я пойду на «Большевик» в его цех. Учеником сварщика. И обязательно учиться! Без всяких фокусов. Чтоб десятилетку кончить, как положено.

Когда мать снова вошла в комнату, мы с Коляничем играли в шахматы. Из пяти партий я должен выиграть одну — тогда мне положен рубль. Так сказать, материальный стимул.

Колянич — мой отчим, мамин второй муж, и очень правильный человек. Когда я был маленький, то не мог выговорить его имя-отчество — Николай Николаевич, — и у меня получалось «Колянич». С тех пор он так и остался Коляничем.

Итак, мы подвели мать к метро, помахали ей, и Колянич сказал: «Вперед, рабочий класс».

Помню, как я опешил, впервые попав в цех. Где-то высоко-высоко, под стеклянной крышей, летали голуби. Солнечные лучи падали в цех широкими снопами. Все здесь было огромно и все гремюще. Гремела какая-то страшная машина, зажав между валками толстенный лист металла, и этот лист сворачивался у меня на глазах, как бумажный. Другая машина рубила металлические листы — она-то и гремела больше всех. Колянич нагнулся ко мне и крикнул, потому что нормально разговаривать здесь было невозможно:

— Эта вот — листосгибочная, только недавно поставили, а которая рубит — это гильотина.

Потом я увидел: стоял в цехе столбик, на нем — медная чаша, и из этой чаши бил фонтанчик. Колянич нагнулся и тронул губами воду, будто сломал хрустальный столбик. Тогда я тоже нагнулся, и вода показалась мне необыкновенной, совсем не такой, какая шла дома из крана. Я только попробовал ее, и вдруг мне стало совсем легко и спокойно, будто я бывал здесь уже сто или тысячу раз.

Когда через несколько месяцев я сдал на третий разряд, в цех пришел корреспондент «Смены» и замучил меня вопросами: «А почему ты пошел на завод? А трудно работать и учиться? А кем ты хочешь стать в будущем? А что тебе понравилось здесь больше всего?» Я сказал: «Фонтанчик. Больше всего мне понравился

фонтанчик». Я думал, что корреспондент поглядит на меня как на тронутого, — надо же, фонтанчик ему больше всего понравился! — но корреспондент пришел в восторг, потащил меня к этому фонтанчику и заставил раз десять нагибаться и пить. Я нагибался и пил, а он фотографировал меня. «Потерпи, нужны дубли». У меня в животе было холодно и булькало, а он все снимал свои дубли.

Потом в «Смене» была моя фотография. Я в берете, лихо сдвинутом на ухо, в спецовке, нагибаюсь над струйкой воды... И тут же заметка — «Живой родник». Ровно шестьдесят восемь строчек о том, как растет молодое поколение на заводе «Большевик».

Вечером Колянич позвал меня к телефону. «Очень приятное сопрано», — сказал он. Я взял трубку, и трубка запела Лийкиным голосом: «Володя? Тебя можно поздравить? Может быть, встретимся?» Я долго слушал и молчал. «Почему ты молчишь?» — спросила Лия. «Господи, — сказал я. — Всегда нужно отвечать...» Бац! Лия положила трубку. Колянич сидел на диване и читал газету. Я пошел к двери, и Колянич что-то пробормотал. Я не понял: «Что?» — «Кажется, муха улетела», — повторил он.

Конечно, улетела! Дурак я был набитый! Да и не очень-то я был влюблен в Лийку. Вот Зоя Рыжова — совсем другое дело.

Нет, я не мог уснуть, только напрасно ворочался в своей люльке. Спал Костька, посапывал Эрих, за дверью тихонько брэнчала посуда — это Басов моет после нас тарелки и ложки. Я встал. Надо пройтись, может, тогда усну.

— Ты чего не спишь? — строго спросил меня Сырцов, когда я вышел из спальни.

— Нервы разыгрались, — сказал я. — А ты чего делаешь?

— Документацию веду, не видишь.

Перед ним лежала «Пограничная книга», и я заглянул в нее через Васькино плечо с сержантскими лычками. «Нарушения границы не обнаружено... Больных нет...»

— Слушай, — сказал я, — а записано здесь где-нибудь «Нарушение обнаружено»? Давай полистаем, а?

Я думал, Сырцов скажет свое «отставить», но вдруг

он начал листать толстую книгу, бормоча: «Не обнаружено... не обнаружено... не... не... не...»

— Понятно, — сказал я. — Кто же здесь пойдет? Рыба за пять километров плеснет, и то видно.

— Странно рассуждаете, — заметил Сырцов, переходя на «вы». — Может, вообще тогда ликвидировать прожекторную? Может, я подам рапорт — так и так, по мнению рядового Владимира Соколова, считать пост ненужным?

— А ты, оказывается, шутник! — сказал я. — Только вот ведь они, факты. За два года сплошные «не». Ладно. Пойду прогуляюсь, а то голова какая-то тяжелая.

Я вышел, и сразу же в лицо ударил резкий октябрьский ветер. Он гнул облетевшие березы, и голые ветви шуршали, соприкасаясь. Я повернулся к ветру спиной, и он подхватил меня. С камня на камень почти бегом я спустился к воде. На берегу лежали длинные зеленые пряди водорослей. Волны сюда не прорывались. Небольшой накат выбрасывал эти водоросли и пенопластовые поплавки от сорванных сетей. Я шел по берегу, стараясь не наступать на скользкие водоросли, и думал о том, что Зойку Рыжову с Лийкой, конечно, не сравнить...

Ранней весной наш дом одели в леса, и мама говорила, что теперь ни в коем случае нельзя открывать окна. А мне было забавно, что мимо наших окон проходят люди.

Я подхватил ангину и сидел дома с перевязанной шеей. Люди ходили за окнами и о чем-то разговаривали. Вдруг прямо передо мной, по ту сторону окна, оказалась девчонка в перемазанном ватнике и платке. Она приставила к глазам руки, как бинокль, и почти прижалась к стеклу, чтобы увидеть, есть кто-нибудь в комнате или нет. Увидела меня и замахала рукой, закрутила пальцем, но я ничего не понимал, тогда она постучала по форточке.

— Чего тебе? — спросил я, открыв форточку.

— У тебя телефон есть?

Тогда я влез на подоконник, дернул верхнюю задвижку, потом нижнюю, повернул ручку... Затрещала бумага, которой было оклеено окно, зашуршала, выпадая, вата.

— Тебе звонить, что ли? Влезай. У нас бесплатно.

Она спрыгнула в комнату и увидела мою забинтованную шею.

— Хвораешь?

— Вот еще! — фыркнул я. — На соревнованиях погорел. До самого финала дошел, и не повезло.

Она понимающе кивнула: самбо?

— Фехтование, — махнул я рукой. — Выпад рапирой, ну вот и...

Тут я поморщился. Надо было соглашаться на самбо. Она ведь сама подсказала мне лучший вариант для вранья. Должен же остаться от рапиры хоть какой-нибудь след.

— Ладно, давай звони, — сказал я.

Но девчонка не спешила. Она оглядела комнату и кивнула на большой портрет Хемингуэя.

— Это твой дедушка?

Я покровительственно похлопал ее по плечу:

— Иди, иди, звони, пигалица. А это знаменитый американский писатель, стыдно не знать.

— Подумаешь, — пожала она плечами, — как будто бы ты все знаешь! А кто такой Мшанский, знаешь?

Я не знал, кто такой Мшанский, но, поскольку девчонки обычно влюблены в киноартистов, ответил с полной уверенностью:

— Артист.

Теперь уже усмехнулась она и, набирая номер, ответила:

— Точно! Еще какой артист!

— Мне Мшанского, — сказала она в трубку. — Это вы, товарищ Мшанский? Это я, Рыжова. Что же получается, товарищ Мшанский?

Он что-то говорил ей, а пигалица Рыжова слушала и морщилась:

— Да знаю я все эти песни наперед! Я не грублю, я дело говорю. Механика еще вчера обещали прислать, а у нас и сегодня подъемник стоит. Раствор прислали — кисель какой-то...

Она бросила трубку, и я поглядел, не сломалась ли та.

— Извини, пожалуйста, — сказала Рыжова. — Действительно, артист. Ничего, я из него душу выну.

И пошла к окошку. Я остановил ее. Пигалица глядела на меня снизу вверх, а я стоял перед ней со своей забинтованной шеей и не хотел, чтобы она уходила.

— Что у вас там случилось? — спросил я. — Может, помогу?

— Ты?

— Ну, я.

— Подъемный механизм заело.

— Это мигом.

Я надел куртку, схватил молоток, клещи, отвертку и полез за Рыжовой через окно, чинить подъемный механизм. Вот спасибо тебе, подъемный механизм, что ты вовремя испортился! И молодчина ты, дорогой товарищ Мшанский, что не прислал механика.

Повреждение было — раз плюнуть: соскочила малая шестерня — разболталась ось, на которую она была посажена. Работы — на десять минут. Но я нарочно провозился добрый час. Зато узнал, что Рыжову зовут Зоя и что она бригадир комплексной молодежной бригады. Вот тебе и пигалица!

— Ну как? — спрашивала она, подходя через каждые три минуты.

— Сделаем! — отвечал я, постукивая по шестерне. Когда наконец все было готово и ящик с раствором пополз наверх, Зоя спросила:

— Ты как? На общественных началах или выдать на маленькую?

Она стояла, склонив голову, и глаза у нее были черт знает какие ехидные. Нет, они были очень красивые — серые, в мелких лучиках. Я видел в них самого себя, в беретике и с этой дурацкой повязкой на шее. Повязка была особенно хорошо видна.

— На общественных, — сказал я. — А ты чего сегодня вечером делаешь?

— Ого! — удивилась она. — Да ты, оказывается, шустрый парень. Сегодня я иду в театр.

— А завтра?

Зоя пожала плечами и сказала, что заглянет завтра в окошко.

Она полезла по ступенькам и уже с третьего этажа крикнула:

— Соколов! Слышишь, Соколов? В следующий раз бюллетень подальше убирай. Понял?

Я стоял, красный, как помидор. Бюллетень лежал рядом с телефоном, и там было ясно написано: фолликулярная ангина. Конечно, можно было крикнуть, что я вовсе не Соколов и что это не мой бюллетень.

Назавтра Зоя постучала в мое окошко и крикнула:
— Как себя чувствуешь, д'Артаньян?

Я открыл окно и сказал:

— Заходи.

Зоя засмеялась и щелкнула меня по носу — вот так, запросто, взяла и щелкнула, как котенка.

— Лежи и выздоравливай, — сказала она. — Чао!

Какое там выздоравливай! Я ждал Зою внизу, ждал в комнате, когда она заглянет и крикнет: «Как себя чувствуешь, д'Артаньян?» Она смеялась и убегала от меня. Но все-таки я ее дождался. Сказал, что скоро ухажу в армию. Попросил разрешения писать. Она пожала плечами — пожалуйста, и дала свой адрес: общежитие строителей, комната 12... Чао!

Нет, это было еще не все.

Мать, конечно, обнаружила открытое окно и начала набирать обороты. Колянич поглядывал на меня, все понимая, но побаиваясь, что солидарность со мной может ему дорого обойтись. Когда я выздоровел и мы шагали к автобусу, он не выдержал и спросил: «Кажется, на этот раз муха влетела в окно, а?» — «Ты догадливый, — кивнул я. — Шерлок Холмс, а не мастер участка. Только, надеюсь, ты не станешь обсуждать это с мамой? Должны же у мужчин быть свои секреты?»

Конечно, я не выдержал и в первый же выходной пошел в общежитие, выклянчив у Колянича его замшевую куртку. Куртка была мне великовата, но зато я знал, что ни у кого больше такой нет. Еще у меня был с собой транзистор. Я носил его в заднем кармане брюк, как один парень из какого-то фильма. Идешь — и сзади то музыка, то футбольный матч, то литературная передача.

Перед входом в общежитие стояли и курили ребята. Должно быть, наплясались и вышли остыть на ветерке, потому что все они были без пальто, а танцующих я увидел через окна первого этажа. «Это что за кадр?» — услышал я за спиной. «Не знаю...»

Я вошел в вестибюль, и вахтерша даже не поглядела на меня. Музыка доносилась из глубины коридора, и я пошел на нее.

Здесь, в маленьком зале, было тесно и душно. Я стоял у стены, искал глазами Зою и увидел наконец. Она отплясывала с каким-то парнем, и он мне сразу же не

понравился — у него были усики и бачки, похожие на две сосиски, прикрепленные к щекам. Пижон. Я глядел не на Зойку, а на этого парня с «сосисками» на щеках и думал о том, что находят девчонки в таких волосатиках?

Зоя увидела меня.

Когда танец кончился, она подошла (волосатик следом) и протянула руку:

— Д'Артаньян? Попрощаться пришел?

— Нет еще, — ответил я. — Просто так.

— По пути? — сказала Зойка.

И я согласился:

— Да, шел вот и заглянул по пути. А здесь, оказывается, танцы, так что не буду мешать.

Я хотел повернуться и уйти, но Зойка удержала меня за рукав Коляничевой куртки.

Мы вышли на улицу. Зойка держала меня под руку. Те парни все еще стояли и курили, и я снова услышал за спиной: «А, еще один Зойкин воспитанник!» Зойка тоже слышала и обернулась.

— Вот что, мальчики, — сказала она. — Вернусь — поговорим.

Я подумал: «Ну и ну! А я-то уж приготовился драться».

Парни сразу заткнулись и только глядели нам вслед.

— Они тебя боятся? — спросил я.

— Меня все боятся, — ответила Зойка.

— Я не боюсь.

— Это временно, — успокоила она меня. — Потом тоже будешь. Погуляем немного?

Мы шли по Московскому проспекту, спешить нам было некуда. Зойка держала меня под руку, и мне больше ничего не требовалось. Я даже забыл включить свой транзистор. Временами мы поглядывали друг на друга. С чего это я буду ее бояться?

— Знаешь, — сказал я, — пойдём ко мне? Есть клубничное варенье.

— И мама, и папа, и бабушка... — подхватила Зойка.

— Бабушки нет, — вздохнул я. — Она погибла на войне, в партизанском отряде.

— Помни про свой бюллетень, — сказала она. Но на этот раз я не врал: моя бабушка действительно погибла в партизанском отряде. Тогда ей было меньше

лет, чем сейчас маме. У нас хранится газета со статьей «Подвиг разведчицы», и бабушкин орден Отечественной войны, и ее последняя фотография, где она с автоматом и в папаше.

— Нет, — вздохнула Зойка. — Не пойду. Понимаешь, я знаю, что это жутко нехорошо — завидовать. И ничего не могу с собой поделать. Всегда завидую, когда вижу кого-нибудь с матерью и с отцом. Я ведь детдомовская... Ты этого не поймешь. Ты считаешь, что в жизни иначе не может быть: мать, отец, свой дом — все на месте. А у меня никогда не было своего дома, и...

Она не договорила и отвернулась. А я не знал, что ей сказать. Просто я не переживал ничего подобного.

Конечно, можно было бы зайти куда-нибудь в кафе, и деньги у меня были, — Зоя воспротивилась. Ей нравится ходить. Ходить, смотреть на прохожих, разговаривать.

— С кем ходить? — спросил я. — С этим волосатиком?

Она рассмеялась. Нет, с ним она не ходит. Это он ходит за ней. Надоел, ужас! Два раза предложение делал. А разве можно выйти замуж без любви? Нет уж, если она и выйдет, то лишь тогда, когда почувствует: вот без этого человека жить нельзя.

— Тебе сколько лет? — спросил я.

Зое было девятнадцать — на год больше, чем мне. И я мог не врать, что мне двадцать или двадцать один; она ведь видела мой бюллетень, а там все сказано. Я был для нее просто мальчишкой. Я знаю, что в восемнадцатилетних ребят почти никто не влюбляется. Наверно, надо быть хотя бы чемпионом по шашкам, чтобы в тебя влюбилась ровесница. И даже роскошная замшевая куртка Колянича с «молниями» на карманах не сможет помочь.

Я и не заметил, как Зойка учинила мне форменный допрос. Ее интересовало все: и как я учился, и какие у меня отношения с Коляничем, и что я думаю о будущем. Впрочем, я отвечал охотно. Учился прилично; Колянич — мировой мужик; будущее — служба. И вдруг: «А ты любишь свою работу?» И вовсе не потому, что я не знал, как ответить (мне хотелось ответить как-нибудь особенно красиво, чтобы она поняла, что я не просто скучный работяга, который отдает заводу свою смену, а там хоть трава не расти), я ответил не сразу. Я шел, подбирая слова, а они как на грех не появлялись, и

в этот момент я казался сам себе дурак-дураком. Потом я подумал, как обо мне думает сейчас Зоя, и от этого стал еще глупее, и мог выговорить только: «Еще бы!» Очень «глубокий» ответ получился у меня, черт возьми! Но Зоя была серьезна.

— Знаешь, — сказала она, — если при мне какой-нибудь человек начинает ругать свою работу, он для меня потерянный. Он также и собственную жену может ругать, или мужа, и ребят... Словом, работу нельзя ругать. Это все равно что хлеб выбросить. Ты так считаешь?

Я просто не задумывался над этим. И, конечно же, не раз слышал от ребят в цехе, что работа не по ним, — эти ребята приходили и уходили, и никто не вспоминал их потом, даже фамилии тут же улетучивались из памяти. А ведь наверняка Зойка права, и эти «птички-перелетки» действительно не очень симпатичные люди: ищут, чтоб работа полегче, а тугриков побольше. Но почему же я сам не задумался над этим, хотя всего на год моложе Зойки?

И вдруг маленькая девушка, которая держала меня под руку, показалась такой взрослой и такой умной, что я только и смог пробормотать в ответ: «Не знаю».

— Ты вообще, наверное, мало задумываешься? — сказала Зойка. — А разве можно жить и не думать? Зачем человек живет? Для кого живет?

— Ну, — усмехнулся я, — это как темы для школьного сочинения. Тебе бы учительницей быть.

Зоя выдернула руку, словно обидевшись.

— Я и так почти учительница. Бригадир все-таки.

И пошла, пошла выговаривать мне за то, что я мало думаю. Я не оправдывался и не перебивал ее. Мне самому было интересно. Второй раз мне говорили примерно то же самое. Похожий разговор был однажды с Коляничем. Не то чтобы он сердился на меня, вовсе нет! Просто ни с того ни с сего спросил: «Вовка, хочешь быть хорошим человеком?» — «А я разве плохой?» — «Ты еще никакой». Я малость обиделся. Даже в газетах пишут, что маленький ребенок — уже личность, требующая к себе уважения. А я дорос до усов, и «никакой»? Колянич почувствовал, что я надулся, и обнял меня: «Хороший человек, Вовка, это тот, который живет не для себя, а для других. Усек?» Вот и весь разговор. А теперь Зойка повторила почти то же самое: «Для кого жить?»

Нет, я не думал над этим.

— Тебе бы с моим Коляничем поговорить, — сказал я. — У вас даже слова одинаковые.

Вдруг Зойка тихо засмеялась.

— Ну, тогда я за тебя спокойна, — сказала она. — Я думала, тебя некому учить уму-разуму. Я поехала домой. Не провожай меня. Счастливо служить.

Зойка повернулась и побежала к автобусу. Я слышал, как полы плаща хлопают по ее коленкам. Догнал ее. Все это было так странно и так непонятно мне — зачем она пошла со мной, почему так быстро убегает, или ей просто неинтересно?

— Зоя, — сказал я, — а завтра...

Она не дала мне договорить.

— Слушай, Володька, не выдумывай ты ничего, пожалуйста. Будешь объясняться в любви — я посмеюсь, и все. Ну какая может быть любовь?

— Самая настоящая, — уныло ответил я.

Подошел автобус, и Зойка уехала.

Вот и все, что было. Я вспоминал тот вечер, прыгал с камня на камень, подгоняемый ветром, и вдруг каменная гряда оборвалась. Море уходило куда-то далеко-далеко, и с неожиданной остротой я впервые понял, почувствовал, что мы здесь именно затем, чтобы жить для других. Я, рядовой Владимир Соколов, стоящий сейчас на самом что ни на есть крайнем кусочке нашей страны, на этом камне; впереди — море, чужие государства и чужие люди, а за спиной все мое — и Ленинград, и мама, и Колянич, и завод, и Зойка, и мое детство, и мое будущее — все там!

Десять дней спустя

Катер все-таки пришел.

Он болтался на волнах, подальше от камней, и мы с Эрихом еле-еле добрались до него. Эрих сидел на веслах, а я пытался ухватиться за борт катера, но набегала волна, и руки срывались. Ладони у меня были ободраны до крови. Ребята на катере изловчились, бросили конец, и лодка начала болтаться рядом с катером.

Глядеть по сторонам было некогда. Я принимал канистры с дизельным топливом, ящики с продуктами, какой-то мешок — должно быть, валенки...

— Отвезете — и возвращайтесь, — крикнули с катера. Только тогда я увидел двух офицеров. Одного я уз-

нал сразу — комендант нашего участка. Другой был незнакомый.

Мы проскочили между камней, хотя ничего не стоило врезаться в каменную глыбу. Но Эрих все-таки лихо умел управляться с лодкой. Когда камни остались позади, я крикнул ему:

— Видел?

И Эрих кивнул.

— Начальство зря не ездит!

Действительно, зачем приехал сам комендант участка, если мы виделись с ним одиннадцать дней назад?

Тогда перед отправкой на пост нас всех пригласили в канцелярию заставы, и там мы увидели коменданта, подполковника Лободу. Построились. Сырцов доложил. И вдруг подполковник сказал:

— Садитесь. Будем знакомиться. Начнем с вас? — и поглядел на меня. Просто я сидел ближе всех. Так получилось.

Я встал (школьная привычка, но и в армии тоже полагается вставать), назвал себя и добавил:

— Рабочий, сварщик с «Большевика».

— Знаменитый завод, — кивнул подполковник. — Хорошо работали?

— Обыкновенно, — ответил я.

— На таком заводе и обыкновенно?

— Ну, норму давал. Иногда больше выходило.

— Прожекторист?

— Так точно.

— Ну что ж, — улыбнулся подполковник, — хорошо, что есть рабочий класс. А хотите, товарищ Соколов, поспорим?

Я растерялся. Комендант предлагал мне спор! Его черные глаза так и поблескивали. Ну пацан и пацан. Только седых волос много.

— Давайте спорить, что, когда вернетесь на завод, захочется вам работать необыкновенно. Не так, как раньше. А?

Я, конечно, не мог с ним спорить. Наверное, так оно и будет, чего ж тут спорить-то?

— С вами ясно, — сказал подполковник. — Вы?

Теперь встал Костька.

— Был школьником.

— И не попал в институт, — в тон ему добавил подполковник. — Куда поступали?

— В университет, на юридический.

- На чем же срезались?
- На сочинении. Восемь ошибок.
- Многовато. Вы?

Поднялся Эрих. Сказал — рыбак. Подполковник оживился. Сам, должно быть, любил рыбалку.

- Откуда родом?
- Вихтерпалу. Колхоз имени Дзержинского.
- И давно рыбачите?
- С детства.
- Ну а что ловите?
- Килька. Камбала. Летом угорь.

А я и не знал, что Эрих рыбак! Он похож на артиста, даже в военной форме. Как будто надели на артиста форму и он играет солдата. А он, оказывается, рыбак!

- Кто у вас родители, товарищ Кыргемаа?
- Отец рыбак. Дед рыбак. Все рыбаки.
- Хорошо. Теперь вы.

Встал Басов и, мучительно краснея, так, что даже слезы выступили на глазах, сказал, что он дояр. Я невольно улыбнулся: первый раз услышал о такой профессии, а подполковник снова оживился:

- Вот как? А где же работали?

Басов ответил:

- Под Лугой, в совхозе.
- Какие у вас были надои?
- Четыре тысячи. Четыре двести.
- Ого!
- Думал, больше смогу.
- Потом сможете. После службы.

Я не выдержал:

- Чего говорить об этом?
- А вы, значит, о будущем не думаете?
- Да так... — промямлил я.

Вдруг вскочил Костька:

— Незачем думать, товарищ подполковник. Мы должны охранять государственную границу и меньше думать о гражданке. Я так полагаю.

В комнате стало тихо. Костька, не отрываясь, смотрел на подполковника. Тот отвел глаза:

— Конечно, должны охранять. И хорошо охранять, товарищ Короткевич. Но разве при этом нельзя думать о будущем? Здесь вы пробудете полтора года, а впереди — вся жизнь.

Мне стало жалко Костьку: попал парень впросак из-за меня. Надо выручать. Я поднял руку — разрешите?

Подполковник кивнул. У него все время было веселое лицо: видимо, ему нравилось, что мы так разговорились.

Я сказал, что Костька, то есть рядовой Короткевич, в чем-то здорово прав и мысли о гражданке только будут отвлекать в сторону. Теперь главное — служба и две ее заповеди. Подполковник удивленно поднял густые брови. Должно быть, не понял, какие заповеди?

— Ну, наши, солдатские, — начал выкручиваться я, сообразив, что брякнул не то, но было уже поздно.

Подполковник снова спросил:

— Какие же заповеди?

Хочешь не хочешь, пришлось ответить:

— Так ведь знаете, как у нас говорят: «Все полезно, что в рот полезло» — это первая, а вторая: «От сна еще никто не умирал».

Подполковник перестал улыбаться, а у Лени Басова глаза сделались страдальческими, и глядел он на меня так, как будто видел человека, зашедшего ненароком в клетку к тигру.

— Н-да, — сказал подполковник, — странный у вас, прямо скажем, юмор.

А мне легче было провалиться на месте. Вот брякнул, так брякнул! У меня всегда так: сначала скажу, потом подумаю. Так хорошо начался этот разговор, а теперь подполковник даже забыл поговорить с Головной и встал. Мы тоже вскочили. «Служить вам будет нелегко... Дорожите дружбой... Помните, что вы на границе...» — эти слова проходили мимо меня, потому что я стоял и знал, что продолжаю краснеть, как помидор. А ведь только что смеялся про себя, когда краснел Басов.

— Можете идти. Сержант Сырцов, оставайтесь, пожалуйста.

О чем они говорили там, я не слышал, но голову могу дать на отсечение — обо мне. Дескать, особенно приглядывайте за этим Соколовым. Разболтанный парень. Вероятно, я был прав в своих предположениях, потому что Сырцов с того дня начал придирааться только ко мне одному.

Сейчас за комендантом и вторым офицером пошел один Эрих. Больно уж хлипкой была наша лодка — четверых ей трудно поднять. А я потащил канистры на склад — вовсе ни к чему торчать на глазах у начальства после той истории. Конечно, комендант не забыл мой юмор за эти одиннадцать дней. Но зачем они все-таки приехали?

Их было даже не двое, а трое: третьим оказался сержант-радист с «Соколом», и через раскрытые двери склада я видел, как он сразу же вытянул антенну, поставил рацию на камень и начал что-то говорить в телефон. Эрих вытаскивал на берег лодку. А катер повернул и, переваливаясь с боку на бок, как утка, начал медленно уходить. Значит, гости останутся здесь надолго?

Я подождал, пока офицеры, а потом и сержант уйдут в дом, и окликнул Эриха:

— Слушай, чего они сюда приехали?

Эрих пожал плечами. Он не любил много говорить. Как-то я спросил у него, верно ли, что в эстонском языке четырнадцать падежей, и он сказал — пятнадцать.

— Тогда я знаю, почему ты такой неразговорчивый, — сказал я. — Боишься запутаться в падежах.

Конечно, откуда ему знать, зачем прибыло начальство? Но я-то железно уверен, что это неспроста. Добро бы у них лодочки с собой были, тогда все ясно и понятно. А у них радист, хотя у нас свой есть — Головня — и своя рация.

А теперь ясно и понятно, что в первую очередь они пожалуют на прожектор. Я был спокоен, там у нас порядочек — не подкопаешься. Все эти дни Сырцов ходил за нами, как надзиратель, и душу выматывал — хорошо ли мы ухаживаем за техникой? А когда третьего дня я начал разбирать дизель-генератор, он стоял надомной и спрашивал, как на экзамене, почему дизель-генератор положено ставить на техосмотр через каждые пятьдесят часов работы? Зачем промывать фильтры, регулировать клапаны, осматривать проводку? Нет, у нас с техникой все в ажуре, пусть проверяют.

Гости разместились в бане. Подполковник сказал, что незачем нарушать нашу привычную жизнь, а потом взял наш спиннинг и пошел вместе с майором ловить рыбу.

— Ты знаешь, зачем они приехали? — спросил я Сырцова.

— Не успели доложить, — буркнул Сырцов.

— Темнишь, отец!

— Хватит, — оборвал он меня. — Наряд вне очереди за «отца».

— Ты чего расшумелся?

— Повторите, что я сказал?

— Ну, наряд вне очереди, — повторил я. — Спасибо большое.

У Сырцова по скулам заходили желваки. Ладно, лучше не спорить и не заводить его, потому что по логике за одним нарядом вне очереди вполне может последовать второй. Я сделал налево кругом и пошел на прожекторную. Посижу там в одиночестве. Спать мне еще рано: мы с Костькой ложимся в шестнадцать и встаем в девятнадцать — три законных часа перед службой. Костька был там и старательно вытирал кожух прожектора тряпками.

— Ты чего? — удивился я. — Сырцов приказал?

— По своей инициативе, академик, — усмехнулся Костька. — Соображать надо. Начальство видел? То-то же!

«Что ж, все правильно, — подумал я. — Давай три, а я пошел спать». Я шел и думал, что все-таки Костька здесь, конечно, самый интересный парень. Леня Басов — мальчишечка, Костя зовет его телком. Сержант — железный человек. Эрих — молчун, а я люблю поговорить! Головню я пока знаю плохо. А вот Костьке, пожалуй, я даже завидую самую малость. Завидую, что он какой-то уверенный, — а мне как раз не хватает этой уверенности, — и тому, что он сначала подумает, а потом скажет. Совсем не так, как это бывает у меня...

Подполковник и майор поймали трех здоровенных щук, и, когда я проснулся, в спальню доносился запах жареной рыбы. Эту неделю кухарил Кыргемаа, и рыба была поджарена здорово. Я не очень-то люблю рыбу, потому что все время натыкаюсь на кости, а эта была словно бы совсем без костей. Рыбак все-таки! Что-то буду готовить я, когда придет мой черед?

Пора было в наряд, на прожектор. Костька страдальчески дожевывал рыбу, ему хотелось еще, да не было времени. Сырцов нетерпеливо подгонял нас, и вот мы стоим, я — старший — докладываю, а Сырцов глядит на часы и сыплет скороговоркой: «На охрану государственной границы... налево кругом...»

— Они, — говорит Костька, когда мы выходили из дому. Я и без него вижу, что это они: комендант и знакомый майор стоят и курят возле гаража. Мы подходим строевым и снова докладываем, но комендант машет рукой — приступайте к несению службы, и мы с Костькой выкатываем прожектор.

Дизель-генератор запускает Костька, а я слежу, ко-

гда на щите питания прожектора дрогнут стрелки: напряжение есть. Комендант и незнакомый майор стоят сзади, за моей спиной. Мне весело, как бывало на уроке в школе, когда все выучено и больше всего на свете хочется, чтобы учитель вызвал к доске именно тебя. Пятёрка в таком случае обеспечена — и ждешь, и мысленно поторапливаешь, словно гипнотизируешь учителя: ну вызови меня, пожалуйста! Зря я учил, что ли?

— Исходные? — спрашивает меня подполковник.

— Азимут 245, угол места ноль, — отвечаю я. — Поиск вправо.

Помогло! Вызвал! Пятёрка! Луч рвется из кожуха, и на воде под ним возникает другой — его отражение.

Я веду луч, а офицеры за моей спиной молчат. Потом отходят в сторону и закуривают. Я вижу только два огонька, то разгорающихся, то тускнеющих в темноте, словно глаза какого-то существа, подошедшего посмотреть, что здесь делается.

Проходит час, второй, третий — они не уходят. У них бинокли, и они смотрят, смотрят туда, по лучу. Потом подполковник исчезает в темноте, и я слышу, как он лезет на вышку, где стоит МБТ — морская биноккулярная труба.

И больше всего на свете мне хочется спросить майора, зачем они здесь, но нельзя, не положено спрашивать — у меня и так наряд вне очереди, а кто знает, что за человек этот майор, еще припаяет за любопытство штуки три сразу. Ладно, мое дело маленькое.

— Петр Николаевич, идемте, — доносится из темноты.

— Все? — спрашивает майор.

— Все.

Вот теперь можно и закурить. Наконец-то можно закурить! Я не курил все эти часы, потому что в наряде курить не положено. Но если зайти в гараж и задымить втихую, со стороны никто ничего не увидит. Мы с Костькой жадно затягиваемся, и во рту сразу пересыхает — так бывает всегда, когда долго не куришь.

— Слыхал? Он сказал — все. А что все?

— Все — значит все.

Костька говорит это неожиданно раздраженным тоном, и я не понимаю почему, но думать над этим некогда. Пора снова включать прожектор.

В октябре светает поздно. Сначала сквозь серую пелену проступают верхушки деревьев, потом свет как бы

опускается ниже и ниже, и из темноты появляются прибрежные камни, похожие на тяжелых морских зверей, выползающих на сушу. Мы закатываем прожектор обратно в гараж и долго вытираем его досуха. Он мокрый, хотя дождя не было. И куртки у нас тоже мокрые, и сапоги мокрые, будто мы побывали в воде и не успели просохнуть.

А сейчас домой — и спать; усталость чувствуется здорово — все-таки я еще не привык к этой совиной жизни. Трудно не спать десять ночей подряд. Потом-то, конечно, привыкну, зато, наверно, так же трудно будет отвыкать.

Мы входим в дом на цыпочках, чтобы не греметь. Но намокшие, разбухшие сапоги все равно гремят. Я открываю дверь. За столом сидят комендант, майор и Сырцов и молча смотрят на нас. В тусклом свете лампы их лица, как в кино — черно-белые.

— Товарищ подполковник, докладывает старший наряда рядовой Соколов (это я произношу сдавленным голосом: там, за другой дверью, спят ребята). За время несения службы нарушения границы не обнаружено.

Он кивает. А я-то думал, спят себе офицеры. Чего им не спится?

Свои автоматы мы разрядили еще на улице, и Сырцов прячет рожки с патронами в железный ящик. Можно снять куртки. В доме тепло, и чайник посвистывает. Только как-то неловко садиться за стол, когда тут же подполковник и майор. Но комендант подвигается на скамейке, освобождая нам место.

— Отогревайтесь. Устали?

— Не очень, товарищ подполковник.

— Ну если не очень...

Он не договаривает, и только тогда я вижу лицо Сырцова. Оно и так сердито, а сейчас совсем как у дикого человека. Может, это свет виноват? Нет, Сырцов глядит то на меня, то на Костьку, выставив свой квадратный подбородок. Когда я вижу подбородок нашего сержанта, мне всегда кажется, что кто-то выдвинул его, как ящик из комода, и забыл задвинуть на место.

— Ничего, товарищ подполковник, — успеют выспаться, — яростно говорит Сырцов, и «ящик комода» выдвигается еще больше. Тогда я начинаю что-то соображать. Соображаю, что на столе лежит не клеенка, а карта. И что сейчас нам будет не до чая и не до теплой постели.

— Значит, нарушения границы не обнаружено? — спрашивает подполковник. Я только киваю. Во рту у меня словно пустыня Сахара. Но я уже знаю, что нарушение было, было, и мы прохлопали его — об этом вовсе не трудно догадаться.

Комендант подвинул лампу и кивнул на карту.

— Найдите вашу прожекторную. — Я нашел сразу. — А теперь скажите, где у вас неконтролируемое пространство?

— За этим островком, — выпаливает Костька. Действительно, прямо перед нашей прожекторной — островок, тот самый, похожий на корабль с мачтами-елками.

— А еще?

Костька глядит на меня, как школяр, мучительно дожидаящийся подсказки. А я быстренько прикидываю в уме: полный поворот прожектора — сто восемьдесят градусов. Но справа от нас — длинный мыс, потом каменистая гряда, примерно с четверть прямого угла. Стало быть, неконтролируемое пространство — еще двадцать с лишним градусов справа.

— Правильно. Так вот, этой ночью проведено условное нарушение границы. Лодка подошла со стороны моря к тому острову и прикрылась за ним от прожектора. Потом проскочила за мыс, добралась до материка и только там была обнаружена пограничниками. Понимаете? Лодка прошла мимо вас со стороны моря.

— Этой ночью? — недоверчиво спросил я.

— Да. Шесть часов назад.

— Как же так? Ведь мы делали все, как учили...

У меня даже сердце зашлось. А ну если б это было не учебное, не условное нарушение, а настоящее? Впрочем, и от этого, от учебного, тоже будет несладко.

— В том-то и дело, что «как учили». Учили-то вас правильно, а вот применили вы свои знания неправильно.

Я не сдавался. Когда мы принимали прожекторную, нам было передано и расписание, утвержденное начальством. Значит, и те, кого мы сменили, тоже несли службу неправильно? Подполковник согласно кивнул: да, неправильно. Тут уж я совсем перестал что-либо понимать. Значит, все время какой-то участок границы оставался неприкрытым?

— Не совсем так, — сказал комендант. — Нарушение все-таки было обнаружено там, на материке. А теперь смотрите.

Он вынул из планшета узенькую голубую полосу бумаги, похожую на луч. Приколол этот луч острым концом к той точке карты, где был наш прожектор. Повел его медленно по карте, не отрывая глаз от часов.

— Нарушитель в лодке, скрывшейся за островком, имеет в запасе ровно восемнадцать минут, чтобы сделать бросок за мыс Кузнечного острова — из одной неконтролируемой зоны в другую. Теперь вам ясно? Вот эта линия (он взял красный карандаш и провел им резкую черту) и называется наиболее вероятным направлением движения нарушителя.

— Значит, — неуверенно сказал Сырцов, — надо начинать вести луч справа налево, а потом еще раз возвращаться и просматривать эту зону?

— Нет, — сказал я. Подполковник подвинул мне карту.

— Что же вы предлагаете?

— За сколько времени лодка пересекает это пространство?

— Минут четырнадцать.

— Значит, надо вести луч, как обычно, а потом неожиданно возвращаться. Словом, делать так, чтоб этот район просматривался как можно чаще.

— Правильно, — сказал подполковник и, как мне показалось, с удивлением. — Умеее мыслить! И учтите, я вас ни в чем не виню. Это не ваше упущение и не ваша ошибка, но в будущем...

Я понял, что в будущем нас ожидают не очень-то веселые деньки. Конечно, подполковник проведет не один и не два учебных прорыва. И за малейшую оплошку с нас взыщут — будь здоров! Нет, не зря я думал, что начальство, да еще со своим радистом, пожаловало не случайно. И Сырцов наверняка знал — зачем. Знал и помалкивал, а ведь мог бы шепнуть, черт возьми! Ну намекнуть хотя бы.

Костька, который все время испуганно молчал, вдруг оживился, услышав, что это не наше упущение и не наша ошибка.

— Теперь-то у нас будет железно, товарищ подполковник, — сказал он. — Щепку мимо не пропустим.

И опять я увидел, что подполковник поморщился от Костькиных слов — так, еле заметно, но я заметил все-таки, а Костька не заметил и встал такой торжественный, такой сияющий, что хоть сейчас снимай с него портрет на обложку «Огонька».

Уж эти еноты...

Ничего не скажешь — задал мне Сырцов работенку: собирать мох. Надо было натаскать мешков десять, не меньше, и проконопатить им все щели между бревнами, утеплить дом. Можно подумать, что я знаю, как это делается. Ну, положим, собрать и принести мох — дело нехитрое, а потом как? Выручил меня Леня Басов.

— Ты нож возьми, — посоветовал он. — Приложишь мох — и заделывай в щель ножом. Проще простого. Я помогу.

— Ни-ни, — сказал я. — У меня наряд вне очереди.

— За что? — удивился Леня.

— Сержанта отцом назвал. Разобиделся папочка!

— А зачем ты так? — очень тихо спросил Леня. — Сержант — он сержант и есть. Или уж по имени хотя бы...

— Ступай с миром, телок, — сказал я. Леня покраснел и никуда не ушел. Он стоял, глядя себе под ноги — небольшого роста, худенький, пунцовый, будто перед объяснением в любви, и я фыркнул — до того он был смешной.

— Зря ты, Володька, — так же тихо сказал он. — Нам здесь ссориться никак нельзя. Полтора года вместе прожить — шутка ли! А ты и Костя — оба какие-то...

Я опешил. Вот тебе и на, критика в натуральном виде. И кто, главное, выступает? Тихий Леня Басов! Хорошо, что Костьки нет поблизости, он бы ответил... Мне же было просто интересно, чего там недоговорил Басов, и я спросил:

— Какие же мы оба?

— Как аристократы. Все в сторону да в сторону. И разговариваете вы как-то... обидно. Костька меня телком назвал, а ты повторяешь.

Мне стало жалко Леню. Видно было, ему стоило труда высказать свою, такую маленькую обиду. А я вовсе не хотел его обижать. Мне просто трудно с ним, как трудно взрослому с ребенком, а он и впрямь похож на ребенка, которого по нелепой случайности призвали на военную службу, да еще в погранвойска. Он все делает охотно, с крестьянской неторопливостью, особенно то, что напоминает ему о доме; колет дрова,

топит печь, подметает, а теперь вот — готов конопатить вместе со мной щели. И обида у него тоже ребячья. Была бы у меня в кармане конфета, достал бы и дал ему. Но конфеты нет. Остается одно: хлопнуть Леню по плечу и сказать:

— Ладно, брат, не дуйся на меня. Бывают же у людей паршивые характеры? Исправимся.

Он улыбнулся, ушел в дом и вернулся с двумя кухонными ножами.

— Так-то быстрее, — сказал он. — А то мне личное время девать некуда.

Нам действительно некуда деть свое личное время. На полке, сколоченной ушедшими «дедами», стоит всего два десятка книг: уставы и направления, а из художественной литературы — пятый том сочинений Горького, сборник стихов Прокофьева, и еще — «Загадки египетских пирамид». Сырцов говорит, что нам должны привезти библиотечку, но пока мы уже все книги прочитали. Стихи я не люблю, зато Леня не расстается со сборником Прокофьева. «Загадку пирамид» уже неделю мусолит Головня, на очереди Эрих и Костька, потом я.

Правда, есть еще газеты — за десять дней. Но газеты были прочитаны сразу же. Эрих даже нашел в «Комсомолке» знакомого — там была целая статья об одном знаменитом эстонском рыбаке.

...Десяти мешков не хватило, и мне снова пришлось идти в лес. Собственно, лес начинался сразу же за баней, но до седых мхов нужно шагать минут десять. Я шел, сшибая ногами трухлявые, раскисшие сыроежки — последние грибы этой затянувшейся осени, и не сразу уловил какое-то движение. Что-то метнулось в сторону, и я увидел убегающего зверька, небольшого, толстого, неповоротливого, и побежал за ним. Зверек юркнул в кусты и исчез; напрасно я обшарил все кругом — его не было. Смылся. Но в воздухе стоял острый запах псины, такой непонятный здесь, на острове, где не было ни одной собаки.

Пришлось плестись дальше за мхом. Вернувшись, я рассказал Лене о зверьке, и он улыбнулся.

— Это енот. Знаешь, сколько их развелось? Ты что, никогда не видел енотов?

— Они, между прочим, в Летнем саду не водятся.

Енот так енот; через минуту я и думать забыл о нем. У меня еще оставалось время на письма. Только доложу Сырцову, что работа выполнена. Не то опять придется. А письма надо писать сегодня, потому что катер теперь ходит каждый день. Кончились ветры, вода стала гладкой, вот нам и забрасывают все, что можно забросить до зимы, до прочного льда. В основном — дизельное топливо, потому что наш АДГ-12 жрет два с половиной литра в час.

За столом корпел над письмом Сашка Головня.

Я думал, он украинец, фамилия у него все-таки украинская, но он новгородский, и говорит по-новгородски — «об этим...», «так уж получилось...». Я спросил его:

— Кому пишешь? Девчонке?

Он покачал головой:

— Нет, одному капитану милиции.

— Дружку, что ли?

И опять он покачал головой, будто отмахиваясь от меня, как от мухи:

— Не дружку, а другу — чувствуешь разницу? Самому близкому человеку.

— Ну да, — сказал я, — так уж и самому! А мать с отцом?

Он не ответил, и я понял, что причинил Сашке боль, значит, было в его жизни что-то такое, чего я, разумеется, не знал. Опять это мое дурацкое бездумье! Как будто если у меня есть мать и Колянич, то у всех кругом должно быть то же самое.

— Извини, — сказал я. Второй раз за сегодняшний день мне приходилось просить прощения.

— Ничего, — ответил Сашка.

— Они что у тебя... умерли?

— Нет, отец жив. Так уж получилось... И не хочу говорить об этом.

Он снова начал писать, и я отвел глаза, потому что случайно прочитал одну строчку: «...за все, за все Вам всегда буду...» Врет он! Так друзьям не пишут. На «вы», да еще с большой буквы.

Я быстренько написал матери и Коляничу: здоров, погода так себе, новостей никаких, пришлите теплые перчатки. Зойке нужно было писать совсем иначе. Я начал с природы и пошел, и пошел наворачивать, какие штормы гремят здесь и какие суровые места — камни да сосны, — и всадил даже запомнившуюся из какой-то

газетной заметки фразочку: «Кажется, здесь не может существовать жизнь, но человек оказывается сильнее стихии». Это у меня очень здорово получилось. А что дальше?

Я поднял глаза и заметил, что Сашка смотрит на меня.

— А ты девушке пишешь — точно.

— Ну, предположим.

— Трудная работа! Смотри, ручку сгрызешь. Хорошая у тебя девушка?

— Ничего. Красивая.

— Я не о том... Я спрашиваю, хорошая?

Мне показалось, что Сашка спросил это с какой-то тоской и желанием услышать — да, очень хорошая. Конечно, Зойка хорошая девчонка, я был уверен в этом. Только зачем ему знать, хорошая она или нет?

— А тебе-то чего?

— Так... Ты ее любишь?

Вот чудило. Раз девчонка имеется, стало быть, люблю. Сашка сидел, стиснув пальцы рук, будто ему было холодно. И опять мне показалось, что этот здоровенный, широкоплечий парень с круглым лицом прошел через что-то такое, чего я еще не понимаю — иначе откуда эта тоска и в глазах, и в словах?

Наверно, если б это было простым любопытством, то я наврал бы Сашке с три короба, расписал ему про мои отношения с Зойкой. Но это было не любопытство и не просто разговор от нечего делать. До меня начало что-то доходить. Смутно, но все-таки доходить, потому что такая уж у меня голова замедленного действия.

— Не знаю, — сказал я. — Ну, виделись мы с ней всего четыре раза. Вот, про природу пишу... А тебе что, писать некому? Ну, в смысле девчонке?

Сашка ответил не сразу. Он словно раздумывал — продолжить ему этот разговор или нет. Или ему было просто тяжело продолжать.

— Некому, — сказал он наконец и словно бы оборвал сам себя. — Ладно, не буду тебе мешать.

Он встал, забрал свое письмо и вышел. Значит, не хотел поговорить со мной по душам. Жаль. Конечно, это его личное дело, но все равно жаль. Кажется, ничего парень.

А что писать Зойке дальше?

«...Ты спрашиваешь, как мне послужит, с кем мне дружится? Служба нелегкая, а без дружбы нельзя.

Пропадешь без этого. Есть у нас такой Костя Короткевич, с ним дружу больше. К остальным еще приглядываюсь. Вот только что был разговор с Сашей Головной. Ему, оказывается, и переписываться не с кем. У него была в жизни какая-то история, не знаю пока какая, но он немного странный. Даже расспрашивал про тебя, какая ты, хорошая или плохая. Конечно, я расхвалил тебя, как мог...»

Поспать перед нарядом не удалось. Пришел катер, и все мы, кроме часового на вышке, до вечера занимались разгрузкой. Эрих и я по-прежнему на лодке, остальные работали на берегу. Ящики с первыми посылками ждали нас на камне — с надписями химическим карандашом или чернилами на верхних фанерках... Пожалуй, я даже не успею раскрыть свою. Чего мне там наворотили? Просил же — ничего лишнего. А мать наверняка всадила туда банку с вареньем.

Посылки были всем, кроме Сашки, и мне стало как-то не по себе. Когда мы вернулись в дом с этими посылками, Сашка сказал, что он пойдет подменить на вышке Лёню Басова.

— Через сорок минут, — остановил его Сырцов. — Давайте-ка по яблочку.

Он сшиб фанерную крышку со своей посылки, и в комнате сразу же запахло яблоками. Словно там, в ящике, был целый сад и добрый хозяин впустил нас туда.

— Антоновка, — объяснил Сырцов. — У нас пять яблонь, батя посадил. Я писал — еще пришлют.

Мы взяли по яблоку. Мне досталось с ушибленным боком, и это было здорово: именно там, под тонкой кожурой, накопился сок, который так и брызнул, едва я дотронулся до яблока зубами. Мы стояли возле стола, вгрызались в яблоки, и Сырцов довольно улыбался, глядя на нас.

Я спохватился первым — и крышка с моей посылки полетела вслед за сырцовской. Так и есть: брусничное варенье (ах, мама моя, мама!), копченая колбаса, три банки шпрот, сигареты (это уже Колянич покупал) и конфеты.

— На полку, — сказал я. — Освоим, я думаю.

— Освоим, — согласился Сырцов, дожевывая яблоко. — Берите по второму.

Я думал, в посылке Эриха будет рыба. Какая-нибудь соленая лососина или маринованные угри. Черта

с два! Ему прислали теплую тельняшку, свитер и толстые шерстяные носки. Костька усмехнулся:

— У нас с Эрихом одинаковые вкусы, могу угостить вас тем же. Спасибо, сержант, нам нора.

Действительно, нам было пора. Второе яблоко я сунул в карман куртки. Ночь-то будет длинная.

Та ночь была на самом деле очень длинной. Я представлял себе, как мать и Колянич собирали посылку и наверняка ссорились при этом. «Как ты кладешь банку?» (Это мать.) «А ты напиши сверху: варенье. Не кантовать!» — «Господи, никогда ничего не может сделать по-человечески!» Мне было немного грустно. Посылка оказалась не только посылкой, а какой-то частицей моего дома, который я увижу не скоро.

Пришлось оборвать самого себя. Резко перевожу луч вправо — вода, вода, — я прощупываю эту воду лучом, то удлиняя, то укорачивая его, пока не натыкаюсь на мыс. Теперь можно гасить прожектор.

— Володька, я на минутку, — говорит Костька.

— Куда?

— Ну, надо.

— Валяй.

Ночь глубокая, черная и очень холодная. Первый морозец, хотя снега еще нет. Все небо в крупных ярких звездах. Костькины шаги в тишине кажутся оглушительными.

— У тебя что-нибудь стряслось?

— Ничего, — доносится из темноты. Потом Костька подходит и садится рядом.

— Какие мысли в голове?

— Никаких.

— Удивительная откровенность! У тебя это часто — отсутствие мыслей?

Я не отвечаю. Мне не хочется разговаривать. Тем более что Костька говорит с ехидцей, и я часто теряюсь от его ехидных шуточек. Но Костька не унимается.

— Жаль. Впрочем, французы говорят, что если у человека нет мыслей, то это уж навсегда.

Я снова не отвечаю, только принохиваюсь. Пахнет чесноком, чуть-чуть, и это совсем непонятно — откуда здесь взяться запаху чеснока? Только от Костьки. У нас есть чеснок. Должно быть, Костька отломил дольку. И этот запах — тоже до боли домашний; так всегда пахло дома, когда мать готовила баранину. Мне надо

закурить, чтобы дым забил этот запах. Вдруг Костька начинает тихо смеяться.

— Ясно, лирическое настроение, усугубленное посылкой из дома. Угадал?

— Угадал. Шерлок Холмс плюс майор Пронин.

— Ого! Ты начинаешь хохмить в моем стиле? Приятно иметь учеников. Хотя бы одного. У всех остальных, кроме тебя, юмора нет даже в эмбриональной стадии. Мы, брат, попали в удивительную компанию.

Дым «Солнышка» никак не забивает чесночного запаха, и я вынужден отвернуться от Костьки. Не потому, что мне неприятен этот запах. Просто хочется маминой баранинки. Я даже как-то не сразу соображаю, о чем говорит Костька.

— Брось. Хорошие ребята. А нас с тобой уже аристократами прозвали, — сказал я.

— Да ну! Кто же это?

— Ленька Басов.

— Ну, эта доярочка! Можно пренебречь. Сырцов, по-твоему, тоже хороший парень?

— Кажется. Щедрый. Видал сегодня...

Я вспоминаю о яблоке в кармане куртки и достаю его. Яблоко крепкое, мне не сразу удастся разломить его пополам. Одну половинку я отдаю Костьке.

— Давай за здоровье сержанта. Заодно, может, от тебя не так будет чесноком разить.

Я не вижу Костьку — здесь темно, — однако мне кажется, что он смущен. Я нашариваю его руку и отдаю половину яблока. Мы сидим, хрустим антоновкой, и теперь пахнет только осенним садом.

— Кстати, и Эрих, по-моему, отличный мужик, работага, и Сашка, так что ты лучше не трогай их. Я этого как-то... не люблю.

Костька жует яблоко и не отвечает. Видимо, думает, что ошибся во мне. Пусть думает. Пора включать прожектор...

А утром я иду осматривать дизель. У нас так заведено: сдать технику следующему наряду в полном порядке. Здесь, в «машинном», полутемно, утренний свет с трудом пробивается в маленькие оконца. Приходится зажечь лампу. Я перемазан в масле, ключ так и норовит выскользнуть из рук, когда подтягиваю гайки. Надо бы вытереть их посуше. Вся ветошь и старые тряпки — позади дома, в картонных коробках из-под консервов. Приходится выходить из тепла на мороз — бегом

к ящикам, — и вдруг я вижу, что они разбросаны, хотя еще вчера здесь был полный порядок. Я же отлично помню, что эти картонки были сложены вдоль стены и тряпки лежали в верхних. А сейчас кажется, будто кто-то нарочно разбрасывал их в разные стороны.

Тряпки я нашел, вытер руки и начал складывать картонки так, как они лежали вчера. Одна из них оказалась тяжелее остальных, и я заглянул в нее: там был другой, деревянный ящик. Я вытянул его — пустой ящик и отдельно от него, фанерка с надписью химическим карандашом: в/ч такая-то, К. Короткевичу.

Ну хорошо. Если он решил выкинуть ящик из-под своей посылки, проще было пустить его в печку, на растопку. А он зачем-то спрятал его здесь. Да еще картонки раскидал. Я огляделся. Неподалеку валялась целлофановая бумага, я подошел и поднял ее. Ничего особенного. А дальше, у кустов, лежала еще бумага со следами жира, и совсем маленький цветной лоскут, вроде квитанции. Желтенький с красным. «Универсам Фрунзенского района. Вес — 1 кг 200 г. Цена — 3 р. 84 к.».

Я понюхал эту бумажку. Если моя догадка верна, она должна пахнуть чесноком. Но она пахла псиной. Я не мог ошибиться. Самой натуральной псиной, как там, в кустах, когда я гонялся за енотом.

И я стоял с этой бумажкой в руке, представляя себе, как жрали еноты Костькину колбасу, а может быть, не только колбасу, но и сыр, и масло, и еще что-нибудь из фрунзенского универсама. Жрали, конечно, впервые в жизни и даже чмокали от удовольствия. Меня разбирал смех, когда я представил себе это, а потом Костькину физиономию, когда он найдет этот ящик. Привет, колбаска!

Потом я отшвырнул бумагу, и мне сразу расхотелось смеяться. Значит, он соврал, что в посылке только теплые вещи. Спрятал ее от всех. Как будто никто из нас отроду не видал колбасу по три двадцать и мы всю жизнь мечтали о ней. Мне казалось, что на меня плюнули. Вот так запросто — взяли и плюнули, а я должен стирать с себя этот плевок.

— Володька, ты где?

— Здесь! — крикнул я. Сейчас Костыка придет сюда и увидит меня среди этих развороченных коробок.

— Идем, — донеслось издали. — Чего ты там копаешься?

Я пошел в «машинное», надел куртку. Меня малость знобило: ни к чему было вылезать из теплого «машинного» на мороз без куртки. Костька ждал меня: ведь мы должны вернуться оба и доложить сержанту, как положено... Но на Костьку я не мог даже смотреть.

— Ты чего? — спросил Костька. — Случилось что-нибудь с дизелем?

— Нет, — сказал я. — Не с дизелем, а с тобой.

— Со мной? — переспросил он. — Забавно!

— Забавно, — согласился я. — Особенно когда ты узнаешь, что твоя посылка просила передать пламенный привет.

Я говорил это со злостью, чувствуя, что с каждым словом мне становится легче, и глядел на Костьку: у него начал бледнеть нос, а глаза стали большими и круглыми.

— Ты чего? — снова спросил он.

— Это не я. Еноты. Есть такие зверюшки. Слыхал? А ведь ничего была, наверно, колбаска-то? С чесночком.

Мы шли рядом молча. Вдруг Костька тронул меня за рукав.

— Извини, — тихо сказал он. — Больше не буду. Только прошу тебя по-джентльменски — без лишней болтовни, а?

Черт с ним. Конечно, я не стану болтать. Зачем? Я никому ничего не скажу, но как быть мне самому? Ведь самое противное в жизни, наверно, это жить рядом с не очень-то честным человеком. Что он будет делать теперь? Зайскивать передо мной? Попытается подкупить? Или поймет все-таки? «Быстро же ты раскрылся, — подумал я. — И хорошо, что так быстро получилось. Потом, наверно, мне было бы тяжелей...»

Письмо от Зои

«Здравствуй, Володя! Получила твое письмо, где ты пишешь, что приходится преодолевать разные трудности, в том числе и штормы, и порадовалась за тебя. До сих пор ты видал только штиль. Зато вернешься настоящим закаленным мужчиной.

Свою фотографию я тебе не посылаю и не пришлю. Для чего? Это никому не нужно. Вот приедешь — тогда увидимся.

Очень заинтересовало меня то, что ты написал о ребятах, которые служат вместе с тобой. Даже словно бы увидела их всех. У тебя просто талант, как у писателя! А вот то, что Саше Головне никто не пишет, — странно. И странно, что ты не знаешь, в чем дело, что у него в жизни случилось. Но можно понять, что все-таки что-то случилось, и парню очень нелегко. Пожалуйста, обязательно скажи ему: если он хочет, пусть напишет мне, а мы с девчонками ему ответим и будем переписываться, так ему, наверное, будет легче и жить, и служить. Обещаешь передать?

О себе говорить нечего. Работаем. Учусь в университете культуры. Очень интересные лекции о великих русских художниках. Стала собирать открытки с их картинами, и у меня уже целая маленькая Третьяковская галерея и Русский музей. Как, оказывается, мы мало знаем, и, наверно, надо учиться всю жизнь, чтобы все равно узнать совсем немного! Зато все новое, что узнаешь, словно большая радость.

Вот и все. Еще раз прошу: передай Саше мое приглашение писать...»

Я спрятал это письмо в тумбочку. Только этого еще и не хватало, чтобы Сашка писал Зое! А ей-то зачем? Впрочем, ладно, пусть пишет. Это Костька прячет свою колбасу, а я ничего не собираюсь прятать. Вечером я сказал Сашке:

— Тобой заинтересовались, сэр. Просят вступить в дружескую переписку.

Сашка поглядел на меня долгим, пристальным и недоверчивым взглядом. Должно быть, решил, что я треплюсь или разыгрываю его после того нашего разговора. А мне было не до трепотни.

— Вот адрес Зои. Просит написать о себе. Показывать написанное мне совсем не обязательно.

— Я не буду писать, — испуганно сказал Сашка. — Зачем? Я же ее совсем не знаю. Да и ты, наверно, против?

— Вот именно, — согласился я. — Но раз она так хочет...

— Тогда придется написать, — озабоченно сказал Сашка, но меня-то ведь не обманешь. Я-то отлично видел, как он вострепнулся и начал шарить по карманам.

— Можешь взять мою ручку и бумагу, — отвернулся я. — В тумбочке, сверху.

Открыть человека

Странная погода, странный декабрь — ни морозов, ни снега, ни ветра. Черные деревья, черные камни, серая вода, серое небо. Особенно унылым все это кажется с вышки. Снизу все-таки меньше видно. Но стоит подняться на вышку — и со всех сторон подступает это черно-серое.

Я хожу по узенькому пространству между будкой и перилами, хожу, чтобы не мерзнуть, хожу и смотрю на бесконечную воду, и перед глазами начинают скользить маленькие прозрачные пузырьки. Это от напряжения, наверно. Тогда я смотрю вниз, где Леня Басов колет и колет дрова: у нас уже столько дров, что хватит на всю следующую зиму. И на печку, и на плиту, и на баню.

Леня Басов колет дрова — в холодном и неподвижном воздухе каждый удар топора как выстрел. Что бы мы делали без Леньки? Кто из нас умеет печь хлеб? А он печет — и два раза в неделю мы разыгрываем по «морскому счету» нежные, хрустящие, теплые горбушки. Здесь мне везет. Я почти всегда выигрываю горбушку. Эрих даже пошутил: вот вернешься домой — смело покупай лотерейные билеты.

И хорошо, что есть Эрих, молчаливый Эрих, потому что он еще в октябре разыскал и починил старую сетку. Бочка была, соль тоже. Теперь у нас бочка соленой рыбы. Не ахти какой, не лососинка, конечно, а окуни и щурята, но это здорово — кусок соленой рыбы с горячей картошкой. Жаль, мы приехали сюда поздно. Набрали бы и засушили грибов. Ну да на будущий год организуем... И еще — брусники бы побольше.

Стоп! Я ловлю себя на том, что думаю о будущем в основном с точки зрения желудка. А мне надо глядеть не на Леню Басова, а на воду, и думать не о грибах и бруснике. Я обшариваю воду, прильнув к окулярам МБТ. Я веду эту трубу словно по серой стене, пока не натыкаюсь на какой-то посторонний предмет. Это островок. Прибрежные камни, корявые сосны на берегу, жухлый тростник... Даже чаек нет. Пустота.

Вот бы попасть сюда летом, с Зоей, уже после службы. Выстроить шалаш или поставить палатку, ловить себе рыбу или просто валяться на солнышке... Дальше мои мысли не идут, я сам обрываю их. Костька — тот

вдосталь посмеялся бы над моими мечтами. Рыбку ловить! На солнышке валяться!

Или теперь не стал бы? Нет, он не изменился после той истории с посылкой. Первую неделю, правда, ходил сам не свой, видимо, ожидая, проболтаюсь я или нет, а когда убедился, что не проболтаюсь, повел себя по-прежнему. Насмешечки и хихиканьки. Но у меня ничего не прошло. Я все время испытываю чувство какой-то неловкости за ребят. Очевидно, так бывает, когда отгадаешь фокус: смотришь на фокусника и думаешь о зрителях: как это они ничего не замечают? Впрочем, у Костьки хватило совести отказаться от сырцовских яблок и моего брусничного варенья. Он, оказывается, кислого не любит. Изжога у него, оказывается, от яблок и варенья. И на том спасибо.

Да, теперь долго не будет ни писем, ни посылок. Это нам объявил Сырцов. Сашка связался с заставой по радио, и оттуда передали: до льда. А когда он будет, лед? И газет тоже нет, и о том, что делается в мире, мы узнаем только по вечерам, когда работает дизель: кто-нибудь из ребят, свободных от службы, присаживается к старенькой «Балтике», ловит Москву. Интересно, можно ли переслать сюда транзистор? Обязательно напишу, чтоб прислали. Правда, транзистор не мой, а премия Коляничу к его сорокалстия, но ведь ничего с приемником не случится, а я верну его хозяину в целостности и сохранности.

Опять в окулярах трубы серая стена. Даже незаметно, где вода сливается с небом. Хоть бы какой-нибудь самый заваливающий катеришка прошлепал вдали. Здесь не ходят суда, даже рыболовные траулеры не появляются. Мели, подводные камни, да и промысловой рыбы здесь нет. Это мне растолковал Эрих. Он знает карту, и этот район тоже знает — пустота... На юго-западе — вот там действительно богатые места.

Ну хорошо, пусть не судно. Пусть какая-нибудь заблудшая лодка. Я замечу ее первым. Дам три ракеты — сигнал тревоги. Нет, сначала я должен убедиться в том, что нарушитель в наших водах, и определить направление его движения. Потом дать звонок — ракеты уже после. Но море пустынно, и я облегченно вздыхаю, когда по ступенькам начинают греметь сапоги Сашки Головни. Идет смена...

Сначала из люка высовывается его голова в зимней шапке. Потом он вырастает из досок настила, и на

площадке сразу становится тесно — такой он большой, грузный, в своей ватной куртке. Еле протиснулся в люк.

— Все в порядке?

— Пустота, брат. Стоишь здесь — как будто один на всем свете. Разрешите сдать пустоту?

— Да, хоть снежку бы навалило... Ты давай топай в дом по-быстрому.

— А что?

— Костька мне не нравится. Все время цепляется к Ленке. Вы с Костькой дружки — может, угомонишь его.

— Погоди, — мне не хочется уходить. Я должен уйти, но мне не хочется. — Только честно. О чем ты думаешь здесь, на вышке?

Мне это необходимо знать. Неужели я, в общем-то, дурак со своими думами о всякой всячине? Сашка смотрит на меня непонимающе.

— Может, об этом потом? Я же тебе говорю: они переругиваются. Костька совсем какой-то ненормальный.

— А я что, нянька им?

— Иди, — строго говорит Головня и прижимается к перилам, чтобы пропустить меня. Только тогда я соображаю, что мне действительно надо идти. Даже не идти, а бежать, хотя я им не нянька, конечно, а просто такой же товарищ, как Сашка Головня.

Когда я вошел, они сидели за столом. Картина была вполне мирная: перед Костькой — «Загадки египетских пирамид», перед Ленкой — стихи Прокофьева. Жаль, нет у нас фотоаппарата — снять бы их и назвать снимок «Солдатский досуг»...

Но лицо Ленки было покрыто красными пятнами, а Костька кривил губы. Я знал эту его манеру. Он кривил губы, когда ехидничал, а Ленка в таких случаях покрывался пятнами, как ягуар. Стало быть, какой-то разговор уже состоялся, и я опоздал. Ну и хорошо, что опоздал. Не люблю ссор и не люблю мирить.

Здесь, в первой комнате (она же была кухней), полагалось говорить шепотом, потому что за дверью почти всегда кто-нибудь спал. Сейчас отдыхали Эрих и Сырцов. Значит, ребята ругались тоже шепотом? Забавно — такого мне еще не приходилось слышать?

— Чаек имеется? — тихо спросил я, и Ленка кивнул.

— Замерз?

— Есть малость.

— Садись. Я тебе налью...

— Не надо, я сам.

— Напрасно отказываешься, — сказал Костька. — Человек проявляет благородство все-таки. Предложить чаю Сырцову — подхалимаж, а тебе — дружеская услуга. Усек? Или, может, тебя повысили в звании?

— Перестань, — поморщился я. — Чего это тебе сегодня взбрендило?

Я налил обжигающего чая и понес к столу, на ходу грея о кружку руки. Выпью эту кружку, а потом — спать. Я уже привык спать днем. Впрочем, сейчас шестнадцать десять, а за окном уже сумерки. Через двадцать минут станет совсем темно.

Говорят, есть люди, на которых плохо действует темнота. Должно быть, Костька из таких людей. Я замечал, что к вечеру он становился особенно раздражительным. Пожалуй, стоило зажечь лампу. Но я знал: только дотронешься до нее — и руки будут долго и густо пахнуть керосином. Зажгу потом, после чая. А через минуту я уже пожалел, что не зажег лампу.

— Что взбрендило? — повторил Костька. — А то, что святых угодников терпеть не могу. Ты погляди, погляди на него! Скоро из собственной кожи вылезет, — должно быть, Костька обрадовался свежему собеседнику и теперь высказывал мне все то, что уже говорил Сашке. — Дровишек нарубить, водичку натаскать, посуду вымыть, пол подмести — и заметь, все по собственной инициативе. А зачем? Да только для того, чтоб выхвалиться: вон я какой трудяга! Или, — повернулся он к Ленке, — скажешь, что это зов души?

— Да, — очень тихо ответил Ленка. — Если я могу это сделать, почему же...

— Ерунда, угодничек! Не поверю. Только не говори, что ты так воспитан. Христосик в гимнастерке.

— Хватит тебе, — попросил я. Мне было жалко Басова. Он не находил, что ответить, и это разжигало Костькину злость. Конечно, его злило, что Ленка многое делает сам, без всякой команды или не в свою очередь. И, конечно, Сырцов мог ткнуть того же Костьку носом и сказать: бери пример с Басова. Этого Костька не мог перенести. И все, что он сейчас говорил, сводилось, в общем-то, к одному — что тебе, больше всех нужно, что ли?

— Хватит, — повторил я. — Ну, может, он действи-

тельно так воспитан, в отличие от нас с тобой. Я вот терпеть не могу подметать. У меня дома пылесос.

— А ты, брат, соглашатель, как я погляжу, — усмехнулся Костька. — Не боишься, что ценный почин товарища Басова распространится на тебя, а? И будешь ты вкалывать сверх положенного в добровольно-принудительном порядке, да еще улыбаться при этом.

— Не очень боюсь, — сказал я. — А вообще, Костька, кончай. Жаль, валерьянки у нас нет. Зря ты на парня взъелся.

— Взъелся? — хмыкнул Костька. — Я бы ему морду набил с удовольствием, вот что. Угодничек!

— А я — тебе, — сказал я.

— Ты?

— Я.

— Руки короткие.

Мы встали. Нас разделял стол. Даже в сумраке я видел, какие у Костьки бешеные глаза. Ленька тоже вскочил. Я глядел в прыгающие Костькины глаза и думал, что если он хотя бы поднимет руку — ударю первым.

Видимо, я не заметил, что мы говорили громко, очень громко, и разбудили Сырцова. Он открыл дверь рывком — и встал на пороге в одной рубашке и белых кальсонах, как привидение. Этого оказалось достаточно. Костька сел, я поднял кружку с недопитым чаем и стал прихлебывать с противным равнодушием.

— Так, — сказал Сырцов. — Занятный у вас разговор. Можно и мне послушать?

— Ладно, отец, — сказал я. — Все тихо и мирно. Ложись, досматривай сны.

Сырцов ушел в спальню, и мы слушали, как он одевается. Я зажег лампу. Сейчас будет душеспасительная беседа на тему дружбы и товарищества. Но сержант вышел и приказал:

— Соколов, отдыхай. Короткевич, сменить Головню.

— Через три с половиной часа, — сказал Костька.

— Сейчас. Проветришь мозги на вышке. А завтра с утра для всех два часа строевой. Ясно?

— Ты что? — удивился Костька. — Заниматься строевой?

— Два часа строевой, — резко повторил Сырцов. — И не только завтра, а всю неделю.

Я поежился. Мне тоже не очень-то улыбалось заниматься строевой подготовкой целую неделю, но Сырцов,

конечно, прав. Великий педагог! Знает, что такое строевая.

Можно было спать. Но я подождал, пока ребята уйдут на службу. Я все равно не уснул бы. И Сырцов знал, что я не сплю, а лежу просто так.

— Не спишь?

— Не сплю.

Он сел на мою койку, да еще поерзал, устраиваясь удобнее, словно приготавливаясь к долгому разговору. И лампу перенес на тумбочку. Свет падал на лицо Сырцова так, что мне был виден только его огромный, выдвинутый вперед подбородок. Теперь этот подбородок был похож на ковшик экскаватора. «Ковшик» дрогнул — сержант сказал:

— Слышал я ваш разговор.

— Подслушивать нехорошо, — сказал я.

— А я не подслушивал. Вы же орали, а не говорили.

— Так уж и орали! Эрих-то не проснулся.

— Его разбудить трудно, — кивнул Сырцов.

Это верно: Эриха надо долго трясти, прежде чем он вылезет из своих снов. Потом он еще долго сидит на койке, охватив колени, покачиваясь и не открывая глаз.

— А вы все-таки громко говорили. Особенно Короткевич.

«Ковшик» захлопнулся. Сырцов отговорил первую часть, сейчас начнется другая. Но он долго молчал, прежде чем снова сказать:

— А я, грешным делом, лежал и думал, как ты поступишь? Выходит, зря сомневался. Дружба дружбой, а табачок врозь.

— Выходит, так, — согласился я.

— Ты, конечно, молодец. Правильно поступил. А что будем делать с Короткевичем?

— Воспитывать, наверно, — ответил я. — Только за что ж и нам строевую-то?

— Так надо, — сказал Сырцов. — А потом еще по уставам пройдемся. Забываете устав. Например, что приказ командира не обсуждается, а должен быть выполнен точно и в срок. Забыл?

— Подзабыл, — уныло сказал я, потому что спорить было бесполезно: только что сам обсуждал приказ командира. Сырцов одобрительно кивнул:

— Ну а как его воспитывать? Есть у тебя какие-нибудь мысли? Вы ведь дружки все-таки.

Дружки! Нет, никакой он мне не дружок. Только я не имею права сказать об этом. И нет у меня никаких мыслей относительно дальнейшего воспитания рядового Короткевича. Ну совсем никаких.

Но то, что Сырцов решил посоветоваться со мной, все-таки польстило. И его похвала странным образом тоже пришлась по душе. Я лежал, блаженствовал и думал: а ведь как ты придирался ко мне? Именно ко мне и ни к кому больше. Почему бы это? Бывает, конечно, физиономия не понравится... Может, ему поначалу не нравилась моя физиономия? Я не Жан Маре и даже не Эрих Кыргемаа — лицо как лицо, малость вытянутое, глаза бутылочного цвета, а нос — коротышка, и мне самому не доставляет особых радостей разглядывать себя в зеркало.

— Чего же ты молчишь?

— Думаю.

— А-а...

— Может, обсудим на комсомольском собрании? — неуверенно сказал я. Просто у нас в школе всегда было так. Чуть что — обсудить на комсомольском собрании. Опоздал на урок, или схлопотал двойку, или подрался, или даже покурил в уборной — все равно на комсомольское собрание. Поэтому сейчас я не мог придумать ничего другого.

— Идея, — согласился Сырцов. — Теперь второй вопрос: кого будем комсгруппом выбирать? Пора. Вроде бы мы уже узнали друг друга.

— Леньку, — повторил я. — Кого же еще?

— Я с тобой серьезно говорю, — покосился на меня Сырцов.

Тогда я сел на койке. Я ведь тоже говорил серьезно: как он этого не понимает! Сырцов глядел на меня, и мне казалось, что мысли в его голове ворочаются с шумом и скрежетом.

— А что? — вдруг спросил он не меня, а самого себя. — Может, ты и прав.

— Конечно, прав.

— Вообще-то самый положительный из нас — это Эрих.

Он еще сомневался в моей правоте! Я перебил его:

— Значит, я не положительный?

— Ты? — Сырцов снова поглядел на меня. — Хочешь честный разговор?

Я кивнул. Конечно, я очень хотел, чтобы разговор был честный.

— В основном ты, конечно, положительный... Только разболтанный. Нет в тебе — как бы это сказать? Ну, твердости душевной, что ли. Это не я один так думаю.

— Погоди, — перебил я его. — Помнишь, мы с комендантом беседовали, а потом он тебя попросил остаться?

— Помню.

— Обо мне говорили?

— О тебе. Вот тогда он и сказал, чтоб я особенно приглядывался к тебе. Хороший, говорит, парень, а в голове сплошные завихрения.

— Имеется малость, — грустно согласился я. Впрочем, я ведь был почти уверен, что подполковник говорил с сержантом именно обо мне. Так что ничего нового я не узнал. Я сидел и вспоминал ту злосчастную беседу, когда комендант даже забыл поговорить с Сашкой Головной. Это из-за меня. Сашка, наверно, огорчился, что его забыли.

— Нет, — качнул головой Сырцов. — Подполковник с ним нарочно не заговорил тогда. Понимать же надо.

— Что понимать?

— Обстановку. Он не хотел Сашке больно делать.

— Темнишь.

— Не надо только болтать. У Сашки отец пьяница. Весь дом пропил. Сашка от него ушел. Хорошо, настоящего человека в жизни встретил, капитана милиции.

— А отец? — все-таки спросил я.

— Вроде бы в лечебнице.

Меня словно обожгло. Все стало понятным. И даже та случайно прочитанная строчка из письма к другу-милиционеру: «...за все, за все Вам всегда буду...». Значит, живет человек рядом со мной и один переносит свою беду? Мне хотелось вскочить, одеться и побежать туда, на прожекторную. Ничего не говорить. Просто побыть с Сашкой. Ну, может, пошутить, чтоб улыбнулся. Спросить, написал ли он Зойке.

— Ладно, — сказал Сырцов. — Спи. И так почти час проболтали. А я пойду...

Ему никуда не надо было идти. Он тоже должен был спать сейчас. Значит, он почувствовал то же самое,

что и я. В таком случае мы пойдем вместе. Я спустил ноги и начал одеваться, а Сырцов молча глядел на меня.

Мы вышли и вдруг увидели снег. Ночь была белой. Снег валил медленно и густо. Я включил фонарь, и луч уперся в белую завесу. Мы шли через нее, ничего не различая в трех шагах, и ноги мягко увязали в снегу. Но сбиться мы не могли. Дорогу на прожекторную каждый из нас нашел бы с закрытыми глазами.

— Плохо, — сказал Сырцов. — Видимость нулевая. На заставах, наверное, усиленную объявили. А кто радуется — это Ленька.

— Почему? — не понял я.

— Эх, ты, городской! — усмехнулся Сырцов. — Для тебя снег — лыжи, а для крестьянина — урожай. Понял?

Я кивнул и подумал, что Сырцов — чудесный парень, черт возьми, и жаль, что мы с ним не договорили и что я все-таки очень мало знаю его, куда хуже, чем он меня.

— А сам ты какой: городской или деревенский?

— Лесной, — ответил Сырцов. Мы уже подошли к прожекторной, и, словно приветствуя нас, в белую пелену ударил голубой сверкающий луч. Это сверкали миллиарды снежинок. И казалось, можно было услышать, как они шелестят, соприкасаясь с голубым лучом.

Старший лейтенант дед-мороз Ивлев

К концу декабря лед стал, начались морозные солнечные дни и звездные безлунные ночи. Никогда в жизни я не видел таких ярких звезд и так много сразу.

Я уже здорово приноровился вести трубу за лучом прожектора. Но если раньше взгляд словно бы скользил по серой стене, теперь он скользит по белой. Огромное белое пространство, тронутое лишь ветром, — это он намел снежные барханы.

И снова, когда гаснет прожектор, мне начинает думаться о всякой всячине: о том, что мои уйдут на Новый год в гости; а Зойка будет встречать его в общезжитии; а на заставе посмотрят по телевизору «Голубой огонек». До заставы — всего каких-нибудь двенадцать километров, там модерновая столовая, и электричество, и библиотека, и телевизор — живут же люди! А нам так и не успели привезти хотя бы книжки. Я уже

прочитал «Загадки египетских пирамид», и Горького, и уставы. Попросил у Ленки дать почитать стихи Прокофьева. И вдруг, к удивлению, знакомое:

А песня взлетела, и голос окреп.
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!..
И ветер — лавиной, и песня — лавиной..
Тебе — половина, и мне — половина!

Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам,
Мы хлеба горбушку — и ту пополам!

А я и не знал, что это песня Прокофьева. Сто раз слышал и сам пел, а не знал.

Это почти про нас, вот почему она мне нравится. Почти про нас, если не считать Костьку, который прятал свою паршивую колбасу. Интересно, что он сделает, когда снова придут посылки? Впрочем, кто знает, когда придут хотя бы письма. Там, на заставе, наверное, уже скопились горы писем для нас... Мать и Колянич переписывались, потому что не получают писем от меня... Впрочем, что я смогу написать? Жив, здоров, вот и все.

Ну, не совсем здоров. Три дня подряд у меня болит зуб. Худшей болезни нарочно не придумаешь. Он тихо ноет, а к вечеру словно просыпается и начинает болеть так, будто норовит выскочить сам. В такие минуты кажется, что за щеку сунули раскаленный гвоздь и шуруют там. Две пачки пираминала, которые были в нашей аптечке, я уже съел. Правда, если закурить и держать дым во рту, становится немного легче. От зубной боли еще никто не умирал, и я тоже не умру. Только интересно, сколько же он еще будет болеть, окаянный?

Я поднял воротник тулупа и спрятал в него щеку. Когда греешь, становится малость легче. Если бы я служил не здесь, а на заставе, меня давно бы отвезли к зубодеру, и все было бы в порядке. А здесь — терпи. И я терплю, стараясь думать о чем угодно, чтобы обмануть этот проклятый зуб. Но все равно, четыре часа на вышке кажутся мне бесконечно долгими, и, когда снова в люк протискивается Сашка Головня, я облегченно вздыхаю. Все! Забирай тулуп и дыши свежим воздухом на здоровье.

— Есть новости, — сказал Сашка. — Утром будет почта.

— Иди ты!

— По рации старший лейтенант передал! Как у тебя зуб?

— Болит.

— Ромашку бы...

— Врача бы, — сказал я. — Хотя больше всего на свете не люблю бормашины и будильник.

Без тулупа, в одной зимней куртке, мне стало холодно, но я не спешил уходить. У нас с Сашкой был один неоконченный разговор — о чем он думает здесь в одиночестве. Правда, я нарушал порядок, можно было бы найти другое время для разговора. Тем более — зуб... Но все-таки я снова спросил Сашку, о чем он обычно думает, когда дежурит на вышке.

— О всяком, — ответил он.

— Ну, например.

— О том, что буду делать на гражданке.

— Домой вернешься.

— Нет, не вернусь...

— Костька — тот о своих девочках думает.

— Я тоже.

— Ты?

— Я. Только иначе, чем Костька. Не нравится мне, как он об этом говорит. Любовь одна на двоих.

— «Тебе половина и мне половина»?

— Может, мне даже меньше половины, а ей — больше.

— А-а...

— Ты Толстого читал?

— Проходили. Ну, «Казачьи» там, «Войну и мир», «Каренину» в кино видел.

— А я вот читал и выписывал для себя разные мысли. Знаешь, как он писал о любви? «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь».

— Загнул! — сказал я. — Что ж тогда — своей жизни не иметь?

Сашка не ответил. С прожекторной дали «мигалку», и он взялся за рукоятки трубы. Начинался поиск. А проклятый зуб начал дергать со страшной силой.

— Пойду, — сказал я Сашке и не сдвинулся с места. Мы еще не договорили. Стоял и глядел, как медленно движется светлая полоса, теряясь в заснеженном пространстве, словно сливаясь с ним.

— Ты здесь? — удивился Сашка, когда поиск кончился. — Не договорил, что ли?

— Так просто.

— Ладно, ты со мной дипломатию-то не разводи. Вот, возьми, прочитай дома, — он полез за отворот тулупа. Долго расстегивал куртку и долго искал что-то, а потом вытащил сложенный лист бумаги. — Сегодня написал. Если что не так — скажешь.

— Что это?

— Письмо.

— Не буду читать.

— Нет, прочитай, — сказал Сашка, отворачиваясь от меня. — Я тебя очень прошу. Так надо. Я не хочу, чтобы ты подумал...

— Брось, Сашка, ничего я не думаю. Давай, брат, неси бдительно службу.

Только этого мне и не хватало — читать его письма к Зое. Особенно сейчас, когда зуб болит совсем посумасшедшему.

— Тогда я сам тебе расскажу... Я ей про себя написал. Как жил, как отец над нами с матерью измывался.

— Не надо, Сашка, — тихо сказал я. — Не надо. Я знаю.

Должно быть, он хотел спросить, откуда я знаю, но промолчал. Я хлопнул его по спине. Сейчас я все-таки уйду. Зачем мне подробности? Сашка и так, наверное, разбередил себе душу, когда писал Зойке.

Долго не мог заснуть, дышал в подушку и быстро накрывал щекой нагретое место, потом попробовал тереть щеку — еще хуже. И проснулся тоже от зубной боли. Очевидно, уже было утро: рядом похрапывал Костька, из угла доносилось сонное бормотание Леньки.

Сил моих больше не было. Но я знал, что делать. Сейчас я пойду на прожекторную, в гараж. Там, на полке, стоит канистра с эмульсией, которой мы очищаем отражатель прожектора. Спирт с мелом. Попробую подержать во рту. Мел — штука безвредная; во втором или третьем классе я на спор съел целую палочку, и со мной ничего не случилось.

В гараже никого не оказалось. Кружку я прихватил с собой и налил туда белой, похожей на молоко, жидкости. Рот обожгло сразу, но сразу же притихла и боль. Словно испугалась. Для меня эта боль была уже чем-то совершенно самостоятельным, вроде маленького зверька, который рыл себе нору. И вот зверек затих.

Если попробовать еще раз, и еще, может, он и вовсе сдохнет. Все-таки спирт, что ни говори.

Я отхлебывал из кружки эмульсию, склоняя голову, чтобы она попадала на зуб, а потом начинал плевать за дверь. Кроме мела, там, наверно, было намешано что-то еще. Во рту у меня стало противно и жгло, будто я сжевал стручок перца. Но боль утихла! Ага, попался, зверек! Я даже потрогал зуб онемевшим языком — не болит! Попрыгал на одной ноге — не болит! А теперь — домой, и сейчас я съем две тарелки картошки с тушенкой, потому что вчера совсем ничего не мог есть...

Возле дома воткнутые в сугроб стояли две пары лыж и детские санки со «спинкой». Откуда у нас детские санки? Я открыл дверь, вошел в первую комнату и увидел старшего лейтенанта.

Начальник заставы уже сидел за столом и пил чай, а Сырцов возился возле печки. Здесь же был еще один незнакомый солдат, белесый, с белыми ресницами и красным, как помидор, лицом. «С мороза», — догадался я. Он пришел со старшим лейтенантом. А на санках они привезли почту. И книги. Пачка книг лежала на подоконнике.

— Разрешите войти?

— Входите, входите, Соколов. Только тише — товарищи спят.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант.

Он кивнул, продолжая шумно прихлебывать чай. Я незаметно оглядел комнату. Вот он, брезентовый мешок, стоит в углу, как наказанный мальчишка. Старший лейтенант все-таки заметил, что я шарю глазами по комнате, и засмеялся:

— Садитесь, разбирайте почту. Вам, кажется, штук десять писем.

У меня от нетерпения не слушались руки, и я не сразу сумел развязать веревку. Никак не мог найти, за какой конец потянуть. Путался и не замечал, что начальник заставы перестал прихлебывать чай.

— Товарищ Соколов...

— Я сейчас... Вот ведь как завязали!

— А ну-ка, нагнитесь ко мне.

— Что?

— Нагнитесь и дыхните.

Я нагнулся, дыхнул — и обомлел. Все сошлось! И то, что от меня разило спиртом, и то, что я не мог

развязать веревку. Старший лейтенант медленно встал, и я тоже встал, судорожно сжимая в руке мешок с долгожданними письмами.

— Так, — сказал начальник заставы. — Что же у вас происходит, товарищ сержант!

Сырцов быстро поднялся с корточек и удивленно поглядел на старшего лейтенанта. Он еще ничего не понимал. А что именно происходит?

— Дыхните, Соколов.

— Товарищ старший лейтенант...

— Дыхните, дыхните, не стесняйтесь! Что пили-то хоть? Один или в компании?

— А ну, — с яростью прошептал Сырцов, придвинувшись ко мне вплотную. — Ты что же делаешь? Откуда взял?

Мне стало так обидно, что я решил даже не оправдываться. Все равно не поверят. Будь что будет.

— Сбегал в соседний гастроном, — сказал я. — Знаешь, за углом налево.

Сырцов отодвинулся и начал медленно бледнеть, а челюсть-ящик полезла вперед. Начальник заставы все глядел и глядел на меня, а я ответил тем же: смотрел ему в глаза, как будто играл в «мигалки». Видимо, до него что-то дошло.

— Получил вино в посылке?

— Не было у него в посылке вина, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Это я точно знаю.

— Только закуска, — подтвердил я. Теперь-то мне нечего было терять. Я мог говорить что угодно. Все равно отвечать.

— Что же вы пили?

— Ничего. У меня три дня зуб болел. Я рот эмульсией прополоскал, вот и все.

— Эмульсией? — переспросил начальник заставы.

— Честное комсомольское, — сказал я.

— Комсомольское, говорите?

— Это точно, товарищ старший лейтенант, — сказал Сырцов. — Три дня с зубом мучается. А в эмульсии спирт, — он повернулся ко мне: — Ну а потом, когда прополоскал, выплюнул эмульсию или проглотил?

— Глотай сам, — сказал я. — Дураков нет.

— Как вы разговариваете с сержантом, товарищ Соколов?

Но теперь я знал твердо — поверили. Сырцов буркнул:

— Ладно, извини. А эмульсия, между прочим, не для тебя, а для прожектора.

Старший лейтенант кивнул и взял свою кружку.

— Три наряда вне очереди, когда поправится! За эмульсию и за разговоры.

* * *

Старший лейтенант пробыл у нас день, проверял «Пограничную книгу», расписание нарядов, полночи провел на прожекторной, а под утро приказал мне собраться. Я не стал задавать вопросы, я знаю, чем это пахнет. Сырцов успел шепнуть мне — пойдешь на заставу, оттуда — в город, к врачу. Конечно, если б не те три наряда, я бы поспорил. Сказал бы, что зуб пройдет сам собой. А сейчас я вытащил из кладовки лыжи и палки и ждал, когда начальник заставы кончит свои дела.

Вот тогда, впервые после нашей ссоры, ко мне подошел Костька:

— Прихватишь сигарет?

— Прихвачу. Больше ничего не надо?

— Ничего, — он помолчал и усмехнулся: — Ну разве что пол-литра.

— Не пойдет.

— Тебе можно, а мне нельзя? Нехорошо. Хорошо только, что мы с тобой квиты.

— В чем же?

— Брось, — сказал Костька. — Я ведь тоже не пойду и не щелкну на тебя. Думаешь, я поверил, что ты эмульсией рот полоскал? А придумал ты лихо!

Кто мог рассказать Костьке об истории с эмульсией? Ведь все еще спали. Сырцов? Вряд ли.

— Этот, с заставы, — объяснил Костька. — Дубоватый парень, Ложков. Ну а честно — что пил?

Я не стал его разубеждать. Зачем?

Вышел старший лейтенант и начал надевать лыжи.

— Пока, — сказал я ребятам. Они глядели на меня тоскливыми глазами, потому что сегодня я буду в городе, увижу машины, дома, людей, может, даже схожу в кино, и цена всему этому счастью один вырванный зуб. Я смогу даже зайти в кафе и просадить там трешницу на лимонад и мороженое. Наверно, если бы уходил не я, а кто-нибудь другой, у меня тоже были

бы такие тоскующие, до краев наполненные черной завистью глаза.

— Пока, — сказал Сырцов. — Смотри там...

— Будь.

Мы пошли.

Старший лейтенант шел впереди, далеко выкидывая палки. Шаг у него был легкий, стремительный, и мы с Ложковым быстро отстали.

— Ты не гонись за ним, — хрипло сказал мне Ложков. — Чего с пупа-то рвать? Он мастер спорта, а мы с тобой любители.

Ложков шел сзади меня и тащил санки.

Минут через сорок я обернулся. Остров был уже далеко, и дом не виден — я разглядел только верхушки сосен и вышку, и вдруг мне стало как-то не по себе от того, что я уйду дня на два или три, и эти два или три дня ребята будут делать мою работу. Будут меньше спать и больше уставать, и все потому, что у Владимира Соколова, видите ли, зубик заболел.

— Давай посидим на саночках, — обрадовался Ложков. — Нам с тобой не на олимпиаду ехать.

— Идем, — сказал я. — Вот получим пенсию, тогда посидим.

Я должен был спешить. Хорошо бы завтра вернуться на прожекторную. И никаких там кафе в городе, никаких кино. Тогда вполне успею вернуться к завтрашнему вечеру.

Резче взмахиваю палками, отталкиваюсь и начинаю нагонять старшего лейтенанта. Ложков плетется уже далеко позади.

...Фамилия нашего старшего лейтенанта Ивлев. Мы почти не знаем его: ведь на заставе прожили неделю, а к нам он вообще не приезжал ни разу. Говорят, был на сборах. Он действительно мастер спорта. А что за человек — неизвестно.

Правда, о старшем лейтенанте Ивлеве я читал большую статью в газете «Пограничник». Это было еще там, на учебном пункте, до того, как мы прибыли на заставу. В статье рассказывалось, как здорово он организовал физподготовку. Но на фотографии он был почему-то со своими детьми-двойняшками — сыном и дочкой. И сейчас Ложков тянет за собой их санки.

Вот и все, что я знал о старшем лейтенанте Ивлеве.

Он шел, не оборачиваясь, будто вообще забыв о нашем существовании. У меня же опять разболелся зуб,

и я спешил за начальником заставы вовсе не из спортивного интереса. Скорей бы добраться до госпиталя. Бежать было жарко, я сдвинул шапку на самый затылок и расстегнул куртку. Зачем старшему лейтенанту понадобилось идти пешком? Я же видел — на заставе есть аэросани. Вполне мог приехать на них. Или боится, что лед еще не окреп?

Старший лейтенант наконец-то обернулся и встал, поджидая меня.

— А вы ничего ходите, — сказал он. — Учились где-нибудь?

— Самоучка, товарищ старший лейтенант.

Он прищурился, словно прикидывая что-то в уме.

— Хорошо, учтем этот ваш талант.

И опять мне стало не по себе. А ну как начнут меня посылать на всяческие соревнования или кроссы? Надо было послушаться Ложкова и не «рвать с пупка». Теперь уже поздно. Теперь в глазах начальника заставы я талант... А Ложков плелся где-то далеко-далеко, и у него не было никаких талантов, кроме, пожалуй, одного — сачковать. Мне стало смешно и немножко жалко Ложкова, когда старший лейтенант, нетерпеливо поглядывая в его сторону, сказал, совсем как Волк из мультфильма:

— Ну, Ложков, — погоди!..

* * *

Как ни хотелось мне скорее вернуться домой, на прожекторную, все получилось иначе. Зуб — ерунда. Вытащить его оказалось минутным делом. И попутная машина из отряда была. И в кино не зашел — только просмотрел афиши: «Лев зимой», «Золотые рога», «Джен Эйр».

Единственное, что успел сделать, — это забежать на почту и позвонить домой, в Ленинград. Девушка, принимавшая заказ, строго сказала: «Разговор в течение часа». Должно быть, у меня было страдальческое лицо, потому что она снова сняла трубку и сказала кому-то: «Понимаешь, здесь солдат звонит, дай побыстрее». Я ждал и гадал: дома мои или еще не вернулись? Обидно, если задержались где-нибудь. Мать могла пойти в магазин, у Колянича вечные собрания и заседания. Но, видимо, есть пограничный бог. Трубку подняла мама.

— Кто это?

— Вот тебе и на! Я, Володя.

— Володя?

Она замолчала; в трубке что-то потрескивало и попискивало; мне показалось — разъединили.

— Мама, это я. Ты слышишь?

— Слышу, Володенька.

И тут же раздался голос Колянича:

— Володька, мать в трансе. Как живешь?

— Нормально. Как вы?

— Ну, поскольку ты охраняешь нас, — отлично. Здоров?

Трубку вырвала мама:

— Володенька, ты почему так долго не писал?

— Обстановка такая.

— Что такая?

— Обстановка, говорю, была. А ты чего ревешь?

— Я не реву.

— Ревет, — вырвал у нее трубку Колянич. — Уже ковер поплыл и мои ботинки. Тут к нам одна твоя знакомая строительница приходила, тоже волновалась, что нет писем.

— Обстановка, — сказал я. — Как вы?

— Я же сказал — все хорошо.

— Ну и у меня все хорошо.

— Володенька, — хлюпнула в трубку мама. — Как ты себя чувствуешь?

— Нормально.

— Кончайте разговор, — вмешался чей-то голос. — Ваше время истекло.

На всякий случай, я сказал несколько раз «алло, алло», но трубка молчала. Все. Поговорили, называется.

На заставе я зашел в канцелярию — доложить старшему лейтенанту; он сказал:

— Поживите у нас денька два.

— Товарищ старший лейтенант, там же без меня...

— Вы, кажется, собираетесь спорить со мной?

— Нет.

— Ну вот и хорошо.

«Денька два» — это значит, до самого Нового года. А я-то купил ребятам конфет, полтора кило шоколадной смеси. Получат уже после Нового года. Жаль! И, конечно, не дело, что я буду болтаться эти два дня на заставе. «Некому тебя сопровождать, — объяснил мне Ложков. — А одного не пустят». — «А ваши аэро-

сани?» Оказывается, у саней была сломана лыжа. В первый же выезд водитель (совершенный лопух!) наскочил на ропак, и лыжа разлетелась, как стеклянная. Сейчас чинят. «А чего тебе? Отсыпайся, — сказал Ложков. — Солдат спит, служба идет, все законно». Я мог спать сколько угодно и не спал.

Значит, Зойка заходила к моим! Волновалась, что нет писем. Стало быть, она ждет мои письма, а раз волнуется... Голова у меня шла кругом. Я засел в ленинской комнате и сочинил ей огромное письмище. «Почти все свободное время я думаю о тебе, — написал я. — И даже представлял себе, что если бы мы оказались здесь. Места у нас красивые... (Дальше шло описание природы.) А если один человек все время думает о другом, это что-то значит». Я все время намекал и намекал. Должна понять, не глупенькая. «Не волнуйся, если снова долго не будет писем. Служба у нас такая». И в самом конце приписал: «Получила ли послание Сашки Головни? Знаешь, у него действительно тяжелая жизненная история, пусть твои девчонки напишут ему». Это была, конечно, хитрость. Мне не хотелось, чтоб ему писала сама Зойка. «Как понравились тебе мои родители?»

Мне было легко и спокойно. Зуб не болел. Ленинградский СКА выиграл у «Химика» — я смотрел матч по телевизору. Зойка волнуется из-за меня так, что даже отважилась прийти к моим. Все в жизни хорошо. Даже то, что два дня я отрабатываю свои три наряда вне очереди: расчищаю от снега дорожки, посыпаю их песком, таскаю мишени на стрельбище.

— Соколов, к начальнику заставы!

Я бросил работу и выжал стометровку с рекордным временем. Старший лейтенант ждал меня в коридоре заставы. Он был в лыжном костюме, и поэтому я не сразу узнал его.

— Вы готовы?

— Всегда готов, — ответил я. Ивлев прищурился.

— Тогда надевайте лыжи и пошли.

— Разрешите только конфеты взять?

— Какие еще конфеты?

— Ребятам на Новый год купил.

— А-а, берите. Только скорее. И вот вам маскхалат.

Я взял у него белый сверток, не понимая, на кой черт мне этот маскхалат. Смеркалось, и я совсем перестал что-либо понимать. Почему нужно идти в тем-

ноте? Неужели начальнику заставы так уж хочется встретить Новый год с нами? У него же семья здесь. Я сам вылепил роскошную снежную бабу для его ребятшек.

...Мы идем быстро, и я не отстаю от старшего лейтенанта. Потом я замечаю, что мы идем вроде бы совсем не в ту сторону. Кончилась лыжня, старший лейтенант шагает по снежной целине. Мне легче идти за ним. Морозец не очень крепкий, градусов десять, но за начальником заставы вьется легкий пар. Конечно, топать по целине куда хуже; скоро от него дым повалит, а не пар, если идти вот так, все дальше и дальше — в замерзшее море.

Хорошо, что я ни о чем не спросил его. Все и так ясно. Мы дадим здоровенного кругалю, спрячемся за островом, потом наденем маскхалаты и будем «нарушать границу». Время старший лейтенант выбрал, конечно, самое подходящее — новогодняя ночь. «А ведь молодчина! — подумал я. — Где бы посидеть дома, как положено нормальным людям, шагает за добрых двадцать километров». — Это я прикинул в уме. Но, может быть, и не двадцать, а двадцать с лишним, потому что к маленькому островку мы должны подойти тоже скрытно.

— Устал?

— Есть малость.

— Три минуты.

Мы стоим три минуты, переводя дыхание, и пар вьется над нами.

— Угостил бы конфеткой, что ли?

— Пожалуйста.

Конфеты у меня распаханы по карманам. Мы съедаем по одной и закусываем снегом.

— Пошли.

Только бы не подвели ребята. Я пытаюсь сообразить, кто будет сегодня на вышке и кто — на прожекторе, но это нелепо — гадать, из-за меня Сырцов перекроил график нарядов. Только бы смотрели лучше. Может, мне как-то удастся... Нет. Мне ничего не удастся. Старший лейтенант заметит, и тогда от рядового Владимира Соколова полетят пух и перья. Только бы они смотрели лучше! Я иду и думаю, что есть на свете телепатия. Сам читал. Надо только сосредоточиться и все время передавать: «Смотрите лучше — мы идем. Смотрите лучше — мы идем». Я буду передавать Сырцову.

И представляю себе его лицо со здоровенной челюстью, смотрю в его глаза и медленно в такт шагам, повторяю: «Смотрите... лучше... мы... идем...»

Времени нет. Оно словно бы остановилось здесь, в снежном море. Сколько мы прошли и сколько еще шагать? Я устал, это замечаю по тому, что старший лейтенант уходит вперед. «Ты, мастер спорта, должен же ты понять, что я устал? — непочтительно думаю я. — Ну остановись, дай человеку передохнуть малость. А за это конфетку дам». Он не останавливается. Светит луна, и длинная тень начальника заставы все удаляется, удаляется от меня. Ничего не выходит из моей телепатии. «Остановись!» — он идет. «Остановись!» — он не останавливается.

Не хватает только упасть. Замерзну как цуцик, и если старший лейтенант дотащит меня, то уже в виде сосульки. Я взмахиваю палками. Нет, еще рано падать. Еще можно идти, хотя бы на этих трясущихся ногах. Тень старшего лейтенанта начинает приближаться. Или он замедлил шаг, или я начал догонять его. Одно из двух. Скорее всего он тоже устал. Мастера спорта тоже не из железа.

— Три минуты.

— И конфетку?

— Нет, спасибо. Надевай маскхалат.

И только тогда я замечаю, что мы уже за островом. Пот из-под шапки заливает мне лицо. Но вот он, островок; на голубом фоне острые пики елок, темные валуны со снежными шапками. До меня не сразу доходит, что голубой фон — это свет нашего прожектора. Свет меркнет, смещается в сторону — островок исчезает.

— Вперед!

У меня уже не дрожат ноги. Я иду за старшим лейтенантом почти вплотную. Островок слева. Мы обходим его — и вперед, вперед... «Смотрите... лучше... мы... идем...» Ну чего же они там? Почему не включают прожектор? Спят они все, что ли?

— Ложись и не двигайся.

Вот он!

Голубой свет вспыхивает так неожиданно, что я не сразу успеваю повалиться в снег.

— Не двигайся, — с угрозой повторяет старший лейтенант. Он смотрит на меня. Думает, что я как-нибудь демаскируюсь. Все-таки там — свои ребята.

Свет уходит: нас не обнаружили.

— Вперед!

Мы бежим, бежим изо всех сил. И вдруг облако света обрушивается на нас; свет бьет в глаза, свет со всех сторон.

— Назад!

Теперь прожектор светит нам в спину. Мы уходим, убегаем от него; я не вижу ракет, которые пускают с вышки: сигнал тревоги «Прорыв со стороны границы». Но я знаю, что ракеты уже пущены и на соседних заставах нас увидели.

— Скорей, скорее!

«Куда же он? — думаю я на ходу. — Долго он будет таскать меня по снегу?» Когда я падал, снег набился в рукава, попал за шиворот — и теперь по груди и животу ползут холодные струйки воды. А все-таки нас обнаружили! Нашли, черт возьми! Свет не отпускает нас, мы по-прежнему в луче прожектора. Я догадываюсь, старший лейтенант хочет снова спрятаться за островком, переждать.

Так и есть.

Мы тяжело дышим и смеемся. Стоим и оба смеемся, потому что нам не удалось пройти.

— Сейчас будет самое интересное, — говорит старший лейтенант. — А пока давай по конфетке, если не жалко.

— Не жалко.

— «Южная ночь», — говорит он, разжевывая конфету. — Мои любимые. Устал здорово?

— Здорово.

— Тебе надо подучиться. Вполне можешь сдать на разряд.

— Некогда.

— Ты, наверно, ленив малость?

— Малость ленив, — соглашаюсь я.

— Тогда ничего не получится. Ага, едут!

Я еще ничего не слышу. Приходится задрать опущенное «ухо» шапки, и тогда явственно доносится далекий рокот мотора. Только я не могу определить, с какой стороны. Звук слышен то справа, то слева, он мечется по всей снежной целине.

— Пошли.

— Товарищ старший лейтенант...

— Нечего стоять. Замерзнешь.

Легко, будто бы и не было позади двух десятков

километров, он снова скользит по снегу. Мы уходим в открытое море. Островок-укрытие остается за спиной.

— Смотрите!

Издали к нам приближается разлапистое чудище с двумя горящими глазами-фарами. Гул мотора нарастает. Я оборачиваюсь — с другой стороны на нас идет другое такое же чудовище, и мне становится жутковато.

— Все, — втыкает палки в снег мой начальник заставы. — Не рыпайся и поднимай лапки вверх. Ну, быстро.

Поднимаю руки. Аэросани светят нам в лицо своими глазищами-фарами. Солдаты выпрыгивают в снег, различаю лишь силуэты, но зато явственно слышу остервенелый собачий лай. А ну как сорвется собачка с поводка? Как ей тогда докажешь, что я вовсе не иностранный шпион и даже не нарушитель пограничного режима, а самый что ни на есть свой? И я бочком, бочком прячусь на всякий случай за спину старшего лейтенанта.

Из окружной газеты «Пограничник»

«В новогоднюю ночь»

«Эта ночь надолго запомнится личному составу застав, которыми командуют офицеры тт. Ивлев и Одинцов. По приказу командования в новогоднюю ночь здесь было проведено условное нарушение границы. Для этого начальнику заставы, мастеру спорта СССР т. Ивлеву и опытному лыжнику, отличному воину рядовому Соколову пришлось пройти более двадцати километров, чтобы внезапно появиться в районе прожекторной позиции. Тщательно маскируясь, они начали приближаться к берегу...

Но расчет во главе с сержантом Сырцовым обнаружил «нарушителей» при первом же поиске. При этом сержанту удалось перехитрить «нарушителей». Сначала, когда те залегли, он приказал перенести луч, чтобы «нарушители» подумали, будто остались незамеченными. Сержант рассчитал точно. Когда «нарушители» подошли ближе, их высветили прожектором. Подоспевшие с соседних застав тревожные группы «захватили» «нарушителей». Четко и слаженно действовали наши пограничники.

За успешное выполнение учений командование объ-

явило благодарность всему расчету прожектористов. Особо отмечен рядовой Соколов».

...А тогда, когда мы ввалились в дом, Костька разочарованно сказал:

— Ну, за него медаль не получишь.

— Не получишь, — согласился я.

Кружку горячего чаю и спать, спать, спать! Старший лейтенант укатил на аэросанях домой, на заставу, приказав Сырцову дать мне сутки отдыха. Сырцов не то удивленно, не то радостно рассказывал:

— Понимаешь, у меня со вчерашнего вечера было какое-то чувство...

— Телепатия, — сказал я. — Точно! Не веришь? Я, когда с начальником заставы шел, все время о тебе думал. Шел и талдычил про себя: «Смотри лучше». Значит, удалось.

— Скажи на милость!

— Точно, телепатия, — сказал Костька. — У меня сигареты как раз кончились. Скучаю и думаю: «Сегодня Володька принесет».

Негнушимаися пальцами я выгребаю из всех карманов курево и конфеты. Горка конфет лежит на столе. Я выбираю себе «Южную ночь». На фантике — Черное море, пальмы, луна. Никогда не был там.

— Ну, как тут у нас?

— Порядок.

Если порядок, могу наконец-то лечь. Иду, пошатываясь. Голова не успевает коснуться подушки, и последнее, что помню, — это пальмы, вода и на воде две луны сразу. Проваливаюсь в сон, еще пытаюсь сообразить, почему две луны, ведь так не бывает, да это не луны вовсе, а фары аэросаней, ну а то, что сани шпарят не по снегу, а прямо по воде, — не имеет ровно никакого значения.

Живая полоса

Вырезку из окружной газеты я, разумеется, послал домой, а в письме как можно ехидней заметил: «Вот чем занимался я, пока вы там праздновали Новый год и попивали шампанское». Правда, Колянич мог ответить, что Соколовых на границе — пруд пруди и, может, пока они пили шампанское, я мирно похрапывал. Он ведь тоже умел быть ехидным, Колянич.

Но я ходил праздничный. После поездки в город,

разговора по телефону, когда узнал, что приходила Зоя, после тяжелого перехода и этой заметки меня не покидало чувство полного удовлетворения самим собой и жизнью вообще. Все вокруг меня были удивительно славными. Даже Костька. Я спросил Сырцова — как он, и сержант сказал — порядок.

Книги, которые привез на саночках старший лейтенант, тоже помогли. Мы читали запоем, читали каждую свободную минуту — никогда прежде я не читал так много и с такой жадностью.

Через неделю мы с Костькой оказались в наряде на прожекторной. Видимо, Сырцов решил, что нас можно снова посылать на пару. Костька спросил:

— Ну как там, в городе?

— Ничего. Дома стоят. Окошки светятся.

— Городок-то неважнец, — сказал Костька. — Провинция. Приходилось бывать еще до службы. А сейчас и там согласился бы пожить.

— Соскучился?

— А ты не соскучился? Я сплю и во сне вижу эти окошки. И еще машины.

— И девочек, — в тон ему сказал я.

— И девочек, — подтвердил Костька. — Не выдержать мне здесь. Буду писать рапорт. Пусть ругают.

— Вообще-то ты зря, Костька, — сказал я. — Ну, трудно, понимаю, так ведь надо.

— Брось, — сказал Костька. — Ты все это с чужих слов говоришь. «Надо, надо...» Условия учитывать надо. Ленке деревенскому здесь лафа. Сырцов — лесоруб, вырос в лесу, ему здесь тоже не дуется. А мы с тобой — городские, у нас городская жизнь в крови. Я ж не против службы, не баптист какой-нибудь, но городские должны служить в городе.

Я подумал, что Костька скис. Ненадолго же его хватило. Если он напишет рапорт о переводе — неприятностей, конечно, ему не обернуться. Но почему мне, тоже городскому, такое не приходило в голову? Я тоже люблю город, люблю Ленинград, но раз надо — я здесь и никуда уже не денусь до конца службы.

— Знаешь, — сказал я Костьке, — когда мы с начальником заставы шли, я почувствовал — все! Не могу! Упаду и не встану. А потом подумал — слабак ты сопливый, — и пошел, и пошел. Второе дыхание называется. Может, ты сейчас перед вторым дыханием?

— Чепуха, — усмехнулся Костька. — Все дело в духовных запросах, сам понимаешь.

Короткевич как-то осекся, но я не стал допытываться, что именно он имел в виду. Пора было работать. Я просигналил в «машинное», чтоб Эрих запускал дизель, и вспомнил об этих «духовных запросах», только когда вырубил ток и погасил прожектор. Костька мялся, увиливал. Я чувствовал это.

— Ты, Костька, на людей бросаешься. Умней других себя считаешь, вот что.

— А если так оно и есть?

— Ого!

— Зато откровенно. Можешь подбросить нашему комсгруппоргу тему для очередного комсомольского собрания.

Он говорил о Ленке. На днях мы избрали его комсгруппоргом. Ничего, справится.

Больше мы с Костькой ни о чем не разговаривали. Видимо, он понял, что я ему не поддержка. А я думал, что Костька рано или поздно снова сорвется. Нельзя жить с таким настроением.

Чтобы больше не разговаривать, я, выключая прожектор, уходил к Эриху. В «машинном» было тепло, даже жарко. Эрих был без куртки, в одной гимнастерке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами, чтобы не испачкать. И снова мне казалось, что это — вовсе не солдат, а артист, которого одели в солдатскую форму, и он здорово играет эту роль.

— Холодно, погреюсь у тебя.

— Грейся.

Он внимательно поглядел на меня, и я понял, что Эрих уже догадался обо всем. Странно, мне всегда кажется, что Эрих знает все. Может быть, потому, что он молчит, и разговаривать его трудно.

— Слушай, — сказал я. — Ты очень скучаешь по дому или не очень?

Он пожал плечами. Это могло означать: «Нелепый вопрос», или «Как сказать», или «Так себе». Понимай как хочешь. Я настаивал. Мне нужно было знать точно. Я знал все о себе самом. Конечно, солдат всегда скучает по дому. Ничего плохого в этом нет. Не скучал только Сашка. Тоже понятно. А Эрих?

— Мы люди, — сказал он.

— Об этом я и раньше как-то догадывался, — сказал я. — Ну и что из того, что мы люди?

— Человек над собой хозяин.

— Ты прямо скажи.

— Можно очень скучать. Можно не очень. Как скажешь себе.

— Гигант! — восхитился я. — Стальной человек!

Эрих промолчал. Конечно, это он здорово изрек. Значит, он собрался, как пружина, на два года, приказал сам себе — не скучать, и никаких проблем. Я даже любовался им.

— Ты нарочно закалял волю или так — само собой?

— Само собой. Без воли нельзя.

— А я закалял, — вздохнул я. — Однажды на крышу полез, на девятый этаж, и прошел по самому краю.

— Глупо, — сказал Эрих.

— Конечно, глупо. Сверзился бы — и в лепешку.

— Я тонул, — сказал Эрих, и мне показалось, что он оказался где-то далеко-далеко в своих воспоминаниях. — Мальчишка, лодку угнал... Пограничники спасли. Когда призвали на службу — попросился в пограничники.

Это было совсем другое дело! Значит, у него все в полном порядке.

А под утро случилась беда: сгорел держатель третьего электрода. Я побежал за Сырцовым. В кладовке мы перерыли все запасные части — держателя не было. Теперь придется зажигать дугу вручную. Хорошо, если держатели есть на заставе, — а если нет? Придется ждать, когда пришлют.

— Может, отлить заготовку? — неуверенно сказал я.

— А в чем расплавишь металл? В печке?

«Конечно,дохлое дело, — подумал я. — Конструкция держателя несложная, но для отливки нужна форма...» Сырцов угрюмо копался в ящике со всяким металлическим барахлом. Чего-чего там только не было — начиная от ржавых гвоздей и кончая старыми позеленевшими блеснами. Даже елочный «дождь». (Я на всякий случай вытащил его. Мама чистит таким «дождем» посуду. Очень удобно.)

— Погоди, — сказал я. — Где у нас напильники?

— Здесь. А что?

— Может, найдем какую-нибудь бронзовую болванку?

Сырцов понял. Он опрокинул весь ящик, и мы начали рыться вдвоем.

— А ты сможешь?

— Попробую, — сказал я. — Отец когда-то учил.

Колянич действительно учил меня работать с напильником. На нашем садовом участке был сарай-мастерская. Колянич все делал сам. А я вертелся возле него и просил «попробовать». Почему бы не попробовать сейчас?

— Вот, — сказал Сырцов. — Вроде бронза. Ты постарайся, Володька. Сам понимаешь.

Я провел напильником по темной поверхности металла, и вдруг из-под нее вырвалась яркая, совсем золотая полоска. Бронза! Верстак можно сделать запросто. Я соображал, чем просверлить отверстия для электрода и зажимного винта. Дрели у нас, конечно, нет. Попробую пробивать и растягивать круглым напильником.

Работать я ушел в «машинное» — там было и свободнее, и ребятам не мешал спать. Время снова как бы остановилось. Иногда открывалась дверь и входил то Сырцов, то Ленька, то Сашка Головня, то Эрих.

— Может, помочь?

— Сам.

— Вроде получается.

— Вроде.

Я работал со страхом. Вторую такую болванку не найти. Какое там «семь раз отмерь». Я отмерял по двадцать раз и только тогда трогал напильником мягкий, податливый металл.

...Металлическая пыль росла горкой. Вот так, по пылинке, я снял с бронзовой болванки все лишнее — и получился держатель. Теперь-то я видел, что он получился. Он был теплый, блестящий; я подбрасывал его на ладони и сам удивлялся тому, как, в общем-то, все это очень просто.

Устанавливал держатель сам Сырцов.

— Ничего, — сказал он.

— Все-таки рабочий класс, — согласился я.

— Ленька предложил: если получится — еще одну благодарность тебе объявить.

— Валяй, — кивнул я. — Или нет, лучше не надо. Лучше в следующий раз ты мне наряд вне очереди не сунешь.

— Ну, давай так.

— Спасибо, отец.

— Что?

— Спасибо, говорю.

— Считай, что труд оплачен, — улыбнулся Сырцов, — и я отменяю один наряд вне очереди.

Он протянул мне руку и больно пожал мою — пальцы-то все-таки были в ссадинах.

Я снова ходил праздничный. К поездке в город, и телефонному разговору, и заметке в газете прибавилось что-то еще очень приятное.

П и с ь м а

От Колянича

«Салют, сын!

После телефонного разговора сидели мы с мамой и сокрушались: столько надо было сказать, да оба растерялись и все забыли. Правда, мать открыла свой слезоточивый агрегат и мне пришлось закрывать его, на это ушло время. Ну а рассказать тебе хотелось вот о чем.

Ребята из твоей бригады первыми на заводе выполнили годовую норму. Это «подсчитали» только сейчас, и вся бригада в полном составе красуется на заводской Доске почета. Каждый раз спрашивают о тебе. Показал им вырезку из газеты, и, представь себе, никто не усомнился в том, что «т. Соколов» — это именно ты, хотя Соколовых на границе, наверное, несколько сот».

В т о р о е.

«Очень симпатичная девушка по имени Зоя. Мы сидели и даже выпили немного сухого вина за твоё здоровье. Разговор был очень интересный. Она спросила, по-прежнему ли ты «с фантазией». Мама сказала, что у тебя как раз очень мало фантазии. А я возразил: по-моему, ты набит ими до маковки! Зоя согласилась со мной. Потом она сказала, что ты очень бездумный. Мама начала с ней спорить. Я сказал, что это пройдет. Как, проходит? Ты уж меня не подводи, пожалуйста. А вообще нам понравилась девушка по имени Зоя.

Передай привет всем твоим товарищам. Готовим еще одну посылку, и я уже начинаю спорить с мамой — что присылать?»

От Зои (шестое)

«...Саша мне обо всем написал, даже с такими подробностями, что читаешь как повесть или рассказ.

И про тебя тоже, очень много и подробно. Напиши мне, пожалуйста, что он любит, и мы с девчонками соберем ему посылку ко Дню Советской Армии, а то обидно: все получают, а он — нет... Ладно?

У меня много работы. Сейчас ремонтируем всю улицу Воинова. Нагнали техники, остановили движение, а сроки очень короткие. Работаем весь световой день. Холодно, правда, но зато стараешься быстрее работать, и становится теплей.

Может, помнишь такую фамилию — Мшанский? Я звонила ему по твоему телефону, когда мы познакомились. Так вот этого Мшанского мы все-таки одолели. Я сама написала в райком партии, и к нам в Фасадремстрой пришел сам секретарь райкома. Было бурное собрание, и теперь Мшанского нет. Может, поэтому мы тоже так быстро и легко работаем. Приедешь — обязательно сходи на улицу Воинова. Она сейчас такая, как будто ее только что построили...»

Увезли Костьку...

Прошел февраль; в середине марта начались теплые дни, и снег осел. У подножий сосен образовались глубокие лунки. На скалах снег стоял, и камни стояли, поблескивая, как лакированные. Это была еще не весна, но уже и не зима. Впервые в жизни я с такой остротой чувствовал этот поворот в природе — просто потому, что в городе он почти неощутим и проходит незаметно.

Здесь я замечал все и радовался рдеющим ветвям краснотала, оживленным перестукиваниям дятлов на старых деревьях, а две синички, бог весть откуда взявшиеся здесь, вообще показались какой-то родней. Они все время вертелись возле дома, и Ленька вынес им кусочек сала.

Я видел: он тоже наслаждается и погодой, и поворотом на весну, и этими синичками. И Сашка, и Эрих, и сержант — тоже. В нас появилось что-то новое, чего я еще не мог определить словами. Мы раздевались до пояса и сидели в затишке, за баней, а солнце пекло — да-да, пекло по самому настоящему! — и на белых плечах Эриха сразу же выступили рыжие пятна веснушек. Мы словно бы купались в этом солнечном мире, впитывали его в себя; нам осточертели керосиновые лампы, февральские выюги и темень; мы срывались как

полоумные и устраивали бой в снежки, хохоча бог весть от чего. Один Костька не принимал участия в этой весенней вспышке радости.

Он ходил бледный, с ввалившимися глазами, и мы не сразу заметили это.

— По-моему, Костька болен, — сказал Ленька Сырцову.

— Он ничего не говорил?

— Надо спросить.

Он пошел к Костьке, я увязался за ним.

Тот лежал на своей койке, скрючившись, и поэтому казался совсем маленьким. Он и так-то невысокого роста.

— Ты заболел? — спросил Ленька.

— Нет.

— Два дня ничего не ешь.

— Ну и что? Я свое дело делаю, и оставьте меня в покое.

— Не рычи, — сказал я. — На кого сердишься-то? Если болен — сообщим на заставу. Чего у тебя болит?

— Ничего.

Костька тяжело поднялся и сел. У него даже лицо перекосилось — видимо, все-таки что-то болело. Я увидел под его глазами синие тени, как синяки после хорошей драки. А мы два дня ничего не замечали, да и он молчал.

— Ничего у меня не болит, и кончайте вашу заботливость. Не нуждаюсь.

Мы с Ленькой вышли и закрыли дверь в спальню. Пусть проспится. Бешеный какой-то. Пусть проспится, а ночью нам с ним в наряд, тогда и поговорю. Скорее всего захандрил парень, не выдержал, и теперь от него можно ждать всякого. Сырцов, когда мы рассказали ему о нашем разговоре, помрачнел.

— Я знаю, — сказал он. — Бывает такая хандра. Ничего, вылечим.

И сам пошел разговаривать с Костькой. Через несколько минут оба вышли из дома, и Костька взял лопату, которой мы расчищали снег. Такая широкая фанерная лопата с обитыми жестью краями.

— И мишени оборудуешь, — железным голосом сказал Сырцов. — Проверять буду сам.

Костька пошел, вскинув лопату на плечо, а нам все было ясно: схлопотал наряд вне очереди и отправился

расчищать снег на стрельбище. С этой недели мы начинаем стрелять. Где-то в мае должна быть проверка.

Сырцов был не просто мрачен. Я-то уж точно знал, что с ним творится, если он так выдвигает свой «ковшик экскаватора» — подбородок. Очевидно, и ему тоже Костька сказал какие-то не очень вежливые слова. Иначе с чего бы нашему отцу так разозлиться и дать Костьке наряд вне очереди?

— А вы чего стоите? — накинулся он на нас. — У вас что по распорядку? Работа на козлодроме, что ли?

«Козлодром» — это стол, за которым в свободное время мы «забиваем козла». Но сейчас у меня по распорядку — кухня, а Ленька должен сменить часового. И мы разлетаемся в стороны от этой сержантской выволочки. Когда Сырцов злится, лучше быть от него подальше — эту истину мы усвоили уже давно.

Итак, сегодня и всю неделю обед готовлю я. Фантазии у меня хватает ненамного. Макароны с тушенкой. Каша с тушенкой. Щи с тушенкой. Суп картофельно-крупяной, тоже с тушенкой. Компот из сухофруктов. К свиной же туше, которую привез старшина, я просто боюсь подступить. Черт его знает, что и откуда полагается резать, где там у нее сек, грудинка или кострец. Вот придет Ленькина очередь — пусть кормит нас по-человечески.

Сегодня тоже щи с тушенкой и «макаронные изделия», как написано на большой коробке. Наварю полную кастрюлю этих изделий. Просто мне не хочется чистить картошку. Терпеть не могу это занятие — чистить, выковыривать глазки, мыть... Ничего, схарчим и эти изделия за милую душу!

К обеду Костька не пришел. Объявил голодовку, что ли? Или скорее всего заработался. Снежку там, на стрельбище, — будь здоров; пока освободишь пятидесятиметровую полосу — намашешься лопатой, а снег мокрый, тяжелый, и Костьке, конечно, сейчас мучительно. Что-то, правда, беспокоило меня. Эти синяки под его глазами и то, что он пошатывался, было не очень-то хорошим признаком. Но я подумал: надо знать Костьку. Конечно, если б он заболел, сказал бы сразу. Еще бы! Попадет в город, в госпиталь. Я помню наш разговор на прожекторной. Ради этого Костька мог и симулировать. А если молчит — стало быть, просто плохое настроение, вот и все. Грызет сам себя и курит много. Ведь и накуриться

тоже можно до одури, до синяков под глазами и дрожи в коленках.

Уже темнело, надвигались сизые мартовские сумерки, а Костьки все не было. Через полчаса мы должны идти на прожектор. Я представил себе, что будет с Сырцовым, если Костька опоздает. Сержант спал, и я не стал будить его. До стрельбища недалеко, минут десять ходу, успею. Если бегом — и того быстрее. Я побежал. Видимо, от злости на сержанта Костька забыл о времени и вкалывает вовсю, чтобы успокоить расхолодившиеся нервы.

— Костька!

Было тихо, никто не отзывался. Я сбежал вниз, в распадок, где было наше стрельбище, и сразу увидел Костьку. Он лежал на боку, нелепо подвернув руку; лопата валялась рядом. Расчищено было совсем немного — метров десять на огневом рубеже.

— Костька!

Глаза у него были закрыты, и когда я начал расталкивать его, Костька застонал, но глаз не открыл. Стон у него был тяжелый, глухой — очевидно, ему стало больно. У меня тряслись руки, когда я поднимал его и взваливал на себя. Небольшой ростом, он оказался неожиданно тяжелым, и я с трудом понес Костьку, увязая в снегу. Надо было подняться из распадка, и я боялся поскользнуться и упасть. Костька давил на меня, как свинцовый, и, когда я поднялся наверх, по телу начали бежать струйки пота.

Ничего, здесь недалеко, дотащу. На ровном месте, конечно, тащить его было куда легче. Что с ним случилось? Не теряют же люди сознание просто так? Сколько он провалялся? Хорошо, нет мороза, температура плюсовая, а то вполне мог замерзнуть. Да и неизвестно еще, чем кончится это его лежание в снегу...

Я внес Костьку в дом, пинком отворил дверь, и она загрохотала. Сырцов выскочил из спальни, уставился на меня непонимающими глазами, и я прохрипел:

— Помоги же.

Мы опустили Костьку на его постель, не раздевая.

— Что с ним?

— Я не доктор. Валялся без сознания. Надо сообщить на заставу.

Сырцов начал одеваться, но я не стал ждать его. Сашка, наверно, в «машинном», у Эриха, больше ему быть негде. Эрих учит его, как обращаться с дизелем.

Бегом, бегом! Мне казалось, что без тяжелого Костьки на спине я смогу бежать. Но бежал я еле-еле и мешком ввалился в «машинное».

— Скорее, — выдавил я из себя. — Костьке плохо.

Мне надо было посидеть, отдышаться. Головня и Эрих убежали, бросив все. Я отдышусь и пойду. Что же все-таки с Костькой? Если ему было действительно так худо, почему молчал, да еще кидался на нас? А ему, значит, было действительно худо.

Но сейчас Головня выйдет на связь с заставой, и придут аэросани. Я отдышался и встал. Все-таки дурак он, Костька. Почему не хотел сказать, что ему худо?

Когда я снова вошел в спальню, ребята стояли возле него, и у меня все похолодело внутри. Вот так же мы стояли однажды в цехе, когда прямо у кузнечной плиты, не докончив работу, умер старый кузнец, дядя Федя. Но Костька не мог, не имел права умереть. Он был еще слишком молод для этого.

— Как он?

— Горит весь, — тихо сказал Сырцов.

— Сани вызвали? — Я мог бы не спрашивать об этом. В первой комнате на столе стояла раскрытая рация. Сырцов не ответил. Он стоял, морщась, как будто к нему тоже пришла боль, и вдруг сказал, не обращаясь ни к кому:

— Моя вина. Судить мало.

Надо было собрать Костькины вещи. Я принес пустую коробку из-под макаронных изделий. Вещей у Костьки было немного, и Эрих быстро сложил их в коробку.

— Головня, сменить Басова на вышке, — снова очень тихо сказал Сырцов. — Соколов с Басовым — на прожекторную, Кыргемаа — на дизель. Выполняйте.

Я еще раз поглядел на Костьку, и мне показалось, что веки у него дрогнули, но ждать, пока он откроет глаза, мы уже не могли.

Потом пришли аэросани, и я видел, как Сырцов несет Костьку, несет на руках, будто маленького ребенка. Издали трудно было определить, кто спрыгнул с саней и пошел навстречу Сырцову. Может быть, старший лейтенант. Во всяком случае, мне так показалось.

Сани ушли, а Сырцов все стоял и стоял там, за камнями. Я несколько раз врубал ток и освещал его маленькую на расстоянии фигурку. Наконец он пошел к берегу, и я знал, что он появится здесь, на прожектор-

ной, и что на душе у него сейчас тяжелее, чем у всех нас.

Вот похрустывает мокрый снег под его ногами. Вот он вошел в гараж.

— Почему ведете поиск не по инструкции?

— Брось, — сказал я. — Чего сейчас инструкцию-то вспоминать?

— Отставить разговоры! — рявкнул он на меня.

Мне стало обидно — зачем срывать злость на других?

Я работал молча. Хорошо, что у меня есть дело и не надо разговаривать. Открыл люк, застопорил противовес держателя третьего электрода (моего держателя!), начал вынимать остатки сгоревших углей.

— Плохо, — сказал Сырцов. — Медленно! — он все еще кипел. Но я снова промолчал. Не буду с тобой спорить. Знаю я тебя, отец, как облупленного. Плохо так плохо, медленно так медленно. — С завтрашнего дня начнем индивидуальную тренировку. Менять электроды надо за двадцать пять секунд.

— Это если на «отлично», — все-таки сказал я.

— Вот и будете так, — сказал Сырцов. Ну, если он обращается на «вы», дело совсем дрянь. Молчал я, молчал Ленька и вдруг после томительно-долгого молчания Сырцов сказал с такой тоской, что я невольно вздрогнул:

— Я, наверно, тоже скоро уеду.

— Куда?

— На парткомиссию должны вызвать, начальник заставы сказал. Переживу. Лишь бы с ним все было в порядке.

«С ним» — значило с Костькой.

Весна кончилась

Вернее, не весна, а наше ощущение весны — солнца, праздника, вертких синичек, проталин возле сосен, сосулек с крыши нашего дома. День стоял на редкость яркий, теплый; весна обрушивалась на нас, а мы не замечали ее и не радовались ей, как было еще вчера. Каждый из нас был в чем-то виноват перед Костькой, и мы плохо спали, совсем не могли есть, а Сырцов — тот вовсе не находил себе места. Он ушел утром. Сказал — расчищать снег на стрельбище. Он мог бы приказать это любому из нас, пошел сам. А мы искали работу

для себя, потому что это было немыслимо: сидеть просто так. Я решил протереть отражатели, хотя три дня назад это делал Костька. Мне надо было побыть одному. Потом я пойду на вышку, сменю Эриха и снова буду один. Наверное, этого хотел не только я, иначе зачем бы Сырцову было идти расчищать снег на стрельбище, Ленке — снова колоть и складывать дрова, а Головне — мыть полы?

«Может ли с Костькой случиться самое плохое? — подумал я. — Нет, должны вытащить, вылечить, медицина все-таки сильная наука. А если не вытащат?» Не мог даже представить себе этого и гнал от себя эту мысль, а она возвращалась снова.

Ну и что из того, что все мы когда-то умрем? Когда это еще будет! Но умирать сейчас, когда ничего, собственно говоря, не сделал, не узнал, — бред, нелепость, глупость, бессмыслица, и такого не может быть. Обидно, когда умирают люди. Зачем? Дурацкий закон природы, которая чего-то не додумала, не доделала. Но если уж так положено — надо прожить здорово: вот почему Костька должен выжить.

Из глубины гаража вышел Ленка. Очевидно, он уже кончил возню с дровами, и больше ему нечего было делать.

— Тебе помочь?

Мне не надо было помогать. Я тоже кончил свою работу. Можно было посидеть просто так. Я вытащил сигареты и спички.

— Дай закурить, — попросил Ленка.

Он был некурящий. Я смотрел, как он неловко держит сигарету, прикуривает, кашляет, отводя от дыма лицо.

— Зачем тебе это нужно? — спросил я. — Для солидности что ли?

— Помнишь, он меня телком называл? — не отвечая на мой вопрос, спросил Ленка, отворачиваясь. Но я видел, что он отворачивается уже не от дыма.

— Заткнись! — крикнул я. — Что вы все, с ума посходили?!

* * *

Если мы можем выходить на связь с заставой в любое время, застава вызывает нас в определенные часы. Ждем каждого разговора Головни с заставой. Три раза

в сутки обступаем стол, на котором стоит «Сокол», и смотрим на Сашку, пытаюсь по его лицу угадать — как там. Костьки на заставе уже нет. Его сразу же вывезли в город на вертолете. В сознание он так и не приходил. И по тому, как мрачен Сашка, мы уже знаем: ничего нового, ничего хорошего, а восемь часов спустя снова смотрим в его лицо.

У Костьки перитонит. Никто из нас толком не знает, что это такое, а началось все, оказывается, с простого аппендицита. Сырцов долго молчит, когда Сашка передает нам это и сворачивает рацию.

— Как же он терпел? — спрашивает Сырцов. — У меня тоже был аппендицит, так я на стенку лез.

— Зачем терпел? — спрашивает Ленька.

— А может, боялся, что мы не поверим? — спрашиваю я.

Само слово «перитонит» какое-то слишком страшное. Мы ругаем Сашку за то, что он не разузнал точно, что же это значит — перитонит. Но, наверно, очень паршивая штука, если парень теряет сознание, а на заставу срочно посылают вертолет. Не зуб вырвать.

Теперь наши сутки как бы поделены на три части по восемь часов каждая. Проходит день, второй. Мы уже знаем, что перитонит — это прободение кишечника и гнойное воспаление брюшины, и что операцию Костьке делали четыре с лишним часа, и что в общем-то пока все очень плохо. Но, во-первых, там не какие-нибудь фельдшеры, а настоящие врачи. Во-вторых, если понадобится, и профессора привезут на том же вертолете из Ленинграда. В-третьих, операция уже сделана, а раз сделана, значит, всякую дрянь из Костькиного живота вытащили и где было прободение — заштопали. Просто нам надо успокаивать себя и друг друга; эти доводы кажутся нам железными, и мы понемногу успокаиваемся.

И хорошо, что Сырцов гоняет нас в эти дни так, что время проносится совершенно незаметно. Стрельбы — раз; опять строевая — два; работа с техникой — три, и я просто не верю, когда он показывает мне, как надо менять электроды. Он делает это за двадцать секунд. Потом он гоняет нас на турнике, и хуже всех приходится Леньке. Он подтягивается только три раза, и на проверке как пить дать по физподготовке схлопочет столько же — тройку. Это не Эрих. Тот выдает восемнадцать и после этого еще улыбается, чуть бледнея от усталости.

Я подтягиваюсь девять, а все эти «солнышки», двойной переворот, «завис» и у меня тоже идут туговато.

«И все равно, — думаю я, — Костька с удовольствием бы поменялся. Пусть лучше Сырцов вынимает всю душу, чем валяться на больничной койке, да еще с такой подлой болезнью».

Сырцов безжалостен. Теперь для меня самое желанное — дежурить на вышке. Это днем.

Однажды на перила вышки уселась какая-то странная птица — яркая, с забавным хохолком. Я замер, боясь испугнуть ее. Птица сидела и глядела на меня круглым черным немигающим глазом.

— Эй, — сказал я. — Чего расселась? Отдыхаешь, что ли?

Птица повернулась на мой голос и уставилась в два глаза.

— Ты что — издалека? — Мне забавно было разговаривать с ней. Собственно, говорил-то один я, а она только крутила хохолком, прислушиваясь. — Как тебя звать?

Она стремительно сорвалась с перил и улетела, петляя между ветвями берез. Наверно, издалека, решил я. Зимой я не видел таких хохластых. Значит, весна.

Весна

В первых числах апреля начальник заставы привел к нам Ложкова. Они снова пришли на лыжах, и на Ложкове, что говорится, лица не было. Тепло, мокрый снег липнет к лыжам, и Ложков, конечно, проклинал про себя старшего лейтенанта за эту двенадцатикилометровую прогулку. Старший лейтенант провел с нами занятие — прочитал лекцию о международном положении, потом о чем-то долго толковал с Сырцовым и ушел обратно, на заставу. Ложков остался у нас. Я не понимал: какой нам от него прок? Ни с дизелем, ни с прожектором он не знаком, учить его — дело хлопотное, да и какие мы преподаватели. А сам Ложков, отдохнув малость и придя в себя, так и цветет:

— Ну, братва, заживем!

— Это почему же? — спросил я. — Может, у тебя скатерка-самобранка имеется, а? Давай не жмись, показывай.

Он захохотал и хлопнул меня по плечу.

— Остряк ты, как я погляжу!

Я не люблю, когда меня хлопают, и в свой черед хлопнул его — Ложков пошатнулся.

— Я реалист-материалист. Ясно?

Он снова захохотал. Ему было очень весело почему-то. Но больше он меня уже не хлопал. Он сел на Костыкину койку и попрыгал на ней.

— Значит, этот припадочный здесь лежал? Ничего, мягко.

— Это вы о ком? — спросил Сырцов, заглядывая в спальню. Ложков потыкал большим пальцем за окно:

— Ну, о том, которого на вертолете уволокли. Я слышал — чуть не загнулся было.

Сырцов вошел в спальню, а я сел — нога на ногу, будто в первом ряду партера, потому что вот сейчас начнется действие, и я с удовольствием, с наслаждением посмотрю его от начала и до конца. Но действие началось очень медленно, очень медленно начала выдвигаться челюсть Сырцова, и сказал он тихо, так, что во втором ряду партера, наверно, уже не расслышали бы.

— Встать!

Ах, Ложков, до чего же мне жалко тебя! Сейчас ты получишь такую выволочку, какая, наверно, не снилась тебе в самых плохих снах. Ты-то подумал, поди, что наш Сырцов — просто вежливый человек, ежели обращается к тебе на «вы». Ах, Ложков, корешок, братишечка, зачем же ты улыбаешься и не встаешь, когда была команда «встать»? Зря ты так — или не расслышал?

— Встать!

Расслышал. Понял. Встал. Только зачем же улыбаться сейчас: или не чувствуешь, что сержант не сержант вовсе, а раскаленная железяка?

— Ты что, шумнуть на меня решил? Не надо, сержант. Я шума не люблю.

— Вот что, — сказал Сырцов. — Это койка нашего товарища рядового Короткевича. Поняли? Повторите.

— Ну брось ты, сержант! — хмыкнул Ложков. — Давай так: по службе — одно, по дружбе — другое. И не будем ссориться для знакомства.

— Повторите, — приказал Сырцов. — Чья эта койка?

— Эй, — повернулся ко мне Ложков, — подскажи, а?

— Рядового Короткевича Константина Сергеевича. Имя-отчество запомнить легко. Как у Станиславского.

— Отставить, — рявкнул на меня Сырцов. — Ну?

— Койка рядового Короткевича.

— Так вот, Ложков, — еле сдерживая себя, сказал сержант. — Это наш товарищ. Усвоили? А не какой-то припадочный, как вы сказали. Он выздоровеет и вернется сюда, но вы — вы лично! — заменить его не можете. Вас прислали для того, чтобы не заменить Короткевича, а помочь всему личному составу расчета. Здесь народ дружный и вашей расхлябанности не потерпит.

Ложков сделал удивленное лицо и прижал руки к груди. Это он-то расхлябанный? Да кто мог возвести на него такой поклеп? Сырцов перебил его:

— Сколько у вас взысканий?

— Точно не помню.

— А по-моему, ими уже комнату можно оклеить, — сказал Сырцов.

И мне стало грустно. Значит, этого Ложкова к нам прислали на перевоспитание? И будем мы с ним мучиться, будем ругаться, вытряхивать дурь, тратить на него свои нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. Конечно, у старшего лейтенанта свои соображения.

Когда Сырцов вышел, он спросил:

— Сердитый мужик, да?

— А ты его не серди. Помнишь, ты мне сказал: «Солдат спит — служба идет». Этого у нас не любят.

Он покосился на меня и хмыкнул:

— Ну да, не любят! Рассказывай бабушке! Где это видано, чтоб солдат не сачканул при первой возможности? И этот ваш Станиславский, наверно, тоже больше придуривался, чем на самом деле болел.

— Слушай, Ложков, тебя отец часто драл?

— Не очень.

— Жаль, — сказал я. — Это заметно. Очень жаль!

Больше мне не хотелось с ним разговаривать. Поймет что к чему — хорошо; не поймет — ему же будет плохо. А я здесь ни при чем, и говорить нам больше не о чем.

Письма

От Зои (девятое)

«Здравствуй, Володя! Вот и весна пришла. В Ленинграде уже совсем нет снега, а вчера прошел дождь. Но это к слову, потому что я не люблю говорить о погоде. О ней говорят, когда больше не о чем.

Я пишу тебе посоветоваться: как мне быть дальше? Конечно, Ленинград — это здорово, и работа у меня хорошая, но все время живу с ощущением, будто мимо меня проходит что-то очень важное, а может быть, даже главное. Как будто я стою в стороне, хотя понимаю, что это не так и что моя работа тоже нужна в Ленинграде. Но...

Сейчас всюду говорят и пишут про КамАЗ. Читал? И вот я задумалась: может, именно там мое Самое главное? Некоторые ребята — строители, которые покрепче и которые не считают, что жить надо «обязательно в Ленинграде», уже поехали туда, на КамАЗ. Я получила от них письмо — зовут. Строительство там огромное, и отделочники очень нужны.

Конечно, не так просто сорваться с места, оставить бригаду и уехать. Тут надо все решить для себя по совести, а друзья могут помочь в таком решении. Что скажешь ты?

Спасибо за подробное письмо, в котором ты рассказал о жизни Саши. Я понимаю, почему он не хочет после службы возвращаться домой, и написала ему, что место для него найдется всюду, на том же КамАЗе. Вообще, конечно, парня здорово жалко, что у него такая неудачная судьба, но он теперь сам ее полный хозяин. Может быть, напишете мне вместе?..»

Мое — маме и Коляничу

«Салют, родители!

Что-то не радуете вы меня своими письмами. Понимаю, что Колянич замотан, а у мамы привычка сваливать обязанность писать мне на него. Очевидно, после этого письма будет большой перерыв, пока не сойдет лед и не начнет ходить катер. Так что не волнуйтесь, если долго не будет писем.

У меня все в порядке. Жив и вполне здоров. В Ленинграде в такую погоду обязательно бы подхватил насморк, а здесь сидим голые до пояса на солнце, обтираемся последним снегом — и ничего.

Есть у меня к вам дело, очень важное.

Вчера вечером нам передали, что у нашего сержанта Сырцова родилась сестренка. Сам он старший, есть четверо братьев, и все они думали, что будет шестой брат, а родилась девчонка, и мы скинулись, кто сколько мог, на подарок. Так что вместе с письмом получите пе-

ревод на 47 рублей, и я прошу маму купить для сестренки, что положено. Мама, наверно, знает. Отослать нужно по адресу: Коми АССР, Березовский леспромхоз, Сырцовым. И положить красивую открытку с надписью: «От солдат-пограничников расчета сержанта Сырцова. Расти, сестренка, большая, здоровая и хорошая».

* * *

Правильно поют: «Мне сверху видно все...» Сверху, с вышки, весна была заметнее. Синие тени лежали в лесу; снег сползал с нашего острова, и на склонах уже виднелась земля со смятой прошлогодней травой. Ночью мы слышали какие-то гулкие удары — сейчас, на вышке, я понял, в чем дело: ветром разломало лед, и это гремели, сталкиваясь, тяжелые льдины. Сырцов предупредил, что должны начаться штормы и чтобы мы были готовы. В прошлом году, оказывается, с нашего дома сорвало крышу. Будто шапку скинуло. Хорошенькое дело! Особенно весело в такую погоду будет здесь, на вышке.

Я видел, как медленно ползут разломанные льдины. Это было похоже на какой-то прощальный танец. Только у берега лед еще лежал прочно, но и эта прочность была кажущейся: он был в трещинах и цеплялся за прибрежные камни.

Перед домом на чистой от снега поляне Сырцов проводил строевую. Я не слышал команд, слова относилось ветром. Но видел, как терзает сержант ребят. Отрабатывает шаг, повороты, перестроение. Эта весенняя проверка будет для него последней. Он — «дед»; в мае придет приказ министра обороны, и Сырцов начнет собираться в свой Березовский леспромхоз. Кого-то пришлют вместо него?

А пока он особенно терзает Ложкова, и это понятно. Точно так же поначалу он вел себя со мной. Не могу сказать, чтобы тогда мне это очень нравилось. Ложкову тоже не нравится. Вчера он при всех грохнул сержанту: «Чего ты из себя начальство корчишь? Такой же, как и мы, а корчишь на рупь двадцать». Сырцов медленно обвел нас глазами. Это было за обедом. Мы одновременно отложили ложки. Я подумал, что на второе у нас будет отбивная из Ложкова. Эх, нельзя пошутить вслух, не та обстановка!

— Вот что, Ложков, — сказал, краснея, Ленька. —

Раз уж ты к нам попал, живи, как мы. Ведь иначе-то худо будет только тебе одному.

— Темную сделаете? — поинтересовался Ложков.

— Разговаривать с тобой не будем, — сказал Сашка.

— Усек? — спросил я.

Станный он человек, Ложков. Любит хлопать по плечу и обращаться не иначе, как «эй, друг». Сунулся было к Эриху, а тот спокойно ответил: «Подождать надо». Ложков улыбался, не понимая — чего подождать? «Дружбы», — коротко отрезал Эрих и пошел прочь, а Ложков по инерции продолжал улыбаться ему вслед.

Да, Эрка прав. Мы еще не называем Ложкова по имени, а только вот так — Ложков. И когда мы скидывались на подарок сестренке, он не дал ни копейки. «Откуда у меня деньги? Солдату они ни к чему». Ну, на нет и суда нет. Хотя, наверно, какие-то рубли у него все-таки водятся. Пожадничал или не захотел давать именно для Сырцова?

...Там, внизу, на поляне, Сырцов гоняет Ложкова, и вовсе не потому, что он зол на него, а потому, что у Ложкова все получается хуже, чем у других. Он весь какой-то тюфякообразный. Идешь рядом с ним в строю, а он заваливается на сторону, толкается, сбивает шаг. Из-за него приходится повторять снова и снова. Как будто бы его ничему не учили ни на учебном пункте, ни на заставе. Или он здорово сачковал? У нас это не пройдет, каждый на виду, и здесь быстро выскакивает наружу все, что в ком есть.

Мне нельзя долго глядеть вниз: не дай бог, Сырцов заметит, что я люблюсь на строевую. Я берусь за ручки биноклярной трубы, и в оптике — совсем близко, так близко, что, кажется, можно дотронуться рукой, — льды, льды и льды. Разорванные, торчком стоящие, наваливающиеся одна на другую льдины и ничего больше. По ним не пройти, их не объехать. Кто рискнет сунуться через эти смертельные льды?

Я написал Зое отчаянное письмо. Просил ее не уезжать. Но, наверно, она все-таки уедет. Сашка сник, когда я сказал ему, что Зоя собирается на КамАЗ. Ему-то чего сникать? Он ведь ее даже в глаза не видел. Ну, будет получать письма из Набережных Челнов, а не из Ленинграда — какая ему разница? Я же чувствовал, что Зоя уезжает от меня, вот в чем штука. На КамАЗе полно парней, это уж как положено. Вы-

скочит Зойка замуж и сообщит мне: поздравь и пожелай счастья! Привет! Почему же она волновалась, когда от меня не было писем, даже приходила домой, к моим?

— Значит, такой у нее характер, — сказал мне Сашка, когда я выложил ему все эти соображения.

Мне от этого не стало легче. Плохо быть однолюбом.

Конечно, у Зойки характер — будь здоров! Я даже представил себе, что она скажет подругам, получив мое письмо. «Если хочешь поступить правильно, — скажет она, — выслушай мужчину и поступи наоборот». Я был уверен, что она уедет, а моего совета она спрашивала просто так, для приличия. Или чтоб не расстроить сразу этим известием. Ну и на том спасибо.

То, что Зоя уедет, и то, что я, выходит, нужен ей только как товарищ, — все это мучило меня. Впрочем, она же давно мне сказала, чтоб я ни на что не рассчитывал. Мы друзья — вот и все. А мне нужно другое. «Может быть, — подумал я, — даже лучше, если она уедет. Не буду так переживать из-за неразделенной любви. Пусть едет! Пусть выходит за какого-нибудь знаменитого крановщика или бородатого топографа». Я распалял себя злостью — и не злился. Я не мог злиться на Зойку. Разве она виновата в том, что не сумела влюбиться в меня?

Пришла смена — взмыленный, усталый Сашка, я отдал ему тулуп и спросил:

— Ну как?

— Тебе повезло, — ответил он. — Сегодня наш перестарался.

— Воспитывал Ложкова, а заодно и вас?

— Ложков послал его подальше и ушел.

— Что?

— Послал и ушел, — повторил Сашка.

— Теперь ему будет.

— Плевал он на взыскания. Ну и подарочек!

Я быстро спустился по узкой железной лестнице. Да уж, подарочек. Мне надо было спешить. Я боялся, что Сырцов может не сдержаться. Я должен быть рядом, чтоб помочь Сырцову сдержаться. Конечно, там Ленька и Эрих, но Эрих промолчит, а Ленька будет краснеть и говорить какие-нибудь стопроцентно правильные слова, которые Ложков впустит в одно ухо и выпустит из другого. У него в таких случаях сквозная проходимость.

Картинка, которую я застал, была живописной. Нарисовать такую и назвать — «Надежды нет». Ложков сидел, развѣлясь, у окна, Сырцов стоял, упершись руками в стол, как докладчик, — не хватало графина с водой и красной скатерти. Эрих прислонился к дверному косяку. Ленька присел в углу, подперев щеку, с такой физиономией, будто у него разболелись все зубы сразу. Когда я вошел, никто даже не взглянул на меня.

— Ну? — спросил Сырцов.

— Не запряг — не понукай, — ответил Ложков. — Я тебе не лошадь. И не подопытный кролик. Чего ты на меня одного взъелся?

— Ну, что еще?

Ложков повернулся ко мне, словно обрадовавшись свежнему человеку, у которого можно найти сочувствие.

— Ты же видал, как он одного меня гонял? Ну, по-честному, видал? Это как — справедливо?

— Конечно, несправедливо, — сказал я и увидел, как просиял Ложков. Надо было выждать маленько. Надо было, чтоб и Сырцов, и Ленька, и Эрих все-таки взглянули на меня, черт возьми! — Совсем несправедливо, что он один тебя гонял. Хуже будет, если мы все начнем тебя гонять, парень.

— А, — сказал он. — И ты туда же.

— Туда же, — кивнул я. — Пойдем.

— Куда еще?

— А на улицу, — сказал я. — Мне с тобой заняться охота. Я ж на вышке четыре часа проторчал. Замерз, понимаешь. Разогреться надо.

Сырцов усмехнулся, если можно назвать усмешкой чуть растянувшиеся губы. Нет, никакой строевой сегодня больше не будет. Ложкову два наряда вне очереди. Мне и Эриху — отдыхать. А он с комсгруппоргом сядут писать родителям Ложкова. Это уж крайняя мера. Пусть отец Ложкова ответит, что он думает о сыне.

Вдруг Ложков тихо сказал:

— Не надо.

— Он ведь, кажется, тоже солдатом был?

— Да. Не надо писать. Он... он больной. Ладно, ребята, ну, психанул я... Ты меня извини, сержант. Только писать не надо.

Я остановил Сырцова.

— Отдохну потом. Ты посиди, чайку попей. А стро-

ево́й я сам с Ложковым займусь. Так сказать, в порядке самоподготовки.

— Идем, Ложков.

Он встал и послушно поплелся за мной. Я поглядел на вышку. Головня, перегнувшись через поручень, так и уставился на нас, пытаюсь сообразить, что же произошло и почему я, рядовой Соколов, гоняю рядового Ложкова.

Строгий с занесением

Всю ночь лил дождь. Он прекращался на несколько минут, а потом начинался с новой силой. Мы измучились на прожекторной. Плащи промокли и весили по пуду, не меньше. Дождь был ледяной, мы замерзли так, как не мерзли всю прошедшую зиму. Можно было сто раз проклинать эту погоду — но ничего нельзя было изменить. К рассвету мы дрожали, как щенята. Не сгибались замерзшие пальцы. Я вообще не чувствовал их. Тогда, когда пришлось прошагать двадцать с лишним километров, и то было легче. Мы правильно сделали, что послали Леньку на дизель. Он бы не выдержал, наверное. Даже Эрих — и тот скис к утру.

Утром мы вкатили прожектор в гараж, и на это, должно быть, ушли последние силенки. Спать, спать, спать!.. Переодеться и спать. Но, оказалось, надо было еще растопить печку: за ночь из дома выдуло все тепло. Пусть топит Ленька. Он-то сухой и всю ночь маялся от жары. Когда работает АДГ, в «машинном», как в пустыне Сахара.

Мне положено всего четыре часа отдыха. Потом нужно снова идти в гараж и приводить в порядок прожектор. Просто моя очередь. Я проспал бы, наверно, сутки, и, когда Ложков разбудил меня, проклинал его на чем свет стоит. Просыпался с таким трудом, будто у меня вместо головы была чугунная гудящая болванка. Спать, спать... Эти четыре часа не принесли облегчения — наоборот, лучше бы вовсе не ложиться, чем проснуться таким разбитым.

— Давай, давай, двигай, — радовался Ложков.

Ему-то что. Он дрыхнул себе всю ночь, и даже не удосужился печку протопить — не его очередь. Ночью его не посылают даже на вышку. Он просто не умеет «идти» за лучом. Днем — другое дело.

Дождь не кончался, а мой плащ не высох. Пришлось

надевать на себя этот пуд. В сапогах тоже было болото, теплые портянки не спасали — простуда обеспечена, хотя утром Сырцов приказал нам принять аспирин. Вот бы сейчас сюда мою маму. Вот бы кто ахал и «принимал меры».

Конечно, Сырцов мог бы изменить распорядок ради такого случая и не заставлял меня работать. Ничего с прожектором не случилось, если бы я занялся им на несколько часов позже. Не заржавел бы. Он и так уже был сухой. Я проверил держатели, сменил электроды, осмотрел контакты — все в порядке. На всякий случай потер кожух сухой тряпкой. Все! Хватит с меня. Сегодня пятница — банный день. Буду париться, пока не выгоню из себя всю дрожь. Видимо, я все-таки простыл: губы потрескались и болели, а сухой кашель так и раздирал горло. Да, мама сразу уложила бы меня в постель, вызвала врача, поила теплым молоком и чаем с малиной и заставила надеть носки с насыпанной туда сухой горчицей. Забавно живут люди на гражданке.

Дождь перестал только к вечеру; он смыл с острова остатки снега, было непривычно видеть голую землю и лужи, в которых плавали прошлогодние листья. После бани мы пришли в себя, даже Эрих повеселел и что-то напевал под нос, разглаживая здоровенным «угольным» утюгом брюки. Он пижон, Эрих. Зачем ему понадобилось гладить брюки? Высохли — и то хорошо! Нет — ему складочка нужна! Будто на танцы собирается, а не на службу. И брюки-то у него такие же, как у нас — б/у, бывшие в употреблении. Пижон! И пахнет от него «Элладой», как от хорошего парфюмерного магазина.

Странно: я ведь даже не знаю, есть ли у него девушка. Наверное, есть. Мы никогда не говорили об этом.

— Эрка, ты на свидание, что ли?

— Да. В самоволку.

— Как ее зовут?

— Марта.

— Рыбачка?

— Учительница. Будущая.

Он отвечал охотно, я даже немного растерялся — вот тебе и молчун! Он словно бы ждал, что кто-нибудь спросит его об этом, молчун несчастный! Полгода его никто не спрашивал, а он молчал, хотя, наверно, самому ужасно хотелось рассказать, что у него есть Марта,

будущая учительница. Студентка, что ли? Да, студентка.

— Эрка, а я ведь о тебе кое-что знаю.

— Что?

Я оглядел своих ребят. Все сидели красные, распаренные, разомлевшие. В самый раз рассказать. Ну да, конечно, он же из того самого анекдота. Он до пятнадцати лет вообще ничего не говорил. Родители уже смирились было: немой... А однажды в жаркий день все пили холодное пиво, и тогда Эрка сказал: «Мне тоже». Родители даже испугались. «Эрих, сынок, почему ты молчал пятнадцать лет?» — «Надобности не было», — ответил он.

Ребята смеялись, Эрих улыбался. Складка на его брюках была острой, как лезвие. Сырцов тоже взялся за утюг, и я ехидно спросил его, почему он раньше не гладил свои брюки.

— Надобности не было, — серьезно ответил Сырцов.

А через полчаса хорошего настроения как не бывало. Поначалу все происходило обычно: мы выкатили прожектор, сняли чехол. Ленька «мигнул» в «машинное» — пустить дизель, я врубил ток, и тогда раздался резкий короткий треск. Прожектор не зажегся. Еще ничего не понимая, Сырцов повернулся ко мне и спросил:

— Что у тебя?

— Замыкание, — сказал я, холодея. Ничего хуже произойти не могло. И в том, что произошло, была только моя вина. Это я сообразил сразу.

На прожекторе контактные кольца расположены внизу, и, если туда попадает влага, происходит замыкание, сгорают щетки и кольца. Я обязан был вынуть пробки, слить воду — и не сделал этого. Теперь придется перебирать секции. Работы часа на четыре или пять. Это значит, что четыре или пять часов мы не будем просматривать границу.

Сырцов вынул пробки — хлынула вода.

— Так, — сказал Сырцов. Больше он ничего не сказал. Ленька глядел на меня тоскующими глазами. Ему было жалко меня. Сырцов подумал о чем-то и ушел. Сейчас Сашка Головня вызовет по рации заставу, а Сырцов доложит, что у нас ЧП. Он обязан доложить о нем, и по чьей вине это ЧП — тоже.

Но даже если бы Сырцов захотел скрыть аварию и выручить меня, он не сможет сделать этого. На заставе все равно увидят, что прожектор не работает.

Ленька тронул меня за плечо.

— Как же ты?

Что я мог ответить ему? Что устал, что не выспался, что хотелось скорее в тепло, в дом, что думал совсем не о деле. Так оно и было, и незачем выкручиваться. Я и не собирался выкручиваться. Мне, конечно, дадут на всю катушку, но дело не в этом. Дело в том, что пять часов мы не будем просматривать границу.

...И вот мы сидим — все, кроме Ложкова, который сейчас на вышке. Сидим за столом, и я — отдельно от всех. Я смотрю на Ленькин хохолок и вижу только его. Хохолок у Леньки точь-в-точь такой же, как у той птицы, которая недавно прилетала на вышку. Но у Леньки он сердитый и топорщится, когда Ленька открывает комсомольское собрание.

— На повестке дня один вопрос, — доносится до меня. — О халатности рядового Соколова. Есть другие мнения?

Других мнений нет.

— Доложи, как было дело?

Я встаю — они сидят. Они сидят мрачные, снова уставшие до чертиков, потому что секции мы перебрали не за четыре и не за пять, а за семь часов. Семь часов работы без единого перекура! И мне нечего докладывать, они великолепно знают сами. Ленькин хохолок торчит и дрожит, или это мне кажется, что дрожит.

— Может быть, у тебя есть какие-нибудь оправдания?

Я машу рукой. Какие еще оправдания?

— Но ведь ты не мог забыть, чему нас учили?

— Значит, забыл.

— А вот это не оправдание, — говорит Эрих. — Ты не мог забыть. Не имел права.

— Не имел, — соглашается Сашка. Молчит только один Сырцов, но лучше бы он тоже что-нибудь сказал. Мне было бы легче.

— Ты-то сам понимаешь, что произошло?

Это снова Ленька. Зачем он спрашивает об этом? Как будто сам не знает, понимаю я или мне все до лампочки?

— Погоди, — наконец-то говорит Сырцов. Он не встает, он только смотрит на меня снизу вверх, а я не могу поглядеть ему в глаза. — Я думаю, Соколов понимает, и это уже хорошо. Но мы тоже должны понять, что простить ему за красивые глазки не можем. Тут

все слова на своем месте стоят. Была халатность? Была. Семь часов границу не смотрели.

— Это еще не все, — говорит Ленька.

Я снова разглядываю его хохолок: что же еще я на-творил? Хватит и этого. Но у Леньки все расписано. Семь часов работал дизель, потому что нам был нужен свет, и у нас перерасход горючего. Комендант участка приказал выслать на охрану границы усиленные наряды — стало быть, сколько солдат было задействовано в эту ночь из-за меня.

— Понимаешь, твои же товарищи, вместо того чтобы отдыхать, несли службу, — и все потому, что тебе самому хотелось выспаться!

Кажется, все. Больше говорить не о чем. «Ну, скорее же, скорее кончайте», — думаю я. Эрих поднимает руку, как школьник на уроке, и Ленька кивает: давай.

— Как имя твоей матери? Как девушку твою зовут? Помнишь? А где ты служишь — забыл?

Мне хочется крикнуть им, что ничего я не забыл. Не склеротик же я какой-нибудь, хватит мучить меня, я и так уже измучился сам. А тут еще Сашка — тоже хочет высказаться. Никто же не просит его высказываться! Что я, Ложков, что ли, чтобы меня растаскивать по кускам?

— Хуже не придумаешь, — говорит он, а мне кажется, что его голос доносится из другой комнаты. — Оставил границу без глаз. Скрывать не буду. Сырцов всю вину взял на себя. Так и велел доложить начальнику заставы: не обеспечил проверку ухода за техникой.

— Это к делу не относится, — резко обрывает его Сырцов.

— Нет, относится. Ты решил выгородить товарища, пусть это знают все, и он в том числе.

— Я его не выгораживал. Я на самом деле не обеспечил проверку — факт же! И должен за это отвечать.

Ах, Сырцов, на кой тебе это? Ведь тебя-то не на комсомольском, тебя на партийном собрании будут чехостить! И на парткомиссию тебя еще должны вызывать — за Костьку, а ты еще выгораживаешь меня.

— Все высказались? — теперь Ленька встает. В руках у него листок бумаги, и этот листок тоже дрожит, как хохолок на Ленькиной маковке. — Предлагаю проект решения...

Его голос тоже доносится до меня как бы из другой

комнаты, из-за закрытых дверей; я улавливаю только отдельные, не связанные между собой слова.

— ...допустил халатность... что привело к порче вверенной ему... комсомольское собрание... строгий выговор с занесением в личное дело... Кто за это предложение, прошу голосовать.

Поднимают руки все. И я тоже поднимаю свою руку. Я имею право голосовать за это наказание — не мне, а тому рядовому Соколову, который вчера допустил преступную халатность. Потому что сегодня рядовой Соколов в чем-то уже другой — вот только совсем ни к чему этот комок в горле, который никак не проглотить рядовому Соколову.

Весна (продолжение)

Мы можем подолгу стоять на камнях, подняв голову и не сводя глаз с неба. Началось чудо. Оно началось ночью, когда я, проснувшись, услышал какие-то трубные голоса и выскочил на крыльцо. В темноте ничего не было видно, но трубные голоса раздавались сверху. День и ночь, день и ночь над нами летят утки, маленькие чирки и большие, с белыми подкрыльями, крохали. Тянут дикие гуси — это их клики я услышал ночью. Журавлиный клин рассек небо и скрылся вдали, а жаль — мне хотелось бы поглядеть на журавлей поближе, но им, наверное, нужны болота, а у нас на острове — камни да мхи... Потом пролетели лебеди: будто надвинулось белое облако и растворилось за горизонтом. Они кричали радостно и победно, словно уже видели оттуда, сверху, места своих гнездовий и спешили — скорей, скорей, отдохнуть после нелегкого пути и дать новую жизнь таким же красавцам, как они сами... Скорей, скорей!

Усталые стаи опускались на воду возле острова, совсем близко, а потом птицы словно бы начинали бежать по воде и снова поднимались ввысь. Скорей, скорей! Я видел с вышки, как по льду, который еще лежал между прибрежных камней, крадется к стае лиса. У нас на острове есть лиса! Я крикнул — и стая поднялась, а лиса повернула свою, остроносую мордочку и долго глядела на меня, словно недоумевая, зачем я оставил ее без обеда. Ничего, лучше лови мышей, рыжая!

И еще радость — пришел катер...

П и с ь м а

От Зои (десятое)

«Дорогие мальчики! Опять от вас долго ничего нет, но я уже не очень волнуюсь. Знаю, как вам служится, и потому не только не волнуюсь, но и не сержусь.

Я еще в Ленинграде. Никак не отпускают меня на КамАЗ! Хожу, спорю, даже ругаюсь. По закону я имею право уйти с работы, но меня уговаривают остаться хотя бы до осени. Не знаю, удастся ли уехать раньше. В райкоме комсомола даже прочитали целую нотацию, но потом сказали, чтобы подготовила вместо себя бригадира — тогда разрешат ехать».

(Молодцы там, в райкоме! Впрочем, уж если Зойка вбила себе в голову, что должна уехать, это прочно. Что изменится для меня, если она уедет не сейчас, а осенью? Ничего.)

От Колянича

«Дорогой Володька! Во-первых, поздравляем тебя и всех твоих друзей-пограничников с праздником: Первомаем и Днем Победы. Вот уже почти год службы у тебя позади. Но долг, выполненный наполовину, — это еще не весь долг.

Дома все в порядке. Ну а чтобы много не писать, я пошел на хитрость и прилагаю письмо от твоей бригады...»

От ребят

«Здравствуй, старик!

Мы и ахнуть не успели, как ты уже отслужил почти год! Извини, что не писали: работенки, сам знаешь, хватает. В цехе у нас новое начальство и новые идеи. Но, кроме идей, существуют месячный, квартальный и годовой планы — если ты не забыл... Вот и даем план так, что дружно красуемся на Доске почета.

Сейчас горячие деньки. Варим сложные конструкции: деталька тонн на двадцать! Таких ты еще не пробовал.

Новостей за год, конечно, накопилось, но вкратце так.

Борька кончает техникум и становится нашим непосредственным начальством.

Валерку мы женили. Помнишь крановщицу Лиду из

пятого цеха? У Валерки оказался отличный вкус, но что в нем увидела Лида, нам до сих пор не совсем понятно. Сенька сдал на пятый разряд и теперь маэстро. Тоже собирается обзавестись семьей, но пока ходит на танцы в наш ДК и пленяет девушек огромным, самым модным галстуком в красно-желтых пятнах. Что-то никто не пленяется. Не повесишь же на шею объявление: «У меня пятый разряд!»

Виктор в отпуске, укатил в Сочи и пишет, что уже купался. Может, врет, а может, и на самом деле выкупался в ванной с дороги.

Как твои дела? Написал бы нам...»

От Костьки

«Володя!

Почему я пишу тебе, а не вам? Потому, наверно, что перед тобой я виноват больше, чем перед другими, и еще потому, что все-таки именно мы до известного времени были более близкими товарищами. Потом мне рассказали, что это ты нашел меня на стрельбище и приволок домой. Спасибо. Впрочем, наверно, за это не положено благодарить, и ты только обидишься.

Что сказать про себя? Вот очнулся, и дело пошло на поправку. Лежу и все время вспоминаю, думаю...

Ты, наверно, спросишь, почему я молчал, не говорил, что мне плохо, и еще ругался, когда вы ко мне приставали? Честно говоря, я чувствовал, что отношение ребят, и твое тоже, ко мне здорово переменялось. И я подумал, что вы мне все равно не поверите, скажете, что я филоню и придуриваюсь. Думал, что живот поболит и перестанет. Терпел честно, но там, на стрельбище, почувствовал такую боль, что перед глазами пошли круги, и больше ничего не помню. Очнулся уже после операции и долго не мог сообразить, где я.

Вот за это прошу всех ребят простить меня.

Лене Басову и сержанту Сырцову я на днях напишу отдельно. Оказывается, это очень паршивая штука — сознание своей вины. Но, честно говоря, мне легче уже потому, что понял это.

Вообще я лежу и думаю о том, что многое делал не то, что нужно.

Доктор, который меня лечит, сказал, что я родился в рубашке и что меня вытащили за ногу с того света. Мог бы загнуться и кем бы тогда остался в вашей па-

мяти? Поверь честному слову, я сейчас не красуюсь, а говорю все так, как есть.

Вообще очень прошу по старой дружбе писать хоть изредка. Я все время вспоминаю наш остров, и прожекторную, и всех ребят. Дорого бы дал, чтобы не валяться вот так в городе, а быть снова с вами...»

Я знал: Костька не врет. Я-то давно простил ему все. Подумаешь, великое дело! Нет, не врет. Сам дошел до всего, своим ходом. А к нам он все-таки уже не успеет вернуться...

* * *

На катере была не только почта. Опять Эрих и я возили на берег канистры, ящики и коробки — «запаску» к технике и консервы, опять не без страха виляли между камней, и опять на катере приехали офицеры: начальник заставы и с ним еще один незнакомый нам старший лейтенант. И началась трудная жизнь. Стрельбы. Строевая. Физподготовка (даже Ложков ухитрился подтянуться пять раз). Работа с прожектором. Разбор. Старший лейтенант сразу увидел, что держатель третьего электрода не стандартный, не заводской, и долго крутил его в руках.

— Сами делали?

— Так точно. Вот рядовой Соколов сделал.

— И работает.

— Три месяца.

Старший лейтенант удивленно глядел на мою работу, будто это был какой-нибудь скифский черепок. Потом он приказал провести запытие и встал в стороне с секундомером. И опять удивленно глядел на свой секундомер. Мы умели работать, и лучше бы он удивлялся, глядя на нас. Мы меняли электроды за двадцать пять секунд. Запускали дизель за минуту. Что бы вот так же было на проверке! Но на проверке мы будем нервничать...

Под конец мы прошли мимо офицеров строем, вкопавшая подошвы в мокрую мягкую землю, и Ложков не завалился на меня.

Офицеры уехали вовремя — к утру начался шторм.

Это произошло сразу. Иссиня-черная туча надвинулась так стремительно, и так быстро погас день, что казалось, в большой комнате выключили свет. Ветер

ударил по макушкам деревьев, сорвал провода, идущие от «машинного» к гаражу, разбросал и потащил по земле пустые ящики.

Шторм был со снегом, и снег резал лицо. Опять по земле легли белые вытянутые полосы, будто кто-то разорвал простыни и бросил клочья. Обрывки проводов бились о деревья и землю. Потом с грохотом повалилась сосна и легла рядом с домом.

Море пошло на нас. Перед камнями выростала белая стена, волны колотились об эти камни со взрывами, и казалось, дом дрожит не от ветра, а от этих глухих, откуда-то из-под земли доносящихся взрывов.

Мне было и жутковато, и весело одновременно. Не улетела бы снова крыша! И выстояла бы вышка. Сырцов снял с нее часового, и я подумал — правильно. Ложков был зелено-фиолетового цвета. Он стоял на вышке, когда ударил этот шторм. Перепугался парень до невозможности: и уйти без приказа нельзя, и оставаться страшно. Вышку мотало. «Как будто в землетрясение попал», — рассказывал нам Ложков, помаленьку приходя в себя.

Шторм продолжался весь день, ночь и начал стихать к следующему утру. Мы чувствовали себя так, как, должно быть, чувствуют себя хозяева, вернувшиеся домой и увидевшие, что здесь побывали взломщики. Поваленные деревья выставили свои лапы-корни. В бане были выдавлены стекла и сорваны двери. Хорошо, мы с Эрихом вытащили лодку на берег, и она не пострадала... Сырцов сказал, что на этот раз мы легко отделались.

Была моя очередь идти на вышку, и я поднимался не без робости. Здесь ветер гудел, выл, свистел на все лады, и вышка походила на яблоню, с которой отряхивают яблоки. Вполне понятно, что Ложков здесь позеленел. Меня тоже начало мутить от тряски. На такой вышке не дежурить надо, а проверять вестибулярный аппарат у космонавтов.

Казалось, я стоял на вершине большой горы, а внизу громоздились горы поменьше. Они двигались, сшибались, догоняли друг друга и накрывали одна другую. В это кипение воды вдруг врывалась ослепительная полоса света — ветер разрывал тучи, и тогда стремительно падал сноп солнечного света.

И тогда, когда такой сноп упал, я и увидел лодку. Поначалу не поверил себе — откуда здесь могла по-

явиться лодка? Схватился за ручки МБТ, развернул трубу — и лодка оказалась перед глазами. Ее несло прямо к нам; она то поднималась, то проваливалась и снова выскакивала на гребень волны. В лодке было двое... Я метнулся в будку.

Кнопка — сигнал боевой тревоги. Ракетница на полочке. Две красные и одна зеленая. Ветер снес ракеты в сторону, но все равно на заставе уже заметили сигнал. Ребята выскакивали из дома, на ходу вставляя рожки в автоматы. Они не слышали, что я им кричал. Пришлось мне прогрохотать вниз, едва касаясь ступенек. Впрочем, теперь даже отсюда, снизу, была видна эта лодка.

— Разобьются, — вдруг сказал Эрих. — Это рыбаки. Спасать надо.

Я мельком подумал: почему он решил, что это рыбаки? А через секунду уже бежал за ним, к нашей лодке. Мы перевернули ее и столкнули на воду. Здесь, за камнями, было тихо. Вернее, почти тихо. Волны разбивались о камни там, дальше.

— Осторожней! — крикнул Сырцов. — В море не выходить!

Не так-то просто было выгребать против ветра. Лодка развернулась боком, и ее сразу же прижало к берегу. Эрих спрыгнул в воду и навалился на борт всем телом. Надо было идти против ветра — и мы все-таки повернули наш ялик. Эрих перевалился в лодку, и я увидел, что брюки у него мокрые выше колен: стало быть, нахватал воды в сапоги.

Мы гребли вместе, сидя друг против друга. Эрих положил свои руки поверх моих и толкал весла, а я тянул их — только так и можно было выгрести.

Мы не видели ту лодку. Сырцов показывал с берега рукой — правее, правее, — а как идти правее? Стоило только повернуть, как нас снова начало нести на берег. Лодка парусила. А Сырцов все махал нам — правее, еще правее, еще!

Наконец нам удалось зайти за камни. Здесь было тихо, и вода только крутилась. Ладони у меня горели. Я взглянул на берег, на ребят, и увидел, что они замерли, подавшись вперед.

— Скорей, — сказал Эрих. Он тоже увидел это и догадался раньше меня, что нужно скорее.

Все-таки мы не успели. Та лодка ударилась о камни прежде, чем мы подоспели. Я даже не слышал никакого

треска. Нос той лодки задрался и, скользя по полированному боку валуна, исчез под водой. Все это происходило слишком быстро, чтобы я мог сообразить, что делать дальше.

А дальше Эрих бросился в воду. Встал и полетел за борт. Глубина здесь была небольшой, ему по грудь; он пошел по дну, вскинув руки, а я лихорадочно греб за ним, потому что сразу полегчавшую лодку относил сильней и сильней. Я не видел Эриха — ведь я греб, сидя спиной, и оборачивался на секунду, чтобы самому не врезаться в какой-нибудь камень.

Потом возле лодки оказалось сразу три головы — и шесть рук одновременно вцепились в борт ялика. С ума они сошли, что ли? Перевернут же... Я убрал весла — и сразу лодку понесло к берегу. Там было совсем мелко. Ветер тащил наш ялик, а ялик тащил Эриха и тех двоих.

И опять все происходило слишком быстро. Резкий удар о берег. Ребята с автоматами возле лодки. Эрих, встающий первым и помогающий подняться тем двоим. Все. Я полез в карман за сигаретами. Больше всего на свете мне хотелось закурить. Вытащить лодку успеем. Главное — закурить и маленько прийти в себя. Ведь я даже не сообразил, почему в лодке вместе с Эрихом оказался именно я, а не кто-нибудь из ребят. Должно быть, сработал рефлекс. Раз мы с ним ездим обычно к катеру — значит, и на этот раз в голове сработала какая-то шестеренка или пружинка. Но ничего, все в порядке. И, только закурив, я поглядел на тех, вытащенных Эрихом.

Одному было лет шестьдесят, наверно. А другой совсем пацан. Старик еще держался, а пацан как повис на Эрихе, так и не отпускал его. Их повели в дом, совсем забыв обо мне. Пришлось крикнуть:

— Эй, а кто будет вытаскивать лодку, черти зеленые?!

Все-таки были нарушители границы, не «спасенные», а «задержанные», и, как полагалось, Сырцов произвел обыск, только потом их переодели и начали отпаивать чаем. Ленька побежал топить баню. Сашка сворачивал рацию. Оказывается, все это время он был на связи с заставой, комендатурой и отрядом. Кажется, сработали мы совсем неплохо. Только нарушители попались несерьезные: конечно, рыбаки, а вовсе не какие-нибудь шпионы. Мальчишка лет тринадцати или четырнадцати.

Сидит и дрожит, кутаясь в два одеяла. Старик вроде бы ничего, даже улыбается нам и что-то говорит по-фински. А может, и не по-фински, бес его знает.

Вещи, найденные при обыске, лежат в нашей спальне: два ножа, мокрая пачка с расползающимися сигаретами, зажигалка, коробка с крючками, компас, часы, какая-то бумажка, которую Сырцов не рискнул развернуть. Пусть лежит и сохнет до прибытия начальства. С заставы передали — ждите вертолет, когда стихнет ветер. Не хотят рисковать. Значит, пока эти двое будут у нас.

Эрих переоделся, и ему тоже в первую очередь был налит чай. Он сидел рядом с задержанными, грел о кружку красные руки и молчал. Старик что-то сказал пацану, тот ответил — Эрих даже бровью не повел. Но я-то уже догадался, что он молчит нарочно. Я слышал, что эстонцы запросто понимают финнов. И сейчас Эрих просто хочет послушать, о чем они говорят.

Вдруг старик сказал, показывая на себя:

— Матти. Матти Корппи, — потом ткнул пальцем в пацана. — Вяйне. — И заговорил, заговорил, а мы покачивали головами: нет, никто не понимал ни слова. Тогда старик начал показывать, как на крючок надевают наживку и вытаскивают добычу. Изображал рыбака. Я смотрел на его руки с короткими, растрескавшимися, неуклюжими пальцами. У него были сильные руки, у этого Матти Корппи, не то что у пацана.

Старик оказался совсем неплохим артистом. Мы понимали каждый его жест. Он показывал, как вышел с этим пацаном, Вяйне, в море, как начали ловить рыбу, как налетел шторм и их понесло, и как отказал мотор, а потом вырвало весло... Все, все было понятно без всяких слов. Что ж, им повезло. Черт с ней, с лодкой, благо сами живы остались. Через несколько дней их передадут финскому пограничному комиссару, и то-то будет рассказов у Вяйне, как он побывал в России, в Советском Союзе.

Эрих повел задержанных в баню. Они парились там часа два, не меньше. Надо было где-то устроить их на ночлег. Сырцов решил: там же, в бане. Окна мы заколотили фанерой и убрали осколки стекол, выбитых ветром. Правда, придется ставить у дверей часового. Ничего не поделаешь. Так положено.

Но после бани они вернулись в дом, и Эрих тихо сказал:

— Рыбаки. Дед и внук. Парень лодку жалеет. Недавно купили мотор. Хотели лососа поймать.

— Ясно, — сказал Сырцов. — Пожалуй, можешь поговорить.

Эрих что-то сказал Корппи, и старик вытаращил на него бесцветные, слинявшие, слезящие глаза. Я-то думал — финны молчуны, а этот трещал как пулемет. Эрих переводил, запинаясь.

— Говорят, они небогатые люди. Вообще, не совсем рыбаки. Еще это... гонят смолу. — Видимо, он понимал не все, что говорил Матти. — А, ясно. Его жена рожала восемь раз — восемь детей. Уже столько же внуков. Два сына работают в Турку. На верфях «Крейтон-Вулкан»... У него есть письмо от сына, которое мы отобрали. Оба рабочие.

— Коммунисты? — спросил Ленька. Старик понял это без перевода и покачал головой. Нет.

Эрих часто переспрашивал старика, но все-таки переводил. Оказывается, этот пацан — его внук. Вяйне живет с дедом потому, что в городе очень дорого. В городе все дороже. Хлеб дороже, масло, мясо. У Вяйне неважное здоровье, но в городе врачу надо платить больше, чем в деревне. У них на три общины один врач, и ему можно платить рыбой, утками, яйцами.

— Во дает! — сказал Ложков. — Значит, пощупает тебя доктор — гони утку?

— Первый раз слышишь, что ли? — не поворачиваясь, сказал Сырцов. — У них же капитализм все-таки. — И попросил Эриха: — Ты переведи, зачем они далеко в море уходили, если у них такая лодчонка хилая?

Эрих перевел.

— Он говорит, у берега ловить нельзя. Там каждый остров — частный. Личная собственность.

— Значит, простому человеку и порыбачить негде? — все удивлялся Ложков.

Эрих уже устал. И баня его разморила, должно быть. Но все-таки переводил.

— Ты погоди, — не унимался Ложков. — Что ж, значит, выходит? Заболел — плати. Хочешь учиться — плати. Хочешь жить в квартире — отдай четверть зарплаты и не греши! А сам вот — мотор купил. Ты спроси, у него какое хозяйство? Ну, кулак он там или середняк?

Эрих не стал спрашивать.

— Ты на его руки погляди, — ответил он.

Старик курил наш «Памир» и кашлял — сигареты были крепкими для него, а может, простыл за те полтора дня, что их несло. Вяйне начал подремывать. Пришлось потрясти его за плечо. Идем, идем спать. Уже в дверях старик Матти обернулся, просительно поглядел на нас и пощелкал пальцем по дряблой, заросшей седой щетиной шее.

— Спрашивает, нет ли выпить, — сказал я. Сырцов покачал головой, и старик тяжело вздохнул. Конечно, обидно: попасть к русским и не попробовать русской водки.

Но мне ведь надо на вышку. Головня только подменил меня там, а я и забыл об этом. Мне стоять еще полтора часа. Ветер не стихает, и вышка гудит по-прежнему.

— Ну как там? — спрашивает Сашка.

— Спать пошли.

— Я не об этом. Рассказывали они чего-нибудь?

— Рассказывали.

Я гляжу на море, на эти мечущиеся волны, покрытые ослепительно-белой пеной, и мне как-то страшно, что там, за ними, люди живут совсем не так, как мы. Одно дело читать об этом в газетах и совсем другое — своими глазами увидеть мальчишку, который не может жить у родителей в городе потому, что там дороже платить врачу.

* * *

Вертолет появился через два дня.

Гигантская стрекоза опустилась рядом с домом, на поляне, утрамбованной нашими ногами — здесь мы занимались строевой. Лопасты покрутились, повисли — тогда раскрылась дверца и показался комендант участка, подполковник Лобода. Сам прилетел!

Вместе с ним были два солдата и длинный, обвешанный фотоаппаратами, прапорщик. Я подумал: «Какой-нибудь технический эксперт». Прапорщик оказался корреспондентом нашей окружной газеты «Пограничник» и сразу взял Эриха и меня в оборот. Сначала он вытащил блокнот и сказал:

— Коротко, без лирики. Самую суть.

Рассказывать пришлось мне. Прапорщик записывал, повторяя: «Спокойней, видишь — не успеваю»... Потом

подозвал Сашку Головню и расставил нас на камнях. Мы стояли, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Прапорщик снимал нас сверху, снизу, сбоку, а я еле сдерживался, чтоб не засмеяться. «Нужны дубли», — вспомнилось мне. Итак, третий раз я попадаю в газету.

— Читайте о себе в День пограничника, — сказал длинный прапорщик. — Желаю успеха.

Финнов пригласили в вертолет, и вдруг Вяйне заревел, прижавшись к деду. Шел и ревел, как белуга, со страха. Уже подойдя к вертолету, Матти обернулся и, отыскав глазами меня и Эриха, сказал по-русски:

— Спасибо, спасибо...

— Не за что, — сказал я. — Не заплывайте далеко.

Вот тогда-то к нам и подошел комендант. Протянул руку Эриху, Сашке, мне. И вспомнил все-таки:

— Товарищ Соколов, кажется?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Значит, все полезно, что в рот полезло? И от сна еще никто не умирал?

Я засмеялся. Просто мне стало очень смешно. Подполковник тоже засмеялся. Но тут же я увидел за его спиной Сырцова. Сержант был мрачен.

— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? — сказал я.

— Да.

— У нас тут ЧП было. С прожектором.

— Знаю.

— Сержант Сырцов взял вину на себя. Виноват же я был один.

— Догадывался. У вас все?

— Все, — растерялся я.

— Ну, если все, тогда нам пора.

Мы схватились за фуражки и пригнулись от ветра, поднятого лопастями. Как во время шторма. Вертолет медленно оторвался от лужайки и начал отлетать боком. Я никогда не летал в вертолете. Наверно, страшновато. И Вяйне испугался. А все-таки они молодцы, эти Корппи. Недаром ели наш хлеб. Собрали все сети и перелатали их так, что сети стали как новенькие...

— Ты чего мрачный? — спросил я Сырцова. — Неприятности?

— Выговор, — сказал Сырцов, глядя в сторону. — А вам троим отпуск по десять дней.

— Мне-то за что? — удивился Сашка.

— За бесперебойную радиосвязь, — объяснил Сырцов. — Подполковник сказал, что ты как Озеров репортаж вел. Короче, сговоритесь, кто пойдет по очереди, и двигайте после проверки.

Десять дней! Проверка будет вот-вот... И десять дней я буду дома! Я поглядел на Эриха, на Сашку и спросил:

— Качнем?

— Качнем, — кивнул Эрих. Сырцов попятился. Но было уже поздно. Мы схватили его и начали качать, а он прижимал к себе фуражку и кричал: «Отставить! Отставить, я говорю!» Пусть кричит. Оказывается, не всегда нужно выполнять приказ командира.

Ленинград. Дом. Все мои

Очередь мы разыграли так: написали на трех бумажках номера, скатали эти бумажки, кинули в шапку, и каждый вытаскивал свой номер.

Первым в отпуск пойду я. Вторым — Сашка. Третий — Эрих. Он обрадовался. В июне дома лучше всего. Так мы ему и поверили. Просто в июне у его Марты кончается сессия.

Я словно бы не заметил, как прошла весенняя проверка. Сырцов цвел. Еще бы! У всех, кроме Ложкова, пятерки и четверки. Даже Ленька вытянул физподготовку на «хорошо». Не знаю, как это ему удалось. Но теперь все позади, и я могу ехать. Странная это штука — нетерпение. Мне все время казалось, что я куда-то безнадежно опаздываю, и то и дело глядел на часы, хотя катер будет неизвестно когда. Видимо, поэтому плохо сплю.

...Ощущение праздника пришло в тот момент, когда на вокзале меня остановил комендантский патруль и моряк-лейтенант проверил документы. Все в полном порядке. До отхода поезда оставался час, в кармане у меня — получка за полгода. Можно было съесть порву мороженого.

Прошли две девушки, поглядели на меня, и одна что-то сказала другой: обе обернулись. Хорошо, учтем. Я ел мороженое, по-верблюжьи вытягивая шею из тесного воротника, чтобы не накапать на новенькую, еще ни разу не надеванную форму. Брюки у меня были отпарены до кинжальной остроты; рубашка малость давила шею, но это из-за непривычного галстука. А ес-

ли чуть скосить глаза — на плечах словно весенний луг: зеленые погоны с золотыми буквами ПВ. Я видел себя как бы со стороны, и мне ужасно нравился этот парень в зеленой фуражке. Конечно, не очень солидно выглядело, что такой парень кусками хватает мороженое, но тут уж я ничего не мог поделать с собой. Полгода не ел мороженого!

Сверток со свежей рыбой я положил на полку. Вчера Эрих и Ленька поймали здоровенных лещей и дали мне с собой три штуки. Эрих посыпал солью жабры, нарвал крапивы, переложил лещей ею и сказал, что в таком виде рыба доедет благополучно. Как в холодильнике.

Мама, конечно, ахнет, увидев таких красавцев. В магазинах или на рынке нет ничего похожего.

Конечно, мне не повезло в другом. В Ленинград поезд придет в шестнадцать десять. Дома никого не будет до восемнадцати тридцати. Два часа с лишним я должен быть на улице. Правда, можно было бы позвонить маме, но я забыл ее служебный телефон, а номер заводского коммутатора не знал вовсе. В таком случае лучше всего будет поехать на завод и позвонить Коляничу из бюро пропусков.

Смотрел в окно, и казалось, что перед глазами в обратную сторону разматывается уже виденная однажды киноплёнка. Год назад я видел эти же аккуратные платформы, привокзальные киоски, очереди к автобусам. Потом пошли дачные пригороды; уйма детишек, в вагоне запахло жженым — это в садах жгли прошлогоднюю листву.

Я не замечал, как в вагоне становится многолюднее. Кто-то спросил меня: «Здесь свободно?» — и я кивнул. Пожилая женщина с большой хозяйственной сумкой села напротив.

До Ленинграда было совсем близко.

— Отслужил, сынок? — спросила пожилая женщина.

— Нет еще.

— В отпуск, стало быть?

— Да.

— В Ленинград.

— А куда же?

— Это хорошо. Близко служишь. А мой вот — на Дальнем Востоке.

— Далековато, — согласился я. — Пограничник?

— Нет, связист.

— Тоже ничего, — кивнул я. — Первогодок?

— Первогодок. И время-то нынче мирное, и сам пишет, что там хорошо, а я вся извелась.

— Чего изводиться-то зря? — спросил я. — Мы не маленькие.

— Это вы для себя большие, а для нас — маленькие, — улыбнулась она и полезла в сумку. — Вот, пирожки у меня есть. Хочешь? С морковкой.

Есть мне хотелось здорово. Вокзальный буфет закрылся как раз перед моим носом: обеденный перерыв. Так что пирожок-другой оказались бы очень кстати. Взял пирожок, она сказала: бери еще — и я взял еще один. Там, в пакете, было всего пять штук. Я ел пирожки с морковкой, настоящие домашние пирожки, и слушал женщину:

— ...Тайга там, пишет, такая, что наши леса перед ней вроде Летнего сада. Тигры водятся. Вон куда заехал!

Я согласно кивал в ответ: да, действительно, далеко заехал.

— Он до службы в радиотехникуме учился, Володька-то. А ты где?

— На жавоже аботал, — сказал я, прожевывая пирожок. Она поняла. — Ах, вот оно что, — на заводе! А мать, отец есть?

— А у нас нет отца, — сказала она. — Пять лет назад в поселке пожар был, он троих детишек спас, да сам обгорел. — И отвернулась к окошку.

Я с трудом проглотил последний кусок.

Мы долго ехали молча. Вдруг женщина начала торопливо собираться: сейчас ей выходить, чуть не прозевала свою остановку.

— Погодите, — сказал я и тоже встал.

Из своего пакета я вынул леща с приставшими к золотым бокам листьями крапивы.

— Вот, возьмите. Наш, пограничный. Не бойтесь, вчера вечером поймали. — Женщина не хотела брать рыбу. — Берите, берите. И бумага у меня есть, сейчас завернем.

Я вырвал из «Огонька» несколько страниц.

— Спасибо, сынок, — тихо сказала женщина. — Счастливо тебе. Как тебя звать?

— Так же, как и вашего, — ответил я.

В бюро пропусков было пусто, только какой-то па-

рень в немыслимых клешах и клетчатом пиджаке разговаривал по местному телефону. Когда я вошел, он отвернулся, будто так я не услышу, о чем он говорит.

Но я быстро догадался, что он разговаривал с девушкой. «Ну а когда же?.. Почему не сегодня?.. У тебя вечно дела...» Я ждал, ждал, а потом тронул его за плечо:

— Эй, закругляйся.

— Подождешь... Это я не тебе... Так когда же точно? Ну, как хочешь.

— Не может она сегодня, — объяснил я парню. — Не приставай.

Он со злостью швырнул трубку на рычаг и вышел, не поглядев на меня. Я поднял трубку — она была горячая: должно быть разговор у парня был долгий.

— Шестьсот тридцать шесть.

Это номер нашего участка.

— Мастера Соколова, пожалуйста.

— Слушаю.

— Николай Николаевич?

— Володька! — Колянич кричит в трубку, как оглашенный. — Володька, стой на месте — и никуда! Понял? Я сейчас.

...Колянич налетел на меня, смял, и опять я был маленьким и слабым перед ним. Он спрашивал и не дожидался моего ответа: какой судьбой? не заболел ли? надолго ли?

— Ну вот, — проворчал я, выкарабкиваясь из его рук. — Не успел приехать, а ты уже спрашиваешь, надолго ли?

— Да покажись! — Он отодвинул меня и посмотрел издали. — В глазах у тебя вроде бы что-то осмысленное появилось?

Начинается!

Он потащил меня к начальнику охраны. Может, разрешит без пропуска по старому знакомству.

Мы пересекли длинный заводской двор, вошли в цех, и вдруг у меня сладко и радостно защемило сердце.

Стояла на тумбе перевернутая чаша, и из нее бил фонтанчик, тот самый... И, как тогда, три года назад, я приксснулся губами к холодной воде, сразу вспомнив ее вкус. С этой удивительной воды для меня начался завод, и сейчас я как бы заново переживал встречу с ним. Пил жадно; вода скатывалась по подбородку и брызгала на рубашку, на мундир, а я не мог оторваться.

Все повторялось. И грохот листогибочной машины, когда-то так ошеломивший меня, и предупреждающий звонок крана, несущего огромную заготовку, и даже запах — кисловатый запах металла — все повторялось и вернулось ко мне.

Я даже не очень огорчился, что моих ребят не оказалось на месте — они работают в вечернюю смену. Ничего, я еще приду сюда, а потом вся бригада нагрянет ко мне.

На нашем участке работали какие-то незнакомые парни; Колянич сказал — из ПТУ, очень грамотные ребята. Для меня же это были «салаги». Наверное, второй разряд всего-навсего. Вот один такой варит шов — брызги летят. Ясное же дело — далеко держит дугу.

Зато еще издали я увидел квадратную фигуру своего бывшего бригадира и учителя — дядя Леша Савдунина. Все-таки опять повезло!

— Разрешите доложить, рядовой Соколов прибыл! — сказал я. Дядя Леша улыбнулся, и глаза у него стали щелочками. В нем все было квадратным, и только глаза круглыми, да и то превращались в такие вот щелочки, когда он улыбался.

Дядя Леша протянул мне квадратную руку, и я взял ее с опаской. Обычно после его рукопожатия пальцы слипались и белели.

— Ничего, — сказал он. — Вполне.

Савдунин был неразговорчив; пожалуй, даже Эрих Кыргемаа показался бы перед ним болтуном. Он сказал два слова и опять долго улыбался, а потом все-таки спросил:

— Как?

— Все в порядке, граница на замке, дядя Леша.

— Ты его поздравь, — сказал мне Колянич. — К пятидесятилетию орденом наградили, «Знак Почета». Вчера праздновали.

Я заволновался. Знал бы, что дяде Леше пятьдесят, заранее поздравил бы. А теперь-то чего, задним числом? И подарка не сделал никакого. Впрочем, хоть это...

— Газетка найдется? — спросил я Колянича. Он пожал плечами. В конторке, кажется, есть. До конторки было далековато. Ребята-сварщики поглядывали на нас с любопытством, и я крикнул: — Газетки у вас не найдется?

Газета нашлась. Я развернул пакет и шлепнул на

газету леща. Парень, который дал мне газету, вытаращил глаза: вот это штука! Отродясь не видал таких! Я протянул леща Савдунину.

— Принимайте, дядя Леша.

— Спасибо.

— Говорят, с кашей хорошо, — сказал парень. — С гречневой. Ты сам поймал или купил?

Я смерил его самым презрительным взглядом. А ребята уже толпились вокруг нас, и каждому обязательно хотелось потыкать леща пальцем.

— Рыбу не видели, что ли? — сказал я. — А ну, снимай щиток.

— Что? — не понял парень, который дал мне газету.

— Щиток, говорю, снимай. И робу.

Он покорно снял со своей головы щиток, а я со своей — фуражку. Надел щиток. Скинул на руки Колянич мундир и натянул брезентовую робу. Спросил парня, кивнув на сварочную плиту:

— Заземлено?

— Пустой вопрос, — сказал он. Очевидно, обиделся.

Это было мое место. Парень просто не знал этого, иначе не обижался бы. Я посмотрел на деталь — старая знакомая, такие я уже варил. Я выбросил из зажима сгоревший электрод и поставил другой, четырехмиллиметровый, опустил щиток.

Обычно сварщики зажигают дугу «тычком». Но я был из школы Савдунина, что ни говори. Мы зажигали дугу, чиркая электродом, как спичкой. Я чиркнул — и сквозь черное стекло наконец-то увидел, как капли электрода начали падать в «ванну» — оплавленные края шва.

Я ничего не забыл! Я вел электрод, чуть покачивая его от кромки шва к кромке, стараясь держать дугу как можно ближе к металлу. Там опять происходило чудо, уже не раз виденное и не раз пережитое мной. Я соединил два разрозненных куска металла — и рождалась деталь, вещь.

Все!

Я откинул щиток на маковку.

Шов был ровный, чистый, ни бугорка, ни ямки.

— Как масло сварил, — сказал кто-то.

Они стояли поодаль — Колянич, Савдунин, салаги — и теперь тянулись, чтобы взглянуть: не заporол

ли деталь этот нахальный солдат-пограничник? Ничего! Четвертый разряд не дают за здорово живешь.

— Трудись, — сказал я парню, отдавая щиток и скидывая робу. — Кто-то из великих сказал, что труд есть отец удовольствия. Усек?

— А ты, случайно, не из Борькиной бригады?

— Угадал.

— Вопросов больше нет. Раз треплешься, значит, из Борькиной.

Я протянул ему руку.

С дядей Лешей мы расцеловались, и опять он сказал мне «спасибо». Это было уже много для дяди Леша — «ничего, вполне» и два раза «спасибо».

Мы еще увидимся. А теперь — в конторку, к телефону, звонить матери.

В проходной меня остановил вахтер — я знал его давно, хотя не помнил ни имени, ни отчества. Он был старый, должно быть, уже пенсионер, и всегда подолгу всматривался в фотографии на пропусках. Рабочие шумели — давай, батя, быстрее, а бдительность дома проявляй, чтоб старуха к другому не ушла. Но он неспешно глядел на пропуск, потом на тебя, и только после этого кивал — проходи! Я тоже всегда злился на него. И теперь он снова остановил меня.

— Что в пакете?

— Токарный станок.

— Раскройте пакет.

Я посмотрел на пакет. Зачем нам один лещ? Ладно, батя, держи! Такую продукцию на нашем заводе еще не выпускают. И вышел за проходную.

У Колянича сегодня партбюро, он придет домой позже. На улице я остановился и огляделся. Доску почта перенесли на другое место, поближе к проходной. Я пробежал по ней глазами и увидел четыре смеющиеся физиономии: Борька Тamarченко, Валерка Кусков, Сенька Левенфиш, Витька Пономарев. Я подмигнул им. Ничего! Через год придется вам потесниться, дорогие мои! Я тоже хочу улыбаться с Доски рядом с вами.

* * *

Утром мои ушли на работу, и я ничего не слышал. Все-таки великая штука — привычка: я не спал ночь, свалился к утру, а проснулся оттого, что луч солнца добрался по стене до моего лица и мне стало жарко.

Солнце появлялось в нашей квартире около часа дня. Это было непростительно — так долго спать, да еще в отпуске!

На столе лежала записка: «Вся еда в холодильнике. Будем в шесть. А ты начал храпеть, как настоящий мужчина». Какая там еда! Я наспех выпил холодного чая и выскочил на улицу. Конечно, в общежитии Зои нет, она на работе. Но там могут сказать, где она сегодня работает.

— А я почему знаю где? — сердито сказала дежурная. — Подожди до вечера, придет твоя Рыжова.

— Может, кто-нибудь другой знает? — тоскливо спросил я. — Ну, может, кто-нибудь из ее бригады здесь есть? Или подружки.

Дежурная поглядела на мои погоны и смягчилась. Показала, как пройти к коменданту общежития. И через несколько минут я ехал с Московского на улицу Марата: Зоя работала там.

На улице Марата в лесах стояло домов десять. Я подходил, задираю голову и кричал:

— Бригада Рыжовой здесь?

— Нету!

На лесах восьмого дома вообще никого не было. Я прошел во двор, заваленный строительным мусором, — никого. Поднялся по лесам, заглядывая в распахнутые окна. Квартиры еще пустовали; дом отделывали после капитального ремонта.

Второй, третий, четвертый этаж... Мне слышались голоса, и я пошел на них. Где-то спорили; голоса становились все громче и громче; я догадался, что люди собрались в пустой квартире, — и вдруг явственно донесся Зойкин голос:

— Хватит галдеть. Давайте дело говорите.

Собрание у них, что ли? И опять Зойка командует:

— Я и говорю дело. Нужен им твой сервиз. Приемник с проигрывателем надо покупать, вот что. Те же сто шестьдесят рублей.

Нет, не собрание. Либо подружка выходит замуж, либо кто-то из ребят женится. Я подошел к окну и увидел Зойку.

Я увидел ее сразу, хотя здесь, в пустой комнате, было человек десять или двенадцать. Девчата сидели на полу, на газетах, и перед ними были бутылки с кефиром и бутерброды, это я тоже заметил сразу. Им

было жарко, девчонкам, — они скинули куртки и сидели в лифчиках или майках, и Зоя тоже была в белой, плотно облегающей майке.

— Можно войти? — спросил я.

Они завизжали, как будто в окне появился какой-нибудь динозавр, и кинулись к своим курткам, только Зоя спокойно глядела на меня, словно не веря, что это ей не снится. Потом естала, медленно подошла к окну и поднялась на подоконник. Я снова видел ее серые, в разбегающихся лучиках большие глаза.

— Здравствуй.

Я был на лесах, а она на подоконнике. Ей пришлось нагнуться, чтобы поцеловать меня. Я легко приподнял ее, поставил рядом с собой, и она снова оказалась маленькой. Совсем мальчишка в брюках и майке. А девушки уже высунулись и пялили на меня глаза. Одна из них спросила:

— Это который? Володя или Саша?

— Володя, — ответила Зойка. — С ума можно сойти!

— Лучше оденься, бесстыжая, — сказала другая. — Парень и тот краснеет, а ей хоть бы что.

Наверно, я действительно стоял красный, и глазастые девчонки сразу засекли это. Но Зойка, казалось, ничего не слышала.

— Ты в отпуск?

— Да. На десять дней.

— Нагуляетесь, — заметили девушки, — за десять дней.

— Идем к нам, — сказала Зоя. — У нас перерыв.

Я тоже сел на газету, и Зойкина бригада расселась рядом. На меня глядели, глядели во все глаза. «А мы ваши письма читаем. Вы красиво пишете!» — «Кефирчику не желаете?» — «А что же вы Сашу с собой не взяли?»

Но я поворачивался к Зое и не узнавал ее. Она была какая-то незнакомая. Растерянная, или задумчивая, или обеспокоенная чем-то. Мне стало тревожно. Почему она стала такой, едва появился я? Что случилось за эти несколько минут? «Так налить вам кефирчику?»

— Нет, спасибо, — сказал я. — Мне-то вообще пора.

— Хорошо, — кивнула Зоя. — Встретимся вечером. Я подойду к твоему дому в восемь.

Мне надо было ждать пять часов.

Мама расстроилась, когда я начал одеваться. Это еще куда? Колянич хмыкнул. Сама же вчера говорила: «Как ты вырос!»

Мама сказала:

— Но не в первый же день!

— Уже второй, — поправил ее Колянич. — Передай Зое привет. По-моему, ничего девушка. Боевая.

— Конечно, если влезает в окно к незнакомому человеку, — заметила мама.

Я чмокнул ее в щеку и подмигнул Коляничу. Все правильно! Не надо меня ждать. Было уже без пяти восемь. Я выскочил на улицу. Зойка стояла там и ждала меня.

— Пойдем, — кивнул я. — Будем ходить. Я же помню — ты любишь ходить. — И взял ее под руку.

Там, на прожекторной, я часами представлял себе, как мы встретимся, — и все равно даже куда более яркие представления померкли перед этой вот минутой. Померкли, хотя не происходило ничего особенного: мы просто шли, и люди обгоняли нас, и никто не обращал на нас внимания, разве что только идущие навстречу офицеры, которым я отдавал честь.

Зойка казалась по-прежнему задумчивой или чем-то обеспокоенной, и чувство тревоги не покидало меня. Все разговоры впереди. А мне хотелось, чтобы они уже кончились.

— Как ты все-таки решила? Едешь?

— Да. Через две недели.

— Так быстро? Ты же писала — осенью.

— Оказалось, можно раньше... Тебе отпуск дали просто так или...

— Не просто так. Где ты будешь там жить?

— Это не проблема, Володька. Важно, не где жить, а как жить. Я иначе не могу. Жаль, что ты этого не понимаешь.

Мы вышли к Неве у Володарского моста. По реке буксиры тянули огромный плот. Вились чайки, вскрикивая протяжно и печально, будто жалуясь, что буксиры и плот мешают им ловить рыбу. В этот вечерний час народа было немного. Мы шли по набережной, и Зоя сказала:

— Конечно, Ленинград — это Ленинград. Я буду приезжать сюда, ходить по театрам, Эрмитажу, просто

по Неве. Все это мое и во мне останется. Но иначе я не могу. Ты думал когда-нибудь о старости?

Этого еще только не хватало — думать о старости!

— А я однажды подумала. Пришла к нам в общежитие старая женщина. Рассказывала, как строила Комсомольск-на-Амуре, потом воевала, потом опять строила — в Минске. Я смотрела на нее и, хочешь верь, хочешь не верь, видела, что она молодеет! Я хочу быть молодой в старости.

Потом, после, я вспоминал длинный путь от Володарского моста, через весь Невский, к Академии художеств, и потом дальше, дальше — на Петроградскую, на другой конец города, к приморскому парку Победы, — вспоминал и думал: мы больше говорили или молчали? Иногда молчание было долгим. Зоя нарушала его первой.

— Так за что же тебе дали отпуск?

— Было одно дело... Я не могу рассказывать. Все-таки граница.

— Ты по-прежнему хвастунишка, д'Артаньян?

— Считаю как хочешь.

— Я никак не могу понять: что же в тебе переменялось?

— Мама говорит — подросток вроде бы.

— Нет, не то.

Опять долгое молчание.

— Когда ты появился, я перепугалась до смерти. Сегодня с утра думала о тебе и ругала себя последними словами, что никак не соберусь сесть за письмо. И вдруг — ты. А Саша не приедет?

— Приедет. Он успеет тебя проводить.

Она быстро повернулась ко мне.

— Правда?

— Ты обрадовалась, — заметил я.

Уже начались белые ночи. В парке остро пахло сиренью. Сирень цвела буйно, и небо тоже было сиреневым — в разметавшихся облаках, освещенных невидимым с земли солнцем.

Да, Зоя обрадовалась, что Сашка будет здесь и успеет ее проводить. Она не могла скрыть это или даже не пыталась скрыть. Почему? Опять это «почему»? Ведь она в глаза Сашку никогда не видела!

— Почему ты обрадовалась?

— Ты хочешь откровенно?

— Конечно.

— Тогда сядем. Я устала.

Она села на скамейку, скинула туфли.

— Я не знаю, как это можно объяснить... Ты читал его письма?

— Нет.

— Хочешь почитать? У меня они с собой.

— Темно, — сказал я. Мне вовсе не хотелось читать его письма. И тогда, когда он сам показывал мне, и теперь тоже.

— Он много пишет. И я увидела огромного человека, понимаешь? Не очень счастливого пока, но сильного, уверенного, ласкового. Он похож?

Из сумочки она достала небольшую фотографию. Сашка был еще в штатском. Воротник клетчатой рубашки расстегнут, пиджачишко обтягивает плечи.

— Не очень. У него глаза большие. И светлые. А здесь — черные. Фотография все-таки.

А я и не знал, что он послал Зое свою фотографию!

— Это неважно. Понимаешь, я совсем не жалею его. Горький говорил, что жалость унижает человека. Но мне хочется, чтобы ему лучше жилось. Можно я тебя спрошу кое-что?

— Спрашивай.

— И тоже — честно?

— Да.

— Он добрый?

— Добрый. Обычный.

— Он хороший товарищ?

— Нормальный. Наверно, бывают лучше.

— Вот и все, — сказала Зоя. — Значит, я не ошиблась.

— В нем?

— И в тебе, — тихо засмеялась она. — Я подумала, если ты начнешь его ругать, я встану и уйду.

Я больше не держал ее под руку. Зойка была далеко-далеко от меня. Значит, я не сильный, не уверенный, не ласковый, не добрый и не хороший товарищ.

— Не надо так, — покачала головой Зоя. — Он очень взрослый, Володька, а ты — мальчик. Может быть, ты будешь лучше его, но потом. Он твердо знает, что ему надо в жизни, а ты еще учишься жить.

— Ладно, — сказал я, — больше не будем об этом (Сашка сказал бы «об этим», — подумал я). Ты молодчина, что выложила все сразу. И вообще...

Она попросила не провожать ее. Я остановил такси,

и Зойка уехала. Она будет звонить. Я шел домой пешком и думал, что я действительно мальчишка, потому что до сих пор все в жизни мне казалось простым и ясным.

Мои не спали.

Мать читала, а пепельница перед ней напоминала ежа — оттуда, как иголки, торчали десятки окурков. Колянич был на кухне и вырезал из корня какое-то чудище, помесь козла со слоном. Это его хобби — вырезать из корней всякие штуковины.

— Наконец-то, — сказала мама, вглядываясь в меня. — Ужинать будешь?

— Завтракать, — поправил я.

— Все влюбленные обычно постятся, — сказал из кухни Колянич. — У Володьки же правильное отношение к любви.

— Никакой любви нет, Колянич. Все мои выдумки. Поэтому давай, мать, котлеты.

Мама возмутилась: «Что произошло? Значит, эта девчонка просто дурила тебе голову?» Сейчас она обиделась за меня. «Конечно, ждать, пока солдат вернется, не очень весело. Но ведь другие-то ждут!» Колянич вышел из кухни со своим козло-слоном и спросил:

— Выпьем с горя, где же кружка?

— Нет, — сказал я, — все правильно.

Мне было немного печально и легко. Очевидно, всегда легко, когда все правильно.

Будь счастлив, старик!

Каждый отпуск хорош только в первые дни, когда не надо считать, сколько остается до конца. Мои десять дней оказались слишком короткими. Вот уж действительно, что говорится, ахнуть не успел. На одни только кино ушло часов восемнадцать. И еще — магазины. У меня был длинный список — кому чего привезти. Две картонки стояли упакованными, когда я вспомнил о транзисторе. Покрутил колесико и поймал песню. Ту самую: «Тебе половина — и мне половина».

— Колянич, — сказал я каким-то противным, подхалимским голосом, — дашь мне транзистор?

— Не жирно будет?

— Дай, пожалуйста. Ведь мы на острове живем.

— Черт с тобой, бери.

— А ведь он не вернется. Все равно дашь?

— Почему не вернется?

Я рассказал о спиннинге с табличкой, о дровах, которые заготовили для нас «деды», о чистом белье... Так вот, я оставляю транзистор салаге, которая сменит нас через год. Пусть слушают. Конечно, Коляничу не очень-то хотелось расставаться с транзистором. Но, с другой стороны, он не мог отказать мне. Я его успокоил. Вернусь и накоплю на такой же. А без транзистора нам — зарез!

— Ладно, — вздохнул Колянич. — Грабь меня.

Пора было ехать.

С Зойкой я попрощался вчера. Мы зашли в «Анги-ну» — так кто-то прозвал кафе «Огонек» на Невском, — сли мороженое и говорили о пустяках. Все серьезное было сказано. Я смотрел на Зойку, думая, что теперь мы встретимся не скоро. Куда она поедет после КамАЗа? Ей двадцать, а сколько еще будет строиться городов, и она, конечно, не усидит на месте.

— Ты будешь мне писать? — спросила она. Я кивнул. — Честное слово? Что бы ни случилось?

— Честное слово, — сказал я.

— И про свои подвиги тоже?

— Подвигов не предвидится, — усмехнулся я.

Зойка положила свою руку на мою.

— Вот в чем ты изменился, — сказала она. — Перестал хвастаться. А как же это? — И чуть прикрыв глаза, начала декламировать: «Два дня на море бушевал шторм. Находящийся на вышке рядовой Соколов увидел лодку, которую несло на берег. Тревога! Действуя по инструкции, Соколов выпустил сигнальные ракеты и сбежал вниз...» Дальше я точно не помню. А потом: «За четкость в проведении задержания и проявленное при этом мужество рядовые Соколов, Головня и Кыргемаа поощрены внеочередными отпусками». Вот и вся твоя военная тайна.

— Откуда ты это знаешь?

Она вынула из сумочки конверт, а оттуда — вырезку из газеты. Мы трое — Эрих, Сашка и я — стояли на камнях, сжимая автоматы и вглядываясь в даль. Очень здорово получился этот снимок! «Фото и текст прапорщика В. Смирнова», — стояло внизу. Вырезку, конечно, прислал Сашка.

Опять Сашка!

Итак, любовь не получилась, ходи в холостяках, сказал я сам себе. На вокзал Зойка не придет — ра-

бота. Со своими я тоже попрощаюсь дома. Лучше бы мне вовсе было не ездить в этот отпуск. Одно расстройство.

И опять в окне поезда словно бы прокручивалась знакомая лента: дачные поселки, леса, потом — приморский городок, штаб отряда... Опять повезло: на левый фланг шла «хлебная» машина, и уже к вечеру я был на заставе. Зашел в канцелярию — надо было доложить старшему лейтенанту — и обомлел: начальник заставы разговаривал с Сырцовым!

И я не сразу сообразил, что он здесь последние часы, что он уже едет домой — не в отпуск, а насовсем, — и тоже увидимся бог весть когда.

— Ну, вот и дождались, — сказал старший лейтенант. — Поедете с «хлебной» машиной, так быстрее, пожалуй. — И обернулся ко мне. — Сержант вас второй день ждет. Остальные уехали еще вчера.

Не люблю прощаться. У меня защекотало в горле, когда мы шли к «хлебной» машине. Я нес чемоданчик Сырцова и огромный лосиный рог. Этот рог ребята нашли в лесу и подарили Сырцову. Будет хорошая вешалка.

— Адрес я оставил, — сказал Сырцов.

— Я помню. Коми АССР. Березовский леспромхоз.

— Как отдохнул?

— Так... В кино ходил. На завод.

Хлеб уже выгрузили, и солдат-водитель запихивал обратно в ячейки пустые ящики. Он спешил. Ему надо было успеть еще на три заставы. Концы немаленькие. Сырцов тоскливо сказал:

— Ну, будь.

— Ты тоже.

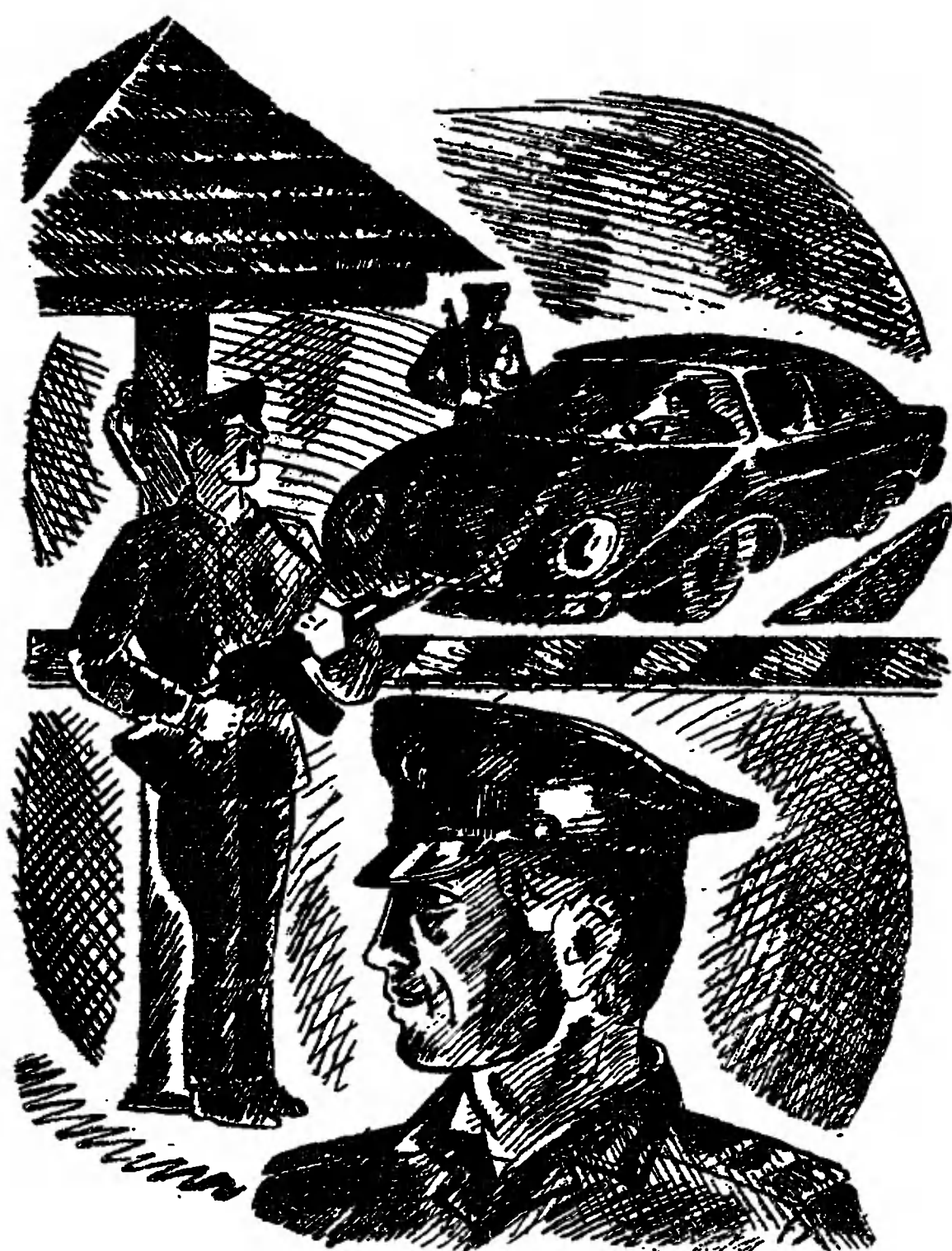
— Вот что... Начальник заставы спросил, кого пока оставить за старшего? Я назвал тебя.

Мы были мужчины все-таки. Нам не положено расцеловываться, да еще на глазах у всех.

Вдруг я вспомнил, как Эрих говорил когда-то: «У нас полагается выбирать, с кем лучше идти в море». Я подумал, что с Эрихом я пошел бы. И с Сырцовым, и с Ленькой, и с Сашкой Головной. Все правильно. И все у нас впереди. Я не знал, что там впереди, у меня будет еще много таких ребят, с которыми я пошел бы куда угодно, в любое море, в любую разведку.

ВИКТОР ПШЕНИЧНИКОВ

ВОСЕМЬ МИНУТ ТРЕВОГИ





В сумерках на сопредельной территории, далеко за линией границы, протарахтел мотоцикл. В полном затишье низкий и редкий звук работающего мотора, переваливая через многочисленные ложки и распадки, постепенно искажался и на расстоянии уже напоминал безобидное пение цикады.

— Похоже, БМВ, — высказал предположение старший наряда, первым уловивший посторонний шум. — Километра два от нас, не меньше. — Слегка хрипловатый голос младшего сержанта не выражал ни озабоченности, ни тревоги.

Первогодок Паршиков, до этого обзоревавший в бинокль свой сектор участка границы, тоже насторожил ухо, какое-то время напряженно вслушивался. Потом сказал не очень уверенно — чтобы ненароком не обидеть младшего сержанта:

— А мне кажется, «хорьх».

Гвоздев улыбнулся: понравилась самостоятельность суждения напарника. Знающе пояснил:

— «Хорьх» — машина спортивная, у нее «голос», как у циркулярки, резаный, высокий. А БМВ — что лошадь. Ему прыть ни к чему, ему нужна мощь, сила. У моего дяди когда-то был такой, с коляской. Трофейный. Он на нем сена чуть не по десять центнеров привозил.

Горожанин Паршиков не знал, много это или мало — десять центнеров сена и можно ли перевезти столько на мотоцикле с коляской, поэтому неопределенно гмыкнул:

— Угу-у...

Помолчали.

Далекий цикадный звук длился еще секунд десять, потом разом иссяк, пропал. Установилась тишина.

На закрытое редколесьем вечернее солнце уже можно было смотреть не щурясь, но широкий малиновый полог в том месте, куда закатывалось светило, все тускнел и тускнел, будто оставленный без заботы костерок, и вскоре вовсе угас. Почти мгновенно пала темнота.

От близкой болотины предвестником ночи донесся запах сыри. Жирный туманный клочок, вспениваясь высокой гривой, потек к распадку, распространяясь вширь. Дневная живность затаивалась, устроившись на ночлег, а вместо нее давали о себе знать ночные обитатели. Вот где-то внизу недовольно фыркнул барсук — должно быть, учуял своего извечного соперника, енота. Запоздало, уже в темноте, с хорханьем протянули вальдшнепы, штук пять, пронеслись почти над наблюдательной вышкой и канули в безмолвно принявшей их чаще.

— Пора, — сверяясь с часами, сказал Гвоздев, и по этому сигналу Паршиков живо снял с шеи ремешок, уложил порядком надоевший бинокль в футляр из толстой скрипучей кожи. Больше на вышке им делать было нечего. Оставалось доложить дежурному по заставе об окончании службы, и можно трогаться в обратный путь.

Пограничники спустились с вышки — Гвоздев первым, младший наряда, неловко цепляя оружием за металлические поручни, — следом.

Внизу заметнее, резче охватила прохлада. Но после многометровой высоты вышки, после болтанки на ветру ощущение земной тверди было приятным, шагалось легко. Задубевшие от долгого, почти неподвижного стояния мышцы ног вновь обретали упругость, наливаясь силой. Да и дорога к дому, тускло отсвечивая в ночи асфальтом, будто подтекала, стремилась навстречу сама, потому что, как ни говори, застава была им домом, возвращаться в который всегда милей, желанней, чем из него уходить.

Начальник заставы майор Боев принял доклад старшего наряда в канцелярии. Гвоздев скороговоркой, придерживая рукой ремень автомата, заученно отрапортовал:

— Товарищ майор, пограничный наряд в составе младшего сержанта Гвоздева и рядового Паршикова прибыл с охраны границы. За время несения службы

признаков нарушения государственной границы не обнаружено.

Паршикову уже виделся, будто наяву, сытный ужин и долгий-долгий, до самого рассвета, сон. Однако Боев не торопился отпускать наряд. Каким-то чутьем угадывая недосказанность, проникая в недосягаемую, в общем-то, глубину памяти старшего наряда, начальник заставы хмуро спросил:

— Все?

Гвоздев помялся: краткий эпизод с неведомым мотоциклом на сопредельной стороне, который к тому же увидеть не удалось, казался ему несущественным, недостойным ни внимания, ни даже краткого доклада.

— Слышали шум мотоцикла, — после некоторого раздумья добавил Гвоздев, не вдаваясь в подробности и при этом, как бы за подтверждением, обращая глаза к Паршикову. Первогодок кивнул, хотя, наверно, этого от него и не требовалось.

Против ожидания Боев заинтересовался сообщением, живо уточнил:

— Тяжелого или спортивного? Далеко?

— Похоже, БМВ. Километрах в двух от линейки. Или около двух. Самой машины не видели: деревья, темно...

Боев не стал соотноситься с картой — знал участок границы заставы на память. Только спросил устыдившегося своей оплошности младшего сержанта:

— Больше ничего не заметили?

Гвоздев односложно ответил: нет.

— Что ж, хорошо, отдыхайте.

Спустя два дня, когда Гвоздев с Паршиковым вновь оказались в парном наряде на том же участке границы, они опять услышали долетевшее с чужой территории знакомое татаканье мотора тяжелой машины. Паршиков невольно подался ближе к старшему наряду, мягкими, осторожными шажками перешел по настилу смотровой площадки на сторону Гвоздева.

— Наблюдайте за своим сектором! — излишне резко остановил его Гвоздев, сам ощутив при первых же звуках мотоциклетных выхлопов проснувшийся в нем охотничий азарт.

Станный мотоцикл до конца наряда не давал ему покоя, мучил, распаляя воображение, именно своей загадочностью.

Облокотившись на перила вышки, чего бы в другой

раз делать не стал — не позволяла инструкция, — Гвоздев приставил к глазам бинокль, силясь разглядеть сквозь сильную оптику закрытую лесом даль. Эта даль на всем видимом протяжении была испятнана то тусклыми окнами болот, то ложками, то островками пышной высокорослой травы, мешавшей обзору. До ряби в глазах Гвоздев оглядывал прилегающую к границе местность. Но в окулярах отражалась все та же мало-выразительная, сникшая перед близкой уже зимой растительность, давно потерявшая живительный, радующий взор цвет зелени и повсеместно окрасившаяся в серый покорный тон. Оголенно темнели тощие стволики ольхи по краям болот. Моховые кочки бородавками выпирали из земли, словно по ней, некогда ровной и привлекательной, побродило неведомое гигантское чудище, ископытило все вокруг, обезобразило и ушло.

Между тем отчетливо слышимый мотор с подвывом потянул на высокой, все равно басовитой ноте, и форсированная прогазовка уже мало напоминала прежнее ленивое цвирканье одинокой цикады. Похоже, мотоциклист одолевал какой-то крутой подъем или торил путь по бездорожью, среди чащобы, где не было ни жилья, ни более-менее проходимых дорог. Потом мотор разом смолк, как захлебнулся.

Латунные ободки окуляров впились Гвоздеву в надбровные дуги, а он не мог поначалу понять, откуда эта тяжесть, ломота — только смотрел и смотрел вперед. Один раз в перекрестье делений линз попало темное движущееся пятно, которое неясно мелькнуло и тут же скрылось, неузнанное, в подлеске. Гвоздев торопливо и раз и другой прошелся биноклем по тому же месту, вновь нащупал исчезнувшее пятно и облегченно вздохнул: лань. Грациозная, никем не пуганная. Не спеша передвигаясь, лань спокойно выщипывала невидимую отсюда травку, изгибая шелковистую шею с маленькой, как бы точеной головкой.

— Ничего? — с надеждой спросил первогодок Паршиков, которому не терпелось приобщиться к захватывающей истории, уже заполнившей его воображение многообразием ярких, быстро сменяющихся сцен.

— Ничего, — буркнул Гвоздев, отступая от шатких перилец вышки.

Верхом, «грядой», шевеля ветки елей, прошла куница, четким контуром видимая на фоне посеревшего неба, и заметивший ее Гвоздев невольно чертыхнулся:

прыгает себе с ветки на ветку, подстерегает молодых белочек, всего и дел-то, а тут...

В тех краях, где он вырос, зазимье выглядело куда пышнее, нарядней. Колючие, в стеклянной крошке инея, утренники еще затемно разукрашивались скрипучими песенками снегирей. «Рюм-рюм-рюм...» — немолчно несло отовсюду, и даже самый неказистый куст, с которого распевал снегирь-петушок, расцветал, словно на нем вдруг распускался диковинный цветок. «Рюм-рюм», — поскрипывал петушок, приглашая снегурушку на лакомое семя, и похожая на воробышка птица бочком подскакивала к супругу, закрыв глаза, внимала нескончаемой нежной песенке, которую, наверно, не уставала слушать всю жизнь, потому что снегири, как и лебеди, выбирают себе спутника на всю жизнь...

Любил Гвоздев скромную снегурушку. Любил и всегда удивлялся, почему не ей, скромнице, а драчливому петушку достался такой необыкновенный наряд!..

Еще любил Гвоздев наблюдать, как на обметанном куржаком можжевелевом кусту где-нибудь в лесной чащобе принимались пировать хохлатые свиристели, выщипывали черные, с сизым налетом, тронутые морозом ягоды мозжухи или, по-другому, еленца: бранились свиристели так, что слышно было за версту, а можжевель от их наскоков мотало, как при урагане... А иногда, напросившись с дядей, егерем, ехать к дальним стогам за сеном, брел, усталый, куда вели ноги, и не было вокруг иных звуков, кроме хрупанья под сапогами пучков жесткой северной травы, едва присыпанной снегом. Случалось, в открытом понизовье вспугивал только-только перелинявшего зайца, и перепуганный насмерть косою стремглав мчался долом к лесу, где тоже, пока не улеглась настоящая зима, жизнь для него — не сахар: всюду листья сухие гремят, перекашиваются, врагов несметных напоминают...

Маленьким еще как-то пошел в лес за земляникой, двух девчонок соседских для компании с собой прихватил. Приметил он одно место, где лесная ягода росла осыпью, рясно. За нею и ползать не надо было по угорам да вырубкам, росла она вдоль нефтетрассы, на пригреве, сама в руки просилась: только рви, не ленись.

Нащипал он бидончик с верхом, уморился, сполз с трассы в тень, куда солнце не доставало. И ахнул: прямо перед ним, в пещерке, вырытой под суковатым

корнем, шевелились три пушистых котенка. Пробовал достать, но те в руки не давались — шипели отчаянно, коготки выпускали, шерстка дыбилась. Он позабавлялся с ними, кидая в котят палыми шишками, комочками рыхлой земли, потом, когда одному прискучило, кликнул девчонок. Соседки наперебой заверещали, хотели унести котят с собой, но вконец разъярившиеся зверьки и им не дались, только исцарапали, и прутик, которым их шевелили, злясь, отбивали растопыренными лапками в острых коготках. Пришлось оставить котят, неизвестно как попавших в ямку под корнем, одних... Он вернулся домой, похвастал перед дядей лесной добычей — бидончиком, полным спелых ягод. Рассказал и о том, что разведal под корягой норку котят, только диких и злых. «Эх, горе! — Дядя, у которого он воспитывался и научился многим премудростям, погладил его по макушке шершавой ладонью. — То не котята были, а детеныши рыси. Хорошо, матки не оказалось вблизи — не то порвала бы вас всех на куски вместе с ягодой. Котята!..»

Мыслями уйдя за дальние дали, в сибирские родные просторы, Гвоздев не сразу стряхнул с себя наваждение, с досадой выговорил самому себе: не ко времени замечтался. Может, как раз в такой ротозейный момент и проскользнет у тебя под носом нарушитель! И знать не будешь, что на твоей он совести, пока его не задержат где-нибудь за многие километры от этого места и не восстановят картины прорыва... Да еще, не дай бог, напарник поймет, что на какие-то секунды старший наряда отключился, отвлекся, — не оберешься стыда. Гвоздев сам же учил его с первого дня: на службе думать только о службе, эта заповедь для пограничника — закон...

Но, не заметив его оплошности, Паршиков в эти минуты старательно обследовал местность, обеими руками удерживая у переносья бинокль, и Гвоздев, ментально забыв о постороннем, переключился на другое.

Шум неведомого мотора с самого начала не давал ему покоя. Даже и смолкнув, он продолжал, будто наяву, звучать в ушах, неясной тревожащей ноткой будоража старшего наряда; рождалось предчувствие других, грядущих событий, как-то связанных с «любителем» ночной езды...

Конечно, мотоциклу можно было и не уделять

столько внимания: мало ли какая забота вынуждает человека выезжать на ночь глядя из дому!.. Да только поблизости на той стороне — и Гвоздев это знал — не было ни жилья, ни сенокосных угодий, ни охотничьих домиков, ни каких-либо еще строений, объясняющих присутствие человека вблизи границы. Ведь не по грибы же, в самом деле, забрался он в такую глухомань!..

И еще одно обстоятельство настораживало Гвоздева. Почему странный мотоциклист ни в первый раз, ни сейчас не воспользовался фарой? Ведь ехать в потемках опасно, да и неудобно: того и гляди опрокинешься. Значит, боялся, не хотел быть замеченным? И, наверно, полагал, что на расстоянии, за редколесьем, пограничникам мотор вряд ли слышен...

Размышляя обо всем этом, Гвоздев привычно держал бинокль у глаз, ведя его «змейкой»: дальний план — дуга, средний план — дуга, ближний — дуга. И так бессчетное количество раз, почти автоматически — дальний план, средний, ближний... Что-то вроде бы изменилось на ближнем плане, произошла там какая-то едва заметная глазу перестановка. Или просто померещилось, как иногда бывает от чрезмерного напряжения?

Гвоздев плавно навел бинокль на заинтересовавшее его место. Так и есть, не померещилось. Рядом с кривоватой карликовой сосной, неведь кем занесенной на балтийскую землю из тундры, выросло непонятное возвышение. Кочка не кочка, бугор не бугор. Гвоздев мог поклясться, что никогда прежде этого горба не было. Уж он-то давно изучил все подступы к границе, мог по памяти отобразить на бумаге не то что каждое дерево, но и каждый куст, любую извилину болот и распадков!

Внезапно ему показалось, будто бугор шевельнулся. Гвоздев затаил дыхание: теперь он ясно, несмотря на густевшие сумерки, различил покатуую спину затаившегося у сосенки человека в защитного цвета куртке и низко надвинутой на лоб кепке или берете.

— Вижу! Вижу неизвестного, — унимая волнение, сообщил он напарнику. — Связывайся с заставой!

Однако против ожидания человек продолжал лежать неподвижно, тесно прижавшись к земле. Именно то, что он не делал никаких попыток приблизиться к границе, несколько озадачило пограничников. А неизвестный, еще немного понаблюдав, тихо, ползком по-

кинул свое укрытие, юркнул в чащу, оставив Гвоздева в настороженности и недоумении. Через какой-то промежуток времени за распадком вновь раздалось урчание мотоцикла, удалявшегося, судя по звуку, в противоположную сторону...

Потом это стало повторяться почти каждый вечер: своей назойливостью, регулярным появлением вблизи границы визитер словно бросал пограничникам вызов, сам того не ведая, поселял в их сердцах нервозность, неизбежную злость. Пограничные наряды регулярно докладывали о своих наблюдениях на заставу, и перед начальником заставы майором Боевым вырисовывалась довольно четкая картина. С разницей примерно в полчаса от ранее отмеченного времени мотоциклист приезжал на своем допотопном агрегате, сколько-то шел пешком через чащобу, а затем устраивался на прежнем месте под низкорослой сосенкой и, не двигаясь, замирал. Правда, за все это время он ни разу не сделал попытки приблизиться к границе хотя бы на шаг, и это тоже казалось в его поведении странным.

Вряд ли мотоциклист не сознавал, что давно обнаружен: он вскоре вооружился мощным биноклем, а наряды на вышке, которым не было нужды прятаться от посторонних глаз, стояли у него на виду. Тем более казалось непонятным, чего он добивался столь грубыми, неуклюжими действиями. Пытался выяснить систему охраны границы, найти для себя лазейку, какой-нибудь проход? Но ведь он наверняка догадывался, что с момента его появления у рубежа пограничники проявляют особую бдительность, что малейший его шаг контролируется и любая попытка проникнуть на нашу территорию будет вскоре же пресечена!..

Начальник заставы искал для себя смысл, хоть какое-то оправдание такому поведению незнакомца, но, увы, пока что не находил. Та бесцеремонность, нахальство, с которыми мотоциклист разглядывал советскую территорию, вызывали в нем лишь чувство неприязни к чужестранцу, но загадки не проясняли.

Похоже было, что пришельца не очень-то заботила и маскировка. Каждый наряд замечал что-нибудь новое в его поведении. Теперь уже мотоциклист занимал свой пост полусидя, привалясь спиной к сосне, будто на пикнике, и время от времени энергично крутил головой — должно быть, разминал затекшую шею. Однажды он и вовсе не таясь достал из-за пазухи тер-

мос с блестящим металлическим колпачком, толстые бутерброды и принялся как ни в чем не бывало закусывать.

Снова оказавшись в наряде на этом направлении и заметив такую «дачную» картину, Паршиков в горячке аж взвился, заговорил с негодованием:

— Ну совсем обнаглел, обормот, уже чаи распишет! Смотри, ведь что вытворяет!.. Шугануть бы его чем-нибудь, чтобы не шлялся. Повадился, как на работу...

Гвоздев остудил его пыл:

— Не шуганешь. Он на своей территории. Не имеем такого права.

— Так ведь торчит, гад, как в замочную скважину подглядывает! — не унимался солдат, всем своим видом выражая нетерпение, надобность каких-то срочных и кардинальных мер.

Гвоздев спокойно отозвался:

— Не бурчи, молодой. Многого он все равно не разглядит, а ты себе только нервы порвешь, и все без толку. Давай лучше за своим флангом хорошенько смотри, шугатель!

Но в последний раз и младший сержант не выдержал, вскипел. Мотоциклист на свой наблюдательный пост принес кинокамеру с длинным телеобъективом, установил ее на низкорослую треногу, начал что-то подкручивать, прилаживаться к глазку. Гвоздев схватился за телефон, потребовал у дежурного связиста соединить его с начальником заставы, а когда майор отозвался, Гвоздев не по-уставному доложил:

— Товарищ майор, опять этот мотоциклист!

— Как ведет себя? — будничным каким-то голосом спросил Боев старшего наряда.

— Да как! Кинокамеру притащил, снимает. Нашел кино!

— Ну пусть снимает, если пленки не жалко, — сказал в ответ Боев, и Гвоздеву показалось, будто начальник заставы при этом усмехнулся.

Конечно, новое сообщение о кинокамере не оставило Боева равнодушным. Он давно уже позаботился об изменении графика выхода пограничных нарядов на службу, распорядился, чтобы дозоры выдвигались на фланги скрытно, по вновь пробитой тыловой тропе, так что наблюдателю с его кинокамерой оставался для «сюжета» пустой безлюдный ландшафт с малохудожествен-

ственными на вид заградительными сооружениями на переднем плане да одинокая вышка, торчащая на фоне неба, как перст... И все равно после доклада Гвоздева в душе Боева с новой силой вспыхнула неприязнь к чужеземцу. В самом деле, было такое ощущение, о котором майору рассказывал Паршиков — будто за тобой подсматривают в замочную скважину, мешают жить в собственном доме...

Впрочем, загадочный мотоциклист вскоре исчез и больше вблизи границы не появлялся. Долго еще дозоры надеялись на встречу с таинственным наблюдателем, но, видно, состояться ей было не суждено. Само собой, и страсти, бурлившие в солдатских разговорах о неизвестном человеке, улеглись. О мотоциклисте напоминали теперь лишь несколько преувеличенные, как это всегда и бывает, рассказы очевидцев да короткие записи в «Пограничной книге», с течением времени тоже ставшие достоянием истории.

Круто изменилась и сама природа. Вовсе опали листья, сникли пожелтевшие травы. С моря подули ветра, нагнали зимних неласковых туч. Набухшие, все сплошь с темным подбоем, шли они над двором и постройками заставы тяжело, будто на таран, угрюмой чередой тянулись вдоль границы, пока однажды их не прорвало. Без дождя, сразу крупной, сыпанул запоздалый снежок. Стрекоча в сухостое, выбелил землю, уже лысую, пустую, уставшую ждать покрова.

В один день, без ростепели и дождей, пришла зима, запаяла озерки и болотца толстой, в палец, оловянной коркой льда, сквозь которую сивой щетиной торчали и мотались на ветру редкие камыши.

А по радио сообщали нереальные вещи: в долинах Туркмении — плюс пятнадцать. Теплынь...

2

Свет мигнул и раз, и другой. Видимо, под свирепым напором ветра провода, где-то соприкасаясь, перетерлись и теперь коротили. Спустя секунду стосвечовая лампочка под потолком канцелярии начальника заставы вновь замигала, просела, но удержалась на полунакале, не погасла.

— Чертова непогода! — Боев на всякий случай переставил с подоконника на край широченного стола следовой фонарь, который обычно брал с собой, когда

выезжал на границу по тревоге. Почему-то с давних пор, чуть ли не с детства он не любил темноты, не доверял ей.

Время от времени жалобно тренькало плохо закрепленное стекло в наглухо закрытой фрамуге, да за железной дверью опечатанного сейфа тонким комариным зудом пела в постоянной готовности к работе аппаратура дежурной связи, и от этих однообразных звуков, от завывания ветра на сердце Боева становилось тоскливо.

Он поднялся из-за стола, воткнул в зазор между стеклом и рамой фрамуги обломок спички. Подождал, не повторится ли противное дребезжание, поколупал ногтем кусок окаменевшей замазки. Даже такая простая забота сейчас помогала ему отвлечься от неприятных дум. И все же он не смог погасить в себе растущее с каждой минутой раздражение и тревогу, то и дело без надобности поглядывал на часы.

Стрелки настенных часов показывали всего четверть пятого, немногим за вершину дня, а за окнами, сплошь заляпанными снегом, уже давно клубилась фиолетовая темнота, насквозь выстуженная морозом. «Собственного носа теперь не увидишь, не то что дороги! — с досадой подумал Боев. — Надо же было Ковалеву ехать в такую канитель!..»

Боев перегнулся через стол, дотронулся до ярко-красной клавиши селектора на приставном столике, приткнулся к микрофону.

— Дежурный? Где Ваулин?

Назначенный дежурным сержант Бочарников немедленно отозвался:

— Старший лейтенант Ваулин после лекции проводит медосмотр личного состава.

Боев вновь откинулся на спинку стула. Настраивая себя на работу, придвинул ближе разграфленную тетрадь в коленкоре. Щелкнул было кнопкой шариковой ручки, намереваясь продолжить отложенные записи, но лишь бездумно поглядел на собственные, сейчас вроде бы чужеватые строки, плохо воспринимая их смысл. Не работалось. То ли разгулявшаяся за окном вьюга мешала, то ли непривычная тишина в коридоре казармы, то ли еще что... Уже пора было докладывать в отряд ежедневную сводку: наличие личного состава, обстановку на участке границы, количество прикомандированных и больных, прочие данные. Однако из головы

не выходило, мешая сосредоточиться, одно: до сих пор не поступило каких-либо вестей от подполковника Ковалева. Два часа назад начальник отряда выехал с заставским шофером на левый фланг, к соседям — и словно пропал. А ведь уезжал не с чьей-нибудь, а с его, майора Боева, заставы...

Нет, совесть Боева была чиста. Он предупреждал старшего офицера, от души советовал ему переждать непогоду. Но подполковник Ковалев, всего лишь неделю назад вступивший в должность начальника отряда, оказался настырней — настоял на своем. Видимо, с первых дней пребывания на новом месте — естественно, утверждаясь в глазах подчиненных ему офицеров застав и штаба, — давал им понять, что отменять свои решения, отступаться от них, как в данном случае, не привык.

В слепом, по мнению Боева, желании Ковалева непременно ехать, и непременно теперь, несмотря на пургу, майор усматривал не больше, чем безрассудство, ненужный риск, которые — уж это заранее известно — ни к чему хорошему привести не могут.

Конечно, волю Ковалева он воспринял единственно возможным образом — как должное, как приказ; иначе и быть не могло. Но глубоко в душе осудил напрасную лихость нового начальника отряда и, похоже, был Ковалевым разгадан. Впрочем, Боев о том не жалел ничуть.

Начальник отряда прибыл к Боеву еще поутру. Валом обрушившийся снегопад застал Ковалева в пути, на полдороге, и малоприспособленная для подобных поездок комфортабельная «Волга» до заставы едва дотянула.

Еще не отогревшись с дороги, даже не разглядев как следует убранство канцелярии, Ковалев тут же распорядился, чтобы готовили к выезду заставскую машину, а «Волгу» загнали в бокс. Своего водителя он приказал накормить и держать на котловом довольствии заставы до своего возвращения; себе затребовал только чаю. Тогда и произошел между офицерами разговор о предстоящей поездке Ковалева по линейным застам. Пока что, не зная характера нового начальника отряда, Боев осторожно заметил, что дорога по рубежу закрыта, обильный снег начисто скрыл колею, завалил ее вровень с полем — так, что и мощному вездеходу едва ли пройти.

— А дороги по тылу? — щурясь, будто от яркого света, задал вопрос Ковалев.

— Почти такие же.

Словно обжегшись горячим чаем, Ковалев недовольно фыркнул.

— Что намерены предпринять? Или так и будете... ждать, когда весной растает само?

— Мы просили местные власти выделить нам снегоочистители, но пока... — Боев развел руками. — Пока у них и своей работы невпроворот, дальние совхозы оказались отрезанными. — Заметив неудовлетворенность начальника отряда, Боев добавил: — Вчера я выезжал и лично убедился: дорога по тылу тоже непроходима.

— А если возникнет обстановка? — упрямо гнул свое Ковалев. — Что будете делать, как обеспечите охрану границы?

Боев искренне удивился вопросу: для чего же тогда лыжные наряды? Не зря же он с таким усердием налегал на физическую подготовку, требовал от офицеров и сержантов, чтобы каждый пограничник научился владеть лыжами не хуже, чем, скажем, столовой ложкой...

Ковалев нетерпеливо перебил:

— А если использовать аэросани? Техникой, слава богу, погранвойска оснащают.

Теперь наступил черед Боева взять реванш за обидный, в общем-то, вопрос об обеспечении охраны участка, за сомнение, которое в нем прозвучало. В эти минуты их не разделяли ни разница в званиях, ни положение по должности — шел разговор двух специалистов границы, допускающий и некоторую вольность выражений. И Боев быстро возразил:

— Аэросани — по пням да буеракам?

Ковалев лишь молча кивнул на его пояснение, но было видно: по-прежнему чем-то недоволен. А Боев, как на грех, еще добавил — словно в оправдание переменчивых местных условий климата и неподходящего рельефа местности:

— Здесь не Подмосковье, где электрички и автобусы на каждом шагу...

Лучше бы он этого не произносил! Ковалев закусил губу.

— Средняя Азия, где я прослужил десять лет, тоже не похожа ни на Калининский проспект в Москве, ни на Крещатик, — отрезал он излишне категорично. По-

думал и договорил голосом, в котором без труда угадывалось назидание: — Мы же с вами, товарищ майор, люди военные.

Боев благоразумно не стал возражать или, что хуже того, напрасно обижаться, потому что не раз слышанная им и прежде фраза «мы люди военные» подводила под разговором черту, исключала какую бы то ни было дальнейшую дискуссию, и только чересчур горячий, излишне самолюбивый мог в ущерб себе отстаивать перед начальством свою точку зрения... Боев (выручило природное чутье и житейский опыт) лишь как можно мягче уточнил время выезда начальника отряда, спросил, будут ли дополнительные распоряжения.

— Будут. Когда вернусь, — заверил Ковалев ничего хорошего не обещающим тоном, и по этим скупым словам, по этому тону Боев решил: либо новый начальник отряда вообще резковат, либо... чем-то Боев пришелся ему не по душе...

А Ковалев, аккуратно, до дна, процеживая чайники, допил свой чай, оставил эмалированную кружку, поднялся из-за стола. Встал и Боев.

Держась чуть поодаль, начальник заставы отметил: не поленился подполковник, и стул убрал за собой на место, и пригнулся к низкому окну раздатки, сказал в глубину кухни невидимому из-за спины солдату:

— Спасибо, товарищ повар, за чай.

«Не кичлив», — с удовольствием оценил его Боев, выступая следом за подполковником в коридор.

Нутром он понимал истинную цену и причину излишней на первый взгляд строгости нового начальника отряда: и люди для него пока что незнакомые, и пресловутые местные условия, о которых нехотая упомянул Боев, тоже, как ни крути, иные, чем в «лимонных» краях — в Средней Азии. А в чем Боев больше прав относительно характера Ковалева — покажет время.

Еще раньше Боев отметил, что Ковалев, едва прибыв, распорядился прежде всего накормить водителя.

«Заботлив, — вновь подумалось Боеву. — Это хорошо. Значит, поладим».

К стоявшей на выезде машине Ковалев шел не как иные «гастролеры», не налегке, а с «тревожным» фибровым чемоданчиком, довольно обшарпанным, при этом нес его сам, не перепоручая шоферу. И эта деталь тоже не укрылась от Боева, запомнилась. А много ли надо опытному офицеру-пограничнику, чтобы из таких вот

штрихов составить для себя портрет человека, которого еще совершенно не знаешь?

— С вашей заставой тоже познакомлюсь поближе, когда вернусь, — пообещал Ковалев перед тем, как отправиться в поездку на фланг.

И вот теперь Боев, в который уж раз позвонив начальнику соседней заставы и убедившись, что Ковалев к нему так и не прибыл, в раздумье мерил шагами просторную канцелярию.

Для него ясным было одно: надо без промедления ехать вслед за Ковалевым, пока не поздно, выручать машину и людей из заноса. Благо и отрядный медик старший лейтенант Ваулин, очень кстати командированный по своим делам на заставу, мог в случае нужды оказать срочную помощь...

Однако до последней минуты Боев медлил, томясь неизвестностью и вынужденным ожиданием. Он помнил твердый наказ Ковалева: пока не установится погода — держать заставский транспорт на приколе. К тому же Боев еще надеялся на благоприятную весть, то и дело тормошил дежурного радиста, требуя связи с пропавшей машиной. Тот же каждый раз отвечал, словно оправдываясь:

— Связи нет, товарищ майор. Сплошные помехи.

Вызванный в канцелярию старший мастер по электроприборам тоже уверял начальника заставы, что перед выездом «уазика» лично проверил установленную на машине рацию, убедился в ее исправности, и у Боева не было причин не доверять его словам.

Стрелки настенных часов уже показывали половину пятого. Боев решительно поднялся из-за стола, снял с крючка и набросил на плечи китель. Слово забыв о селекторе, зычно позвал в приоткрытую дверь:

— Дежурный!

Сержант Бочарников замер на пороге в ожидании приказов майора.

— Машину на выезд!

Всегда стоящая наготове, с прогретым мотором, «тревожная» машина-вездеход тотчас вырулила из гаража. Сквозь двойные стекла канцелярии было слышно, как она подкатила к крыльцу казармы, взвизгнула тормозами.

— Бочарников! — снова распорядился Боев. — Вызовите старшего лейтенанта Ваулина. Со мной поедут

Гвоздев, Паршиков, Апанасенко. Стоп! Апанасенко отставить.

В последний момент вспомнилось Боеву, что с недавних пор у рядового Апанасенко подскочило давление, и тот же Ваулин как-то порекомендовал майору временно освободить солдата от службы, увез Апанасенко с собой в отряд.

Ничего удивительного в этой редкой среди молодых солдат болезни Боев не усматривал. Просто Апанасенко вырос в деревне, никогда выше скирды не поднимался, а тут — дальние дозоры в полном боевом, предельные нагрузки. Та же наблюдательная вышка для него — что телебашня, под небеса. Вот и результат — давление...

Апанасенко пробыл в медчасти отряда три дня и не выдержал, вернулся на заставу. Считай, что сбежал, потому что, как рассказывал Ваулин, удержать его, уверить в необходимости лечения было невозможно. Апанасенко снова попросился в наряд — так настойчиво, что Боев не мог ему отказать. Экипировался, получил оружие, и тут майор увидел: солдат стоит бледный, из носа кровь. Понятно, от наряда его отстранили. Майор помог ему разоблачиться, подхватил автомат. Волей-неволей Боеву снова пришлось оформлять документы на отправку Апанасенко в медчасть.

«Как хотите, товарищ майор, а с заставы я не уйду, — сказал тогда солдат. — Без ребят мне не жить...»

С тех пор Боев всякий раз, составляя план охраны границы и объявляя его на боевом расчете, видел перед собой затуманенные отчаянием, просительные глаза Апанасенко, словно наяву, слышал прерывающийся шепот: «...с заставы... не уйду».

«Глупый, дурачок! — в душе ругал его Боев. — А если с тобой беда приключится, сердце не выдержит — что тогда? Кому тогда будет нужна твоя храбрость?..»

Ругать ругал, но, жалея, не спешил ставить последнюю точку: все тянул с бумагами на Апанасенко, откладывал их на потом. Вот и сейчас дрогнул, едва произнес фамилию солдата, задумался: брать с собой Апанасенко или назначить вместо него другого, более выносливого?..

А с другой стороны, не будешь ведь оберегать Апанасенко до конца службы: армия не детский сад, условия для всех одинаковы, а излишняя опека может

лишь унижить человека, лишить самостоятельности. К тому же отрядный медик Ваулин утверждал, что у Апанасенко наметилось заметное улучшение — видимо, начал втягиваться, привыкать...

Дежурный сержант терпеливо ждал дальнейших распоряжений майора.

— Вот что... — Боев застегнул на кителе последнюю пуговицу. — Пусть собирается и Апанасенко. Проследите, чтобы в машину положили валенки, шубы, на каждого по паре лыж, фонари. Скажите повару, пусть выдаст хлеба, сала, нальет в термос чаю. Все поняли? Выполняйте.

К этому времени и Ваулин завершил медосмотр личного состава; довольный тем, что на заставе не оказалось больных, вошел в канцелярию.

— Ваулин, — спросил Боев у старшего лейтенанта, — спирт у тебя есть?

Ваулин с улыбкой открыл баул с медикаментами, постучал ногтем по фляжке в матерчатом чехле.

— Что, есть повод?

— Есть, есть! — заверил его Боев, коротко обрисовал ситуацию и предупредил: — Выезжаем через пять минут.

Ваулин упрятал пузатую фляжку на дно баула.

— Я готов.

На всем двадцатикилометровом отрезке пути им не встретилось ни одной машины, и у майора создалось впечатление, что едут они по незнакомой безлюдной планете, которую вдоль и поперек сечет непрерывный снег, уводя в сторону, сбивая с ориентиров.

Дальше дорога раздваивалась, делая петлю, пока за распадком вновь не сливалась с основной, сейчас едва угадываемой за снежной пеленой, которую с трудом пробивал свет автомобильных фар. Расстояние обоих отрезков было примерно одинаковым, тянулись они параллельно друг другу, но оставалось неясным, какой путь на этот раз избрал водитель заставского «уазика». А разминуться в такой круговерти — проще простого.

— Сделаем так, — принял решение Боев. — Гвоздев и Апанасенко! Вы на лыжах проходите отвилки. Мы едем дальше и ждем вас у стыка дорог. Держаться вместе, друг друга из виду не терять. Фонари проверили? Хорошо. Полчаса вам хватит. Вперед!

Фигуры солдат, мгновенно выбеленные пургой, слились с окружающей теменью, пропали.

— Гвоздев здесь все знает наизусть, — словно успокаивая себя, сказал Боев, излишне долго умачиваясь на сиденье машины. — Чертова непогода! — второй раз за день ругнулся майор и повернулся к шоферу. — Сейчас не спешите. Держитесь колеи. Трогайте!

К развилке, где приметным знаком высилась сдвоенная толстенная липа, лыжники и машина вышли почти одновременно. От солдат валил пар, завязки отворот шапок под куржаком казались пышными, будто банты.

— Как? — спросил у них Боев, хотя и без слов все было ясно.

— Чисто, товарищ майор, — ответил Гвоздев. — Никаких следов.

Апанасенко в это время отстегивал обледеневшие крепления и не видел, каким пристальным взглядом ощупал его начальник заставы. Зато Гвоздев вдруг озорно вскинул большой палец, давая понять Боеву, что молодой держался отлично, не отставал и вообще все было хорошо.

Меж тем пурга заметно начала ослабевать, ветер изменил направление и словно бы потеплел. Пелена сосалась настолько, что по обеим сторонам дороги черными силуэтами стали видны проглядывающие из сумрака деревья. Но впереди по-прежнему не отмечалось ни малейших признаков присутствия людей, ни огонька не взблескивало в ночи, и потому направление оставалось прежним: вперед, только вперед...

Застрявший «уазик» они обнаружили примерно через полчаса езды. Зеленая машина издали, с высоты бугра, напоминала спичечный коробок, случайно оброненный на дороге.

Шофер и начальник отряда, орудуя лопатками, с двух сторон отгребали на обочину высокие завалы, и чем дальше, тем прочнее садилась машина на мост. Занятые работой, Ковалев и шофер, казалось, не замечали остановившегося в десятке метров вездехода, во всяком случае, и не подумали прерваться и передохнуть.

Боев спрыгнул с подножки кабины. Уминая валенками снег, приблизился, доложил начальнику отряда о прибытии поисковой группы.

— Зачем приехали? — огорошил его Ковалев неуместным, по мнению майора, вопросом. — Сами вы-

брались бы, не маленькие. Занимаетесь самодеятельностью...

Боев покорно выслушал нарекание, подумал не без превосходства: силой в четыре руки не выбрались бы, «уазик» сидел в сугробе по самое брюхо. И под колесами, если даже копать до упора, откроется не земля, а глянцевый наст застывшего ручья, который как раз протекал по застопорившей «уазик» низине.

Ковалев еще минуту-другую поторкал саперной лопатой под днище машины, пытаясь подрезать под ней спрессовавшийся наст, однако все его усилия оказывались напрасными: лопата была коротка, а вырытая ниша уже напоминала окоп.

— Товарищ подполковник, — предложил Боев, — разрешите попробовать тросом?

— Ладно, цепляйте, раз уж вы здесь, — разрешил Ковалев, запахивая куртку и отступая в сторону.

Гвоздев с Апанасенко быстро завели трос, вездеход взревел мотором, с натугой попятился, выдрал «уазик» из ямины. На том месте, где он только что торчал, зарывшись в снег по самые оси, высился плотный спрессованный вал, пропаханный глубокой бороздой от карданного вала. А вездеход полз и полз, пятился задом на гребень горюшки, ведя в поводу меньшего своего собрата с упарившимся водителем за рулем. Офицеры шагали следом, наблюдая за несложными маневрами техники.

— Товарищ подполковник, — предложил Боев начальнику отряда, — может, подкрепитесь? Есть сало, хлеб и... другое. — Он выразительно взглянул на Ваулина. — Ведь проголодались.

— После будем трапезничать, не на пикник выехали, — отозвался подполковник. В голосе его явно сквозила усталость. Впрочем, Ковалев тут же поинтересовался: — Чай есть?

— Полный термос. С облепиховым жомом. Солдаты сами нажали.

— Вот чаю я выпью.

На более или менее подходящем участке дорожного полотна солдаты отцепили трос. Обе машины, взрыхля снежную заметь, опасаясь забуриться в целик, не без труда развернулись в обратный путь. Только что пройденная, умятая колесами вездехода дорога уже не сулила никаких осложнений, так что можно было расслабиться, поблаженствовать в сумраке теплых кабин,

за которыми оставались утихающий ветер и стылый снег.

Скучавший без своего прямого дела Ваулин пересел в кабину головной машины, старшим. Само собой, Боев перешел в «уазик», заранее настраивая себя на неприятную, непривычную для него роль «развлекающего».

Однако первые километры пути Ковалев, к удивлению Боева, молчал, даже не делая попытки заговорить. В напряжении держался и Боев. С разрешения подполковника он покуривал на заднем сиденье, не забывая при этом смотреть поверх головы подполковника за дорогой.

Свет фар резко ограничивал боковое пространство, а то, что оставалось за световой чертой, тонуло в полнейшем мраке, неприятном и подавляющем.

На крутом повороте вездеход основательно тряхнуло, повело юзом, шоферу пришлось круто выворачивать баранку, чтобы не сползти в кювет. Ковалев словно и впрямь подгадывал именно этот момент, спросил:

— От кого вы, товарищ майор, получили разрешение на выезд? Насколько мне помнится, я запретил использовать транспорт в непогоду и помощи у вас не просил тоже...

«Вот тебе и приглашение к танцу! — с невеселой иронией подумал майор. — Не успели познакомиться — изволь оправдываться. А за что?»

В близкой связи с настоящим вспомнился ему давний училищный случай. Не то на первом, не то на втором курсе их учебный дивизион выехал в поле, и там, при боевом гранатометании, у одного из курсантов дрогнула рука. Рубчатая болванка с выдернутой уже чекой скатилась в окоп, ткнулась под ноги... Выбросить-то ее Боев выбросил, вовремя сориентировался, чем избавил себя и товарища от непоправимого. Зато потом не успевал одно за другим давать устные и письменные объяснения, почему пошел на риск, вместо того чтобы вслед за напарником поскорее покинуть тот разнесчастный полигонный окоп. Вот и получалось: с одной стороны — явный героизм, а с другой — чуть ли не безрассудство, и поди разберись, что правильнее...

— Так я не слышу, товарищ майор, — нетерпеливо напомнил о себе Ковалев. — У кого же вы получили разрешение на выезд?

Боев глуховато кашлянул. Ему не нравилось, что

подполковник требовал объяснений в присутствии заставского шофера — человека сообразительного, острого на язык. К тому же майор не видел в подобном объяснении ни особой спешности, ни нужды. Пропали люди, сгинули в пурге, не добравшись до места и ни разу даже не выйдя на связь! Какая же еще нужна была причина для выезда, более весомая, чем эта?..

Однако прошло еще не меньше минуты, пока Боев ответил с плохо скрытым вызовом, даже резкостью:

— Памир меня научил ремеслу. Приходилось спасать.

Пояснять что-либо еще майор посчитал излишним и потому замолчал. Хмуро и недовольно он глядел сквозь лобовое стекло на габаритные огни впереди идущей машины, кроваво сияющие в ночи. Потом вспомнил едкое замечание Ковалева насчет Средней Азии, совсем не похожей на Калининский проспект, и, не удержавшись, добавил:

— Я свою «школу», товарищ подполковник, прошел еще в отрогах Копет-Дага.

— Вот как? — Ковалев живо обернулся к заднему сиденью; Боеву в темноте показалось, будто начальник отряда улыбнулся. — Расскажите-ка подробней.

— Да что рассказывать? — Боев притушил окурок, обжегший пальцы. — Сын у меня, Валерка, вырос, считай, в седле, с нарядами. Ничего, кроме гор да границы, не знал. Вот и весь сказ.

— Понятно... — Ковалев побарабанил пальцами по обивке сиденья. Какое-то время он смотрел на дорогу, вихлявшую между заснеженных деревьев, потом, захваченный внезапной мыслью, вновь обернулся к Боеву.

— Я слышал о вас лестные отзывы как о хорошем организаторе боевой подготовки. Через неделю готовьтесь — проведем у вас инструкторско-методическое занятие с офицерами застав. Так сказать, обменяемся опытом взаимодействия. Конкретней тему обговорим дополнительно...

Боев в ответ на это кивнул: занятия так занятия, он готов провести их хоть сейчас... Больше за всю дорогу они не проронили ни слова. А вскоре вдалеке высветилась окнами и застава: оставшуюся часть пути машины преодолели довольно быстро.

Головной вездеход круто затормозил — от него отделилась ладная фигура отрядного медика — в жарко распахнутом полушубке и с объемистым баулом в руке.

Ваулин придержал для Ковалева дверь, обросшую снежной бахромой. Глаза его сияли.

«Доволен, что все живы-здоровы, никто не обморозился», — определил его состояние Боев.

Вслед за Ковалевым Боев вышел из машины, покрестьянски хлопнул рукавицами, сбивая с них несуществующий снег. Им овладела странная, казалось бы, неуместная веселость; в теле тоже ощущалась небывалая, почти забытая легкость. Как бы то ни было, рассудил Боев, а он выполнил свой прямой долг — доставил старшего офицера в целости и сохранности. Да и впрямь, черт возьми, было приятно: самого начальника отряда вызволил из беды! Пусть не смертельно опасной, не роковой, а все же...

Он любил даже после короткого отсутствия возвращаться на свою заставу, как в родной дом; сейчас же, подогретый маленькой удачей — благополучным завершением поиска пропавшей машины, — Боев и вовсе почувствовал себя хорошо, почти празднично. Улыбаясь размеренно, он наблюдал, как из комнаты дежурного, на ходу охорашиваясь, им навстречу вышел с докладом сержант Бочарников, вскинул ладонь к козырьку:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться к начальнику заставы майору Боеву?

— Обращайтесь.

Однако начальник отряда не поспешил, как надеялся Бочарников, в канцелярию, а по-прежнему стоял рядом, с интересом ожидая доклада дежурного. Сержант заметно смутился, зашептал Боеву чуть не на ухо, сглатывая при этом слюги:

— Тащ... ор! За время ...ашего отсутствия на ...ставе пшествий не случилось. За исключением: ...жектор ...бит.

Боев не расслышал и половины слов. Но даже и те немногие, понятые им, скомканные звуки безошибочно подсказали: хорошего не жди. Остро кольнуло в висок, будто там лопнул чрезмерно напрягшийся капилляр. Прежней веселости — как не бывало.

— Не понял, Бочарников. Повторите.

Боев невольно, уравнивая разницу в росте, склонился к коренастому дежурному сержанту.

— ...жектор ...бит, — еще невнятнее и тише произнес дежурный, кося глазами на покачивающегося спятки на носок начальника отряда.

Боев не на шутку рассердился:

— Да что вы там мямлите, Бочарников? Говорите яснее: что произошло?

Бочарников распрямил плечи, набрал побольше воздуха и, красный от натуги, выпалил одним махом:

— Товарищ майор, за время вашего отсутствия на заставе происшествий не случилось. За исключением: прожектор разбит.

«Так я и знал! На минуту нельзя оставить одних...» — мог прочесть Бочарников на недовольно нахмуренном, скорбном и враз вроде бы постаревшем лице своего командира.

— Как это произошло? Когда и где? — спросил Боев, и это уточнение подробностей самому ему показалось необязательным, даже неприятным.

Бочарников еще раз стрельнул глазами в сторону начальника отряда, но взгляд старшего офицера был тверд, как и пять минут назад, а на лице не отражалось ничего — ни осуждения, ни, что было бы естественно в такой ситуации, презрительного упрека, ни тем более гнева. Трезвым спокойствием повеяло на смущенного сержанта из глубины светлых усталых глаз Ковалева. Спокойствием и мудростью бывалого, много повидавшего на своем веку человека.

— Водитель апээмки....

— Кто был за рулем? — нетерпеливо перебил Боев, досадуя, что не смог сдержать себя и сорвавшийся голос выдал его состояние.

— Рядовой Сапрыкин. Он объяснил, что проводил техобслуживание, зашел в казарму погреться, а когда вернулся, машина стояла не в боксе, а во дворе, и купольное стекло прожектора разбито.

«Техобслуживание — в пургу? — про себя изумился Боев. — Ну, интересно девки пляшут!»

Озадаченный внешне бесхитростным объяснением, не сразу найдясь, как поступить дальше, Боев, словно в забытьи, долго, слишком долго изучающе рассматривал красную повязку на рукаве дежурного, болтающийся у пояса автоматный штык-нож, тщательно отутюженные брючные складки. Затем так же медленно, будто видел впервые, майор оглядел и самого Бочарникова, его круглое, напоминающее мандарин, розовое юное лицо, хохолок каштановых волос, выбившийся из-под фуражки и нахально нависший над ухом.

Не в его натуре было теряться, пасовать — напротив, он всегда отличался решительностью, даже не по-

дозревая при этом, сколь высоко ценили именно это его качество молодые офицеры не только заставы, но и отряда. Но сейчас стыд — внезапный, с годами тоже как будто напрочь забытый, утраченный, этот стыд происшедшего в присутствии нового начальника отряда лишил его привычной уверенности, инициативы, выставляя майора с самой невыгодной стороны перед Ковалевым.

Сколько бы длилась эта тягостная для всех, неловкая пауза — неизвестно, если бы молчание не нарушил начальник отряда.

— Ходовая часть цела? — деловито осведомился он, обращаясь к дежурному.

— Так точно, цела, товарищ подполковник! — отпартовал Бочарников.

— Как характеризуется водитель?

Вопрос уже предназначался Боеву — сержант не имел права на подобные оценки и потому молчал.

— За Сапрыкиным нарушений дисциплины не замечалось, — каким-то скрипучим, неприятным самому себе голосом ответил майор и жестом дал понять Бочарникову, что тот свободен.

«Ах, Сапрыкин, Сапрыкин, — мелькнуло огорчение в мыслях, — отправил ты меня... после лета за малиной! Утешил... Перед самым начальником отряда выставил клоуном. На весь отряд прославил! Молодец...»

Невыразительное, какое-то малоприметное лицо Сапрыкина отпечатывалось перед глазами, будто на конверте размытый почтовый штемпель. И хотя Боев понимал, что внешность здесь абсолютно ни при чем — подобный «сюрприз» мог преподнести ему и красавчик, каких на заставе было немало, — все равно, в ожидании предстоящего объяснения с подполковником Ковалевым вспомнил с неприязнью именно лицо солдата, его бирючью манеру каждый раз при встречах опускать глаза в пол...

— Разберитесь с водителем сами, — спокойно, даже, как показалось Боеву, чуть ли не равнодушно сказал Ковалев майору и направился в канцелярию.

Боев потерянно зашагал следом.

— После боевого расчета я возвращаюсь в отряд, — сообщил Ковалев, едва обосновавшись за широким рабочим столом Боева. — Дам команду на выезд начальнику инженерно-технической службы: пусть поработает на вашей заставе. Жду от обоих рапорта.

Блуждающий взгляд подполковника остановился на схеме участка границы заставы.

— Несмотря ни на что, охрана границы должна быть на высшем уровне. Вы меня поняли, товарищ майор?

Последнее замечание покорило Боева: оно звучало школярски и задевало самолюбие начальника заставы именно своей прописью, ненужным напоминанием. А Ковалев, не замечая или не желая замечать состояния Боева, тем же ровным голосом заключил:

— Что касается инструкторско-методических занятий с офицерами соседних застав, то... пока их придется отложить.

3

Чеботарев узнал о последних событиях на заставе по «сарафанному» радио — от жены. И хотя никто без нужды не стал бы тревожить замполита в его законный выходной день, он сам, привычно одевшись и предупредив жену, чтобы не ждала, скоренько выскользнул из дома. С порога, не рассчитав, ухнул в глубокий намет свежего рыхлого снега и рассмеялся: так же торопился бы он, зная, что начальник отряда еще на заставе?..

Четкий след протекторов начальственной «Волги» тянулся от крыльца казармы к воротам, возле которых чернел под фонарем силуэт часового в огромном, прямо-таки ямщицких размеров тулупе и валенках. По этому следу, как по стежке, Чеботарев добрался до казармы, поднялся на второй этаж, толкнул легкую филеичатую дверь в канцелярию.

Боев возился у себя за столом со сложенным в несколько раз листком бумаги и на вошедшего замполита едва взглянул — надо полагать, поздоровался. Неумело, выламывая пальцы, майор поочередно загибал твердые бумажные углы, старательно разглаживал их ногтем. Глубокая складка пролегла у него между бровей, выдавая не то недовольство майора, что его застали за таким детским, пустячным занятием, не то усердное стремление выделать какую-то неведомую фигуру.

«Кораблик? — пытался угадать Чеботарев, пока снимал с себя куртку. — Или пепельница?»

Служившая пепельницей стеклянная банка уже не вмещала вороха смятых окурков, от которых по канцелярии распространился тяжелый табачный дух. Чеботарев подхватил банку со стола, вытряс содержимое

в жестяной мусорный ящик у двери. Хотел открыть форточку, но, взглянув на сплошную снежную налипь с внешней стороны, подумал, что вряд ли бы она поддавалась: примерзла.

— Кажется, погода налаживается, — пытаюсь втянуть Боева в разговор, бодро заметил Чеботарев.

— Конец декабря, ничего не поделаешь, — невпопад ответил майор, второй раз за столь короткое время удивив замполита.

Начальник заставы и прежде не раз давал Чеботареву повод для противоречивых размышлений. Озадачивало лейтенанта, например, то, что Боев, несмотря на свой немалый возраст и звание, до сих пор командовал лишь заставой, хотя, по разумению лейтенанта, вполне мог быть комендантом участка или, что еще лучше, руководить в отряде отделом службы и боевой подготовки. Не хватало опыта? Не тем оказался масштаб мышления? Или не обнаружил перед аттестационной комиссией данных, необходимых для зачисления в резерв выдвижения? А может, вовсе не было у Боева такого стремления — делать «карьеру»? Кто знает... Да и вообще, что знал о нем Чеботарев — о человеке, с которым, в общем-то, случайно свела его судьба, вернее, служба на западной границе?

Мельком как-то слышал он от офицерской братии, что помотало в свое время Боева изрядно, покружило по городам и весям, пока не прибился к настоящему делу — военному. Будто бы люто бедствовал в свое время майор, когда еще мальчонкой остался на свете один, даже цыганил, благо внешность была подходящей, потом, видимо, потянуло к родным местам, отбился от табора...

О прошлом майор вспоминать не любил. Раз только, под особое настроение, рассказал, как еще несмысленным мальцом разрядил винтовки у немцев, и больше никогда не возвращался к прежнему разговору...

Было это где-то под Курском, куда в начале войны эвакуировалась с Балтики их семья. Отца своего Василий так ни разу больше и не увидел — не то погиб, не то пропал без вести. Маму уже в дороге скрутила тяжелая, неизлечимая болезнь, у нее отнялись ноги, так что ехать дальше, на Урал, она не могла. Жили они у какой-то одинокой полуглухой старухи, приютившей беженцев в своей кособокой бедной хатенке. Бабка все наговаривала мальцу, чтобы тот не высовывал носа из

дома, не бегал по улицам, не путался под ногами у немцев. Держала его на коленях, крепко обвив руками, и все нашептывала, будто сказывала сказку: «Ты замри, вроде тебя вовсе и нету. А то, неровен час, подшибут. У них ружья вон какие, длинные. Стрельнут — и с копыт. А тебе надо мамку кормить, выхаживать. Вырастешь, даст бог, дак и придется».

Бабка смешно пришепetyвала, щекотила губами Васькино ухо, а он все косился на улицу из окна, поглядывал через занавеску, и до жути хотелось ему на белый простор, хотелось выскочить на крыльцо и во весь дух помчаться по улице у всех на виду.

А однажды в лютый мороз немцы сами ввалились в их натопленную, близко стоявшую у дороги хату. Каждый — под потолок, каски — больше чугуна, в котором бабка варила варево. Зыркнули по углам, нет ли там кого постороннего, потормошили больную — вдруг притворятся, даже разворочали сложенные за печкой дрова. После, вроде успокоившись, составили свои винтовки у двери, потянулись к огню, начали стягивать сапожищи, греть о печку ноги...

Васька сначала сидел тихо-тихо — мышкой, как научала бабка; да только любопытство осилило страх. Подлез он — где под лавкой, где под столом, и напрямик к двери. Приманивали его составленные кое-как винтовки, неодолимо тянули потрогать. Их-то он видел и прежде, наблюдал, спрятавшись в репье, как ребята постарше разбирали такие на пустыре, запомнил. А вот автомат пощупал впервые. Тот оказался вертким, чуть не грохнулся на пол, немцы еще оглянулись на шум, да ничего не заметили — Васька присел за кадкой с водой, затаился, даже глаза зажмурил, чтобы не видели.

Немцы снова залопотали наперебой, про Ваську никто и не вспомнил. Он потянулся к белым от мороза винтовкам, тихонько поснимал с них один за другим затворы. Автомат, чтобы не вертелся, пришлось положить на пол, и, попыхтев над ним, дергая за все выступы, Васька выколупнул-таки ребристый, тяжеленный рожок, полный желтых тупорылых патронов, сунул и его, следом за затворами, в кадку с водой... Тихо-тихо, вжимаясь в пол, прополз он под лавкой, юркнул под здоровенный, накрытый клеенкой стол, где бабка ужеставляла для обеда парящий чунунок, и замер там не дыша...

Что было дальше, Васька помнил смутно. Немцы

вскоре хватились пропажи, начали шарить по углам, расшвыривать половики, а потом принялись за бабу. Из своего укрытия Васька видел, как трясли ее, как упал ей на глаза беленький, в мушках, платок и под ним проглянуло желтое, похожее на воск, темя... Потом что-то случилось во дворе — немцы всполошились, начали как попало обуваться и выскакивать из хаты, ругались меж собой... И тут один, долговязый, заметил Ваську, дал ему по заду такого пинка, что Васька стукнулся головой о ножку стола и больше уже ничего не видел и не слышал, как уснул... После уже, вечером, бабушка шепотом рассказывала его маме, а Васька подслушал, что как только немцы выбежали из хаты да ступили на мостик через замерзшую речку, так по ним «стрелили» со всех сторон из кустов, а они махали пустыми винтовками, словно кольем, и все валились, клятые, сыпались на снег, на лед, будто осиновые поленья с воза... А было Ваське в ту пору шесть или семь...

Чеботарев пытался представить себе эту картину, но вместо реальности возникали перед глазами обрывки когда-то виденных кинофильмов про войну, заслонявшие собою действительную правду. Нет, не сходилось «изображение» войны с обликом того Боева, который сейчас сидел в одной с Чеботаревым комнате и зряшным занятием стремился отвлечь себя от невеселых мыслей.

В канцелярии после недавней свежести улицы было жарко, пощелкивал воздух в батареях отопления, будто по ним тюкали деревяшкой.

— Кто «отличился», Василий Иванович? — спросил Чеботарев майора. — Сапрыкин?

— Он. — Майор с облегчением оставил недоделанную фигуру, выпрямился на стуле. В застегнутом на все пуговицы мундире, прямой и решительный, он показался Чеботареву величественным, как Саваоф. — Сапрыкин. Пишет сейчас объяснительную. Сынок...

В ту же минуту кто-то робко поскребся в дверь, и вслед за этим в канцелярию бочком протиснулся водитель вышедшей из строя машины.

— Что скажете, Сапрыкин?

— Вот, как велели. Написал. — Солдат издалека протягивал Боеву листок с объяснением.

Пока майор читал, Сапрыкин переминался с ноги на ногу посреди канцелярии и, словно провинившийся школьник, молча ждал разнosa. Ничего, кроме покорно-

сти и уныния, не выражало его лицо, казавшееся при искусственном свете плоским, будто бескровным. Резкая тень выделялась в опавших уголках губ. Глаз и во все не было видно, их прикрывали белесые ресницы.

«Да ведь его сейчас... хоть конфетами обкорми, хоть... на кол сажай: ему сейчас все равно, и ничем ты его не проймешь! — Боев не на шутку рассердился именно этой терпеливой покорности солдата, в сердцах про себя добавил: — Вояка!..»

Помимо воли, Боев испытывал к Сапрыкину неприязнь. Само собой, причиной тому была вина солдата за оставленную без присмотра и вследствие этого выведенную из строя технику. Но к внешнему, формальному предлогу еще примешивалось острое, почти забытое Боевым чувство стыда, которое он пережил в присутствии начальника отряда, и оно-то, пожалуй, перетягивало, не давало майору покоя.

Боев нервно закурил, не заметил, как пламя сгоревшей спички обожгло пальцы. Он торопливо бросил обугленный стерженек в банку, проследил, как внутри медленно истаял голубой жидкий дымок.

Сапрыкин все с тем же понурым видом переминался с ноги на ногу, казалось, абсолютно безразличный к своей участи.

— Застава, приготовиться к вечерней поверке! — слабо донесся снизу голос дежурного, и Боев машинально взглянул на часы, словно какие-то минуты решали сейчас судьбу солдата.

Начальник заставы окинул солдата взглядом с головы до ног, неожиданно спросил:

— Сапрыкин, вы до призыва в армию с кем-нибудь дружили?

Солдат недоуменно поднял голову, озадаченно, исподлобья посмотрел на начальника заставы.

— Ну, была у вас когда-нибудь девушка... любимая, что ли?

— Была. Дружил, — не сразу ответил солдат, еще не понимая, чего от него ждет майор.

— А вот когда вы с нею в городской парк или там в кино ходили, — с нажимом продолжал Боев, — в общем, когда вместе гуляли, так вы, Сапрыкин... брюки свои гладили? И ботинки, наверное, чистили? Или не обязательно?

Сбитый с толку солдат даже выпрямился, подобрал грудь, расправил плечи, и Боев едва не засмеялся на

это мгновенное преобразование, хотя, конечно, было ему не до смеха.

— Так гладили или нет? — добиваясь ясного ответа, повторил он.

— Еще бы не гладил. И ботинки, само собой...

— А зачем вы это делали? — настойчиво, вынужденный начинать издалека, допытывался Боев.

— Зачем!.. Иначе бы она никуда со мной не пошла, строгая очень...

— Так какого же!.. — вскипел было Боев, но вовремя себя оборвал, чтобы довести начатый разговор до конца. — Почему это дома, перед девушкой нельзя, а здесь, передо мной и вот Чеботаревым, перед товарищами своими можно ходить такой замухрышкой? Почему, я спрашиваю? Или постирать для вас некому? Некому вам ботинки почистить? Вы посмотрите: на дворе зима, декабрь, а у вас каблуки глиной измазаны, и где только умудрились грязь отыскать! Куртка вся в пятнах, рукава да воротник черные — ведь смотреть тошно, Сапрыкин! Понимаете вы это или нет? А отсюда и «успехи» в службе... налицо. Теперь вот технику боевую вывели из строя, оставили заставу без «глаз». Как же так получилось, Сапрыкин? А? Чего молчите?

— Не знаю, — буркнул солдат, вновь опуская глаза в пол. — Я ее не ломал.

— Ну конечно, не вы! Интересно девки пляшут! Она сама на пень наехала. Взяла и покатила. Да? — Боев сунул окурок в пепельницу, рассыпая искры, придавил его пальцем. — Как же, по-вашему, машина оказалась во дворе, если ей положено находиться в боксе? Где вы были в это время?

— Не знаю, как она там оказалась. Я машину поставил в бокс. Пришел из казармы, а она на улице.

— Значит, все-таки выехала сама? — Боев даже перхнулся, как от дыма, закашлялся.

— А может, кто-то захотел на ней покататься? — отчаянно защищался водитель. — Вон сколько людей, и все через одного могут шоферить.

— Покататься, значит?.. — Боев провел рукой по подбородку, и жесткие волосы даже затрещали под ладонью, будто их прошел слабый разряд электричества.

Не зная, куда деть руки, майор нащупал на столе неуклюжий кораблик-пепельницу, повертел его за углы.

— Значит, покататься? И кто, как вы думаете, у нас

такой любитель автопрогулок? Ну, назовите, Сапрыкин, смелее, что же вы замолчали?

— Да кто! Всякий может. — В голосе Сапрыкина все еще слышался вызов, желание во что бы то ни стало отстоять свою правоту.

Боев откинулся на скрипнувшую спинку стула, отчего наблюдавшему за ним Чеботареву вновь пришло сравнение майора с Саваофом.

— Та-ак... — протянул начальник заставы. — Это что же, выходит, мне теперь и доверять никому нельзя? Выходит, что где-то по заставе преспокойно бродит ваш же товарищ, солдат, сотворивший беду, и как ни в чем не бывало молчит? А завтра, может, мне с ним идти в бой, и я даже не буду знать, что рядом со мной нечестный человек, на которого нельзя положиться! Так, что ли? Ну спасибо, Сапрыкин, открыли вы мне глаза! Просветили. Чуть не полвека на свете живу, а такого, убей бог, еще не встречал.

Сапрыкин шмыгнул носом, глухо прокашлялся, равнодушно отвернулся к окну и надолго замер в такой позе.

Боев какое-то время обозревал его мало чем примечательный профиль, хмурился и тоже молчал. Теребя складки уже и вовсе бесформенного комка бумаги, он напряженно думал. Выходит, что где-то он, начальник заставы, недоглядел, что-то упустил за вихревой текучкой дел, если солдат, — в общем-то, не разгильдяй, явно не нарушитель дисциплины и как будто не ленивец — таит от него правду. И не просто таит, а, страшась лишь вины и положенного за нее наказания, возводит напраслину на других. Выходит, грош цена всем его воспитательным мерам, немалым усилиям Чеботарева, благодаря которым их именная застава не только в отряде, но и в округе не первый год числится на отличном счету! Выходит, заключил Боев, тогда прав и Ковалев — рановато пока что проводить у них инструкторско-методические занятия с офицерами застав! Ведь чтобы учить других, убеждал себя Боев, надо иметь моральное право быть образцом самому...

В невеселых раздумьях Боев потянулся было за второй сигаретой, но не рассосавшаяся горечь никотина предыдущей сигареты и без того жгла язык, сделала изнутри шершавыми щеки и небо. Он обернулся к молчавшему все это время лейтенанту Чеботареву, обменялся с ним многозначительным взглядом, должно быть,

означавшим: вот такие, брат замполит, дела, хреновые, в общем, дела, хвастать нечем.

Снизу, сквозь довольно-таки толстое перекрытие, до канцелярии долетел бодрый голос дежурного:

— Застава, строиться на вечернюю поверку! В две шеренги становись!..

Сапрыкин по-прежнему разглядывал схваченную морозом темную заоконную даль, найдя для себя там какой-то свой, потаенный интерес, недоступный другим. Только играть с ним в молчанку Боев не собирался.

— Идите сюда, Сапрыкин! — решительно подозвал он солдата к столу. — Подходите ближе, что вы мне-тесь, как барышня? Сумели натворить, сумеете и ответить! — Майор щелкнул кнопкой простенькой шариковой ручки, отыскал в общей тетради для черновых записей чистый лист, с хрустом разгладил ладонью корешок. — Давайте-ка с вами кое-что подсчитаем, займемся прикладной математикой. Знаете, сколько стоит разбитое на вашей машине купольное стекло? Во сколько обошлись государству затраты на его изготовление? Даже понятия не имеете? Нет? А я знаю. Итак, пишем первое слагаемое. Ну а сколько стоит отражатель? Тоже не знаете? Как же вы, Сапрыкин, до сих пор не усвоили таких простых вещей, а носите знак классного специалиста? Ведь в мирные дни он — все равно что боевая награда, а ее — хорошенько запомните это на будущее — незаслуженно носить нельзя. — Боев быстро перевел взгляд на Чеботарева. — Верно я рассуждаю, замполит?

— Только так.

Внутреннее чувство подсказывало Чеботареву: солдат или что-то утаивал, или упорно не договаривал, попросту мороча им головы детским невразумительным лепетом — им, двум офицерам, занятым людям, обремененным, помимо службы, и семьей, и личной ответственностью за каждого солдата в отдельности, а значит, и за весь коллектив. И замполит ощутил потребность, вернее, даже необходимость высказаться более подробно, вслух определить собственное отношение к Сапрыкину, потому что, как и Боева, его коробила занятая солдатом позиция, его глухое упорство, явное нежелание восстановить истину и, таким образом, прояснить хотя бы мотивы своего поведения, ибо зачастую именно мотивы способны если не оправдать, то хотя бы смягчить любые, самые тяжелые последствия, и очень

обидно, что его подчиненный никак не возьмет это в толк.

— Сапрыкин... — начал Чеботарев, воспользовавшись минутной паузой. — Я знаю: вы любите читать исторические романы. А вы не задумывались, почему, когда полководец, допустим, очаковских или каких-нибудь других времен проигрывал крупное сражение, он ломал собственную шпагу и спарывал эполеты? — Чеботарев, совершенно искренне сокрушаясь, несмотря ни на что сочувствуя солдату, невесело покачал головой. — Для вас, Сапрыкин, все случившееся было крупным сражением. Может быть, самым первым в жизни сражением. И вы его, как ни прискорбно, начисто проиграли. Так что поздравлять вас, как говорится, не с чем. Остается лишь пожалеть.

«Жалость» дошла до сердца, что-то переместила в нем, сдвинула с места, обожгла какой-то чувствительный нерв. Солдат вскинул голову, открыл было рот, явно намереваясь что-то сказать, но удержался, лишь удрученно — мол, все равно никто не поймет — махнул рукой. Исчезнувшие в какой-то миг резкие складки снова залегли в уголках губ, старя лицо, делая его невыразительным, плоским.

Боев и виду не подал, что от него не укрылся мимолетный порыв Сапрыкина. Однако, так и не дождавшись, что солдат все-таки пересилит себя, откроет истину, майор сам возобновил разговор — на этот раз иным, намеренно ровным, почти бесстрастным голосом:

— Значит, Сапрыкин, даже приблизительно вы не догадываетесь, сколько стоит отражатель? Хотите, я вам скажу? В четыре раза больше стекла. Усваиваете?

Майор до хруста сжал костяшки пальцев, замолчал, как бы давая возможность устояться словам, переплавиться из звуков в четкое понятие, которое войдет в сознание Сапрыкина и утвердится там хотя бы на время их долгого и, увы, пока что малорезультатного разговора.

Чеботарев тоже помалкивал; явно недовольный собой, в душе он корил себя за то, что высказался чересчур красиво, не по существу: тирада о полководце в эполетах получилась цветистой, на первый взгляд вроде и эффектной, а на самом деле, как понимал теперь замполит, — пустой...

— Да, в четыре раза, — повторил Боев, по-прежнему следя за своим голосом, не давая ему сбиться с ров-

ного тона. — Сейчас прикинем, что у нас получается... — Он произвел на тетрадном листке несложный арифметический подсчет и едва не присвистнул от удивления: — Ого, немалая сумма!

Сапрыкин завороченно смотрел то на майора, то на колонку крупных цифр, то снова на майора. Покуда не зная, к чему ведет начальник заставы, он часто дергал выступающим вперед кадыком, будто пил воду. Что-то похожее на волнение промелькнуло в его глазах, сменив так задевавшее майора прежнее равнодушие и покорность. Хотя и запоздало, но, кажется, до него начал доходить смысл не бог весть какой мудреной майорской математики, и он с беспокойством ждал, что будет дальше.

— Это только одна, экономическая сторона, как говорят бухгалтеры, итог лишь в денежном выражении...

Боев намеренно отвернулся, будто ему смертельно наскучила сама ситуация, при которой он вынужден разъяснять, разжевывать почти на пределе терпения столь очевидные понятия. С минуту он прислушивался к невнятно доносившемуся снизу разнобою голосов солдат и густого, звучного — старшины, проводящего вечернюю поверку личного состава. Да и в самом деле пора было завершать разговор: часы показывали позднее время. И Боев заговорил, подчеркивая каждое слово:

— Пока что я совершенно не касался главного: вашей ответственности перед законом. Юридической ответственности. Сами должны понимать, что это означает: вы человек грамотный, исторические романы читаете... — Майор сделал нажим на слово «исторические» и одновременно посмотрел на Чеботарева — не принял ли тот иронию на свой счет?

— Не только их одни, — парировал Чеботарев, но Боев, не желая терять инициативы, продолжил:

— Можно поставить вопрос и по-другому. Вы, именно вы, Сапрыкин, собственными руками ослабили боевую мощь страны на единицу техники.

Сапрыкин отступил на шаг; с видимым усилием произнес сухим, севшим голосом:

— Не-ет...

Для Боева это послужило своеобразным сигналом. Он торопливо встал и развел руки в стороны:

— А как же иначе прикажете квалифицировать ваши действия? Нет, иначе я не могу. Не имею права.

Для всех троих наступил тот тягостный переломный момент, когда разговор, подобно пущенному в ход огромному маховику, достиг верхней «мертвой» точки, замер, и уже не от чьих-либо усилий, а от малейшего дисбаланса самого маховика зависело, продолжится или, наоборот, угаснет начальное его вращение, стабилизируются или же, напротив, наберут критическое число обороты, когда под действием увеличивающейся центробежной силы вся система неминуемо идет «вразнос»...

Все трое молчали.

Сапрыкин томился в непривычной для себя обстановке. Помимо воли, не замечая, он коротко, обреченно вздыхал. Мыслей не было никаких — их вытеснила пустота, гнетущая, глухая... Затылком он чувствовал, въяве осязал спасительную близость порога, который перешагнул всего каких-нибудь двадцать минут назад. Его неодолимо тянуло поскорее оказаться по ту сторону двери, подальше от канцелярии, где даже прочный дощатый пол, недавно крашеный светлой эмалью, казался зыбким, почему-то ускользающим из-под ног, ненадежным. И совершенно некстати, не вовремя вспомнилась ему река, высокий обрывистый берег, сплошь истыканный гнездами стрижей, вспомнился бурый клочок тучи, внезапно напозшей на солнце, ржавая пыль, взвихренная налетевшим ветром, который поднял волну, погнал на стремнину, не давая мальчонке пристать, хоть как-нибудь дотянуться до берега... Сапрыкин будто все еще плыл по своей реке детства, барахтался в пенной воде без всякой надежды когда-нибудь выкарабкаться из ее жуткой засасывающей глубины, и какой-то давней-давней болью сводило окаменевшие плечи, обрывалось от страха сердце... Немного погодя до него дошло, что никуда он не плыл, а как стоял, так и стоит посреди канцелярии, и не глинистый берег в темных дырках стрижиных гнезд желтел справа от него, а обычный двухтумбовый конторский стол, за которым с отрешенным видом немо сидел замполит...

Чеботарев тем временем пытался представить, каким он будет лет этак через двадцать, двадцать пять, когда, скажем, достигнет возраста Боева. Однако будущее ни в чем или почти ни в чем не отличалось от настоящего — по крайней мере так ему пока что казалось. И через четверть века Чеботарев представлялся себе таким же, сегодняшним — без малейших морщин и залысин, по-прежнему легким на ногу, обладающим бесконечным

запасом сил, способным засыпать тотчас, едва голова коснется подушки, а просыпаться чуть свет или, в случае надобности, по первому сигналу тревоги...

Незаметно, со стороны наблюдая за Боевым, зачем-то сравнивая себя с майором, Чеботарев и силился, и все же не мог разглядеть в столь далеком будущем ни огруженности своей фигуры, ни мешковато сидящей одежды, ни особой, свойственной лишь перешагнувшим рубеж сорока пяти сдержанности походки, жеста, даже обыкновенного слова. Нет, не удавалось Чеботареву увидеть себя в грядущем, как этого, к примеру, достиг Мартирос Сарьян в картине «Три возраста», репродукцию которой Чеботарев мельком видел напечатанной в каком-то альбоме или журнале. Зато он ясно представлял, безошибочно угадывал, чем сейчас занята жена, и лишь редкие, отчетливые в тишине вздохи Сапрыкина да поскрипывание стула начальника заставы вклинивались в эти лирические видения, не давая лейтенанту сосредоточиться.

«Заварил ты кашу, Сапрыкин, — досадливо морщился замполит, — да слишком крутую. Теперь нам с Боевым за тебя ее расхлебывать...»

А Боев в эти минуты думал о тройчатке. Невыносимо болела голова, затылок немел, словно был совершенно чужой, инородной частью, и эта тупая тяжесть боли постепенно переходила к вискам, сдавливала их, ломотой наваливалась на глаза. Казалось, чего проще — протянуть руку и достать из белевшего на стене ящика аптечки бумажный пенальчик с лекарством! Но Боев намеренно не делал этого, чтобы не выдать подступившего в такой неподходящий момент недуга. Он только незаметно вытирал зажатым в кулаке платком слезившиеся, закрытые мутной пеленой глаза, чего-то выжидая. И никто — ни Чеботарев, ни тем более Сапрыкин — даже не догадывался, какие чувства бередили сейчас душу майора. С одной стороны, он обязан был детально разобраться в случившемся, дать происшествию должную оценку, установить степень вины солдата, а затем, само собой, определить наказание. Но, с другой стороны, он видел в Сапрыкине, так же как и в любом другом солдате заставы, родного своего сына, волею случая, неудачного стечения обстоятельств попавшего в беду, и эта особенность его характера сильно мешала сейчас майору, вызвала в нем раздражение против самого себя. И, как ни странно, именно собственная сла-

бость, неумение, как в случае с Сапрыкиным, отмежеваться от сентиментальных чувств и взглянуть на ситуацию сторонними глазами, глазами только командира, начальника, рождали в Боеве обратную реакцию: он ожесточался.

Это было не то слепое ожесточение, которое в большом и малом деле правит человеком, зачастую лишая его разума, а поступки — благородной цели. Ожесточение Боева было особого рода и свойства — личное. Ему иногда казалось, что он многое делает не так, как нужно, — казалось, именно по причине односторонности своего характера, чрезмерной, по его мнению, доброты и сострадания к человеку, особенно неуместных в армейской среде, где последнее слово всегда, при любых обстоятельствах остается за приказом. И тогда он, компенсируя этот свой недостаток, беспокоящий его изъяз, спешил укрыть его от посторонних глаз напускной суровостью, излишней крутостью даже обычных своих поступков. Так каменщик, заметив случайный брак, заделывает просвет между кирпичами раствором крутого цемента.

Конечно, ни Чеботарева, ни Сапрыкина, ни еще кого бы то ни было Боев не посвящал в эти особенности своей натуры, а самим им и вовсе невдомек было именно так, с такого необычного ракурса взглянуть на своего командира и попытаться понять его, понять, не осуждая за неизбежные в таких обстоятельствах просчеты и промахи. Ведь и сейчас единственное, чего ему хотелось добиться от солдата, — это искренности, и в своем законном желании Боев был непреклонен, более того, неутомим. Он не остановился бы ни перед чем, если бы это хоть в какой-то мере помогло открыть истину.

Боев мог понять и простить многое: обыкновенную физическую усталость, неумение, лень, даже вздорность, которую, однако, не жаловал, считая признаком дурным, мешающим человеку уживаться с другими. Он не терпел лишь одного — лжи. Малейшие ее проявления он воспринимал особенно болезненно, будто та была направлена лично против него, и всегда считал, что от лжи до подлости — мизерный шаг. Вот почему Боев решил пойти на крайнее средство. Развернув тетрадь так, чтобы Сапрыкин видел цифры не в перевернутом, а в натуральном виде, он сказал:

— Вот во что обошелся государству ваш «подвиг»... или халатность, решайте сами, что вам больше подхо-

дит. Но это еще не все. Теперь, Сапрыкин, разберемся, что получается. Насколько я знаю, ваша мама работает в пригородном совхозе. Так?

— А при чем тут мама? — запальчиво, с надрывом спросил Сапрыкин.

— В том-то и дело, что ни при чем. Она вырастила вас, поставила на ноги, воспитала, проводила в армию, на границу. А вы что ей в ответ, какую благодарность? Молчите? Нечего сказать? То-то же. — Боев снова взял шариковую ручку, быстро что-то приписал к колонке цифр. — Дальше. Заработок у нее сто двадцать, сто тридцать рублей. В месяц. Прямо скажем, негусто. Ну да ладно: не ее вина, что лелеяла сына, тешила, чем могла, лечила, вот и не осталось времени, чтобы выучиться. Давайте считать. Из ста двадцати за квартиру отдать надо? Надо. На праздники там, на «черный» день приходится откладывать? Приходится. Еще вычитаем. Что остается? Да на руках еще трое детей, школьниц, ваших сестер. Их тоже надо одеть, обуть, накормить, ну, там, на кино, на мороженку дать — тоже расходы. И остается всего ничего. Теперь вы мне скажите, Сапрыкин... — Боев замялся, как бы подыскивая нужное слово. — Скажите, если вас обяжут возместить причиненный ущерб — то за какой срок ваша мама сможет рассчитаться с долгом?

Чеботарев смотрел на начальника заставы встревоженно: не перегибает ли тот палку?.. Боев же, словно не замечая обращенного к нему взгляда замполита, удивляясь и злясь на замедленную реакцию солдата, хлопнул ладонью по тетради:

— Да соображайте же, черт вас возьми, Сапрыкин! Зачем вас вызвали в канцелярию — молчать? У нас с замполитом и без того времени не хватает, чего же мы его будем тратить попусту?

Муторно, скверно было на душе у майора. Неотступная боль, сначала сжимавшая затылок и виски, теперь охватила всю голову, давила на уши. Но острее боли, острее рези в глазах ощущалась тяжесть в сердце — та тяжесть, которая не отпускала Боева за все время беседы с Сапрыкиным. И все же он не позволил себе расслабиться, не дал овладеть собой чувствам, которые прорывались наружу, когда майор смотрел на согбенную фигуру солдата, на его безвольно опущенные, заметно подрагивающие руки. Да и от прежнего мимолетного стыда, который Боев испытал в присутствии

начальника отряда, не осталось уже и следа: его сменило сожаление. И все же Боев приказал себе договорить до конца, до точки.

— Может так случиться, — сказал он глухим, отчужденным голосом, вовсе не знакомым Сапрыкину и потому заставлявшим вслушиваться в каждое слово, — вполне может так произойти, что свою девушку вы после армии назовете невестой. Хороший же вы преподнесете ей подарок к свадьбе!..

В округлившихся глазах солдата, не мигая смотревших на Боева, каким-то образом соединились и тоска, и огонь. Казалось, Сапрыкин готов был заплакать. Мир, еще недавно такой простой и понятный, вдруг повернулся к нему совсем иной, незнакомой раньше стороной, легко разрушив все прежнее, привычное представление о людях и окружающих их вещах, мгновенно разочаровав Сапрыкина, опустошив его душу... Наконец, на что-то с трудом решившись, Сапрыкин облизнул пересохшие губы, тихо, путаясь в словах, выговорил:

— Не надо... маме. Она... мне... Не надо. Прошу.

Вот теперь Боев мог определенно сказать, что одержал победу! Ах, как оно сладко прокатилось по языку — коротенькое, в три равных слога, но такое долгожданное слово: по-бе-да! Каким обладало оно чудодейственным свойством, если почти ушла, растворилась без остатка недавняя нестерпимая боль, а следом исчезла туманная пелена перед глазами, возвратив зрению прежнюю остроту и ясность! И пусть еще далеко было до полной, истинной победы, но главное — то, что удалось преодолеть глухую стену отчуждения, унылого, покорного равнодушия, — это главное осталось позади!

— Поймите, Сапрыкин! — неожиданно вмешался Чеботарев. — Вы вполне взрослый, самостоятельный человек, способный отвечать за свои поступки. Мы тоже не дети, чтобы нас уговаривать. На разговор с вами ушло полчаса — и все пока что напрасно. Не слишком ли это расточительно? От вас и требуется-то одно: рассказать все, как было, ничего не утаивая. Неужели это так трудно — быть честным до конца? Проявите же наконец свой характер! Или у вас не осталось ни капли самолюбия?

Раздосадованный Чеботарев встал, прошелся по канцелярии, на ходу выровнял в нише стены корешки вразнобой торчавших книг.

— Не понимаю, что вас сдерживает, какая кроется

тут причина? Да и вообще: что это за тайны мадридского двора?.. Или боитесь кого-то подвести, поставить под удар товарища? Тогда плох тот товарищ, который поставил под удар вас.

Сапрыкин только хмыкнул, переступил с ноги на ногу, но так ничего и не сказал.

— Видите, вы сами вынуждаете нас сообщить обо всем случившемся домой. Разве не так?

— Есть и еще один путь, — пришел на помощь Боев. — Мы с замполитом — я и Чеботарев, — поскольку несем за вас персональную ответственность, вдвоем рассчитаемся за причиненный вами ущерб. Да, мы можем в течение нескольких месяцев выплатить долг, и в этом случае пострадают только наши семьи, чего-то недополучат лишь наши дети...

— Я сам! — с удивившим офицеров упрямством заявил солдат. — Я сам выплачу все. Уеду после службы на Север, в Сибирь, и рассчитаюсь. Слышите, са-ам!..

— К сожалению... — Боев внезапно резким движением захлопнул тетрадь. — К сожалению, времени нам не отпущено, чтобы дожидаться, когда вы закончите службу и определитесь в Сибири. Уже сегодня — вы слышите, Сапрыкин, — уже сегодня, если случится обстановка, мне необходимо закрыть границу, обеспечить ее техническими средствами. А чем я ее закрою? Вашими обещаниями да надеждами на распрекрасную сибирскую жизнь? Это не по моей или Чеботарева милости застава осталась «слепой». Ну я понимаю: могло произойти всякое, бывает. Но это ваше доблестное упрямство... Могли бы найти для него лучшее применение — гораздо больше бы было пользы!

Майор покрутил головой, словно ему стал тесен мягкий ворот лавсановой просторной рубашки под форменным галстуком «регат».

— Я сказал, что выплачу все сам! — вспыхив, повторил Сапрыкин.

Боев пропустил эту вспышку мимо ушей, хладнокровно достал из ящика письменного стола какой-то лист.

— Вот ваша объяснительная записка. Думаю, что теперь у вас возникнет необходимость переписать ее заново. — Майор возвратил Сапрыкину сложенный наполовину лист. — Тогда, обещаю, мы продолжим наш разговор. Но прежде хорошенько подумайте над всем, что здесь услышали! А сейчас можете идти, вы свободны. И помните, Сапрыкин: как коммунист, как, нако-

нец, ваш начальник, просто как человек я жду от вас правды. Только правды, вы меня поняли?.. Вот теперь идите.

Солдат тяжело, неуклюже отошел от стола. Уже у порога его настиг голос замполита:

— Сапрыкин, подождите меня в ленинской комнате!

Они остались вдвоем. Едва за солдатом закрылась дверь, Чеботарев озабоченно повернулся к Боеву:

— Не крутовато мы с ним, Василий Иванович? У меня — и то до сих пор мурашки по телу бегут, а каково ему? Ведь мальчишка же еще! Не сломать бы...

Боев усмехнулся — как почему-то показалось замполиту — недобро.

— А как бы ты хотел, чтобы я разговаривал с ним, с этим мальчишкой? Конфетками бы его кормил? По головке бы гладил, утешал, как малое дитя? Или ты думаешь, что у меня самого душа не болит? Болит. Еще как болит! Вот сюда, — он стукнул по сердцу, — словно вот такой кус льда кто засунул: мозжит. Да только я знаю: моя боль по сравнению с его болью — ничто. Сегодня нас с тобой за него спросит начальство, почему проглядели да как такое допустили, — а завтра, уже завтра он спросит сам: почему один раз дали соврать, почему вовремя не остановили, не помогли выпутаться из этой болотины?.. Я на таких насмотрелся — будь здоров сколько. И ни одного не забыл. И они меня помнят, по-хорошему помнят, а не как-нибудь. Один вот был, Санька Хворостов, такой, скажу тебе... впечатлительный. На березу как-то полез — ну, ты знаешь, зачем его туда потянуло. Девка, видишь ли, ему изменила, вышла, пока он тут, за другого. Хорошо, дружок вовремя подсказал, предупредил, что с Санькой творится неладное. Ну, снял я его с дерева, прямо за ноги стащил со ствола, он и приладиться еще не успел, глазищи — во, и волосенки все набок — мокрые, а лицо белое-белое, как кора. Зачем, спрашиваю, тебя на дерево потянуло? А он мне так спокойненько; мол, веников хотел наломать, побаниться захотелось! Ну, я ему и наломал!.. Веришь, первый раз в жизни человека ударил. Он меня потом за километр оббегал. Ничего, после поладили. Отслужил мой Санька, встретил еще какую красивую, не чета той, я еще у них на свадьбе гулял, Санька меня все своим отцом называл... А мне такое «отцовство» пять лет жизни, как минимум, укоротило. Вот ведь она штука какая! А ты говоришь...

Боев торопливо нащупал на столе сигареты, не глядя, выудил из пачки одну, закурил.

— Ну а насчет того, чтобы не сломать... — Он пыхнул дымком. — Голова есть, соображение есть — не сломается. Наоборот, только на пользу пойдет. А про нервы... про нервы, замполит, лучше не надо. Что мои, что твои — хоть вместо проводов от столба до столба растягивай. Выдержат. Дубленые. Ты работать-то когда начал? — прищурясь, вдруг ни с того ни с сего спросил он у замполита.

Чеботарев от внезапности вопроса выпрямился, будто находился не здесь, а на плацу перед парадным строем.

— В общем, в четырнадцать. А так... матери помогал на огороде лет, наверное, с пяти. Так ведь это время какое было, Василий Иванович, с сегодняшним днем разве сравнишь?

Боев не дал ему договорить, живо, взмахнув рукой, подхватил с полуслова:

— Вот с пяти. И не раскис? Так и Сапрыкину ничего не станется. Зато впредь, может, думать научится, не маленький. А на время, замполит, ссылаться не стоит: люди во все времена одинаковые. И условия приблизительно одни и те же, важно, кто как их использует, как приспособливается к ним, чего хочет добиться. Согласен?

— Согласен. И все же пойду с ним поговорю...

— Пойди поговори, на то ты и замполит. Я тоже немного делами займусь, скопилась их чертова уйма, одной писанины — на роман, зачем только навесили так много на начальника заставы?.. Тут как-то два года назад, тебя еще на заставе не было, работали социологи. Интересные, знаешь, люди, обходительные, с бородками. Подсчитывали занятость начальника заставы. Так знаешь, сколько вышло? Тридцать шесть часов в сутки! Во, интересно девки пляшут... Ну ладно, иди к своему Сапрыкину, беседуй, а то я тебя заговорил. Чертова еще эта писанина!..

Однако уйти сразу Чеботареву не удалось — резко, пронзительно заверещал телефон. Мембрана фонировала, и до Чеботарева отчетливо долетел начальственный голос майора Кулика из отряда:

— Але, Боев? Что там опять у тебя стряслось? Жить спокойно не можешь?

— Почему «опять»? И почему «стряслось»? — чересчур спокойно отозвался Боев, одной рукой придерживая трубку, а другой разворачивая журнал записи донесений.

— Ты не пререкайся, Боев. Не ты ко мне разбираться едешь, а я к тебе. Улавливаешь разницу? Тебе там хорошо рассуждать, стряслось или не стряслось, а тут — теряй время, разбирайся с вами... Только людей отрываешь от дела.

«Нам на линейке всегда хорошо: выслал наряды — и загорай, взял нарушителя — и спокойно поплеывай в потолок! — съязвил про себя Боев. — Ну технарь, ну деловой...» Хотел было положить трубку, да удержался: как-никак отрядное начальство, открыто с ним ссориться, тем более сейчас — не резон. Только и спросил самым невинным голосом, будто не ради связки, а по делу поинтересовался:

— Вы, товарищ майор, из квартиры звоните?

На том конце провода помолчали. В телефонной трубке не раздавалось ни шороха. Потом:

— Хо, откуда же еще! Времени-то — ты посмотри на часы. Сколько?

— Вот я и говорю: ложились бы вы, товарищ майор, спать. Или бы телевизор смотрели. Фильм там, наверно, идет интересный.

Чеботарев сначала едва не прыснул со смеху, а потом только покачал головой: навлечет майор беду на свою голову, как пить дать, навлечет. Недаром про Кулика поговаривали... в общем, много чего поговаривали. Одно было бесспорным: будто память у него на такое обращение с собой крепкая, а хватка — и того крепче.

— Ты, Боев, говори, да не заговаривайся! — грохнуло в трубке так, что майор вынужден был отставить ее и держать на отлете, чтобы не оглушило. — Много стал на себя братъ, недолго и надорваться. Лучше придержи на завтра технику, не посылай в разгон, пока не проверю. Личное распоряжение начальника отряда, понял? И сам будь на месте, готов...

— Всегда готов! — пионерским салютом отрапортовал Боев и положил трубку в гнездо.

Однако телефон вновь зазуммерил, высветив кнопку абонента бледно-розовым цветом. Боев нажал на клавишу «разговор».

На этот раз звонила жена Чеботарева. Боев передал

ему трубку, беззвучно посмеиваясь, показал на горло: мол, смотри, брат, как бы тебя не ухватила твоя половина за горло, ты ведь как-никак выходной, а бездомничаешь, вместо того чтобы побыть с семьей, болтаешься на заставе...

Ничего этого не сказал Боев, но Чеботареву и так все было ясно, без слов: не первый день служил бок о бок с майором. И мужская «азбука» в отношении жен всюду, хоть на гражданке, хоть в армии, не очень блистала разнообразием жестов.

Заранее упреждая возможные вопросы (дежурный связист, пронира, наверняка прослушивал линию!), Чеботарев миролюбиво пообещал:

— Скоро приду, не волнуйся. Грей ужин — есть хочу как собака. Уже греешь? Вот и умница. Долго не задержусь. Ну, хоп! — попрощался похожим на выстрел среднеазиатским словечком, которое пристало к нему еще с курсантской практики.

Боев деловито писал и на Чеботарева уже не обращал ни малейшего внимания.

— Сапрыкин-то меня уж, наверно, заждался. Спокойной ночи, товарищ майор.

Боев молча кивнул: спокойной ночи.

По счастью, в ленинской комнате никого посторонних не оказалось: застава давно спала.

Сапрыкин стоял посреди вытянутого прямоугольника помещения, делал вид, что разглядывал стенд — одинокий, словно былинка в поле, потерянный. Конечно, он различил за спиной скорые шаги замполита, безошибочно определил его по походке, но даже не обернулся, будто прирос к месту. Он и в первые минуты разговора старался не встречаться с Чеботаревым взглядом: видимо, держал обиду и на него. Чеботарев заметил: оттого Сапрыкин и губы покусывал, чтобы невзначай не сорваться и в горячке не наговорить лишнего.

Замполит не стал подбирать каких-то особых, соответствующих ситуации слов — о многом уже было переговорено в канцелярии. И утешать Сапрыкина, как-то оправдывать резкость начальника заставы тоже не стал: проще простого сфальшивить, впасть в бодряческий тон. Спросил напрямую:

— Что с тобой творится, Володя? Я тебя не узнаю. Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — без особой охоты ответил солдат.

— А чего ты тогда перед Боевым отмалчивался? На самом деле ничего не мог рассказать? Или есть какая-нибудь причина? Секрет?

— Да какой там секрет! — фыркнул Сапрыкин.

— Но какая-то же должна быть причина! Или просто так, ни с того ни с сего?.. Может, объяснишь?

— Нет никакой причины.

— Ну тогда я действительно ничего не понимаю. И поражаюсь твоему упрямству, упорному молчанию. Чего ты в таком случае добивался — ты мне можешь сказать? Зачем тебе было вызывать огонь на себя? От факта ведь никуда не уйдешь: машина же разбита!

— Не машина, а прожектор.

— Пусть так. Какая разница?

— А зачем же сразу о маме? — Сапрыкин опять закусил губу, отчего на скулах каменно вспухли желваки. — Своей бы он такое сказал?

— Некому говорить, Сапрыкин. Отец Боева погиб на войне, а мама умерла в эвакуации.

— Все равно... Вы бы своей сказали?

Чеботарев засмеялся.

— Представь, до сих пор перед нею отчитываюсь. Мама есть мама. А для нее я все еще ребенок, которого надо учить, наставлять, предостерегать от ошибок. Думаешь, у меня все всегда хорошо? Что ты! Всякое бывает: то с женой поссоримся, то на службе неприятности, то еще что-нибудь... Приходится отчитываться. И я ни разу об этом не пожалел. И уж тем более никогда ничего не скрывал от нее, не приукрашивал.

Чеботарев присел на краешек стула, облокотился на стол.

— Ты вот обиделся на майора, а напрасно. Сколько вас у него? Вся застава! И за каждого он несет персональную ответственность. Думаешь, это очень просто?.. И потом, давай уж так, честно: сам ведь натворил, Боев тебя ничего такого делать не заставлял? Тогда чего же обижаться, впадать в амбицию? Конечно, тебе сейчас досадно: ругают, а не хвалят, кому это приятно? Но ты попробуй поставь себя на его место...

Как и прежде, в канцелярии, Сапрыкин тяжело переступил с ноги на ногу, вздохнул; последние слова Чеботарева так и остались без ответа, будто не произвели на

солдата никакого впечатления. Но уже одно то, что Сапрыкин вобрал их в себя — замполит мог об этом судить по реакции солдата, по тому, что он справился с первой вспышкой гнева, усмирил явно мешавший ему порыв, — уже одно это радовало Чеботарева, вызывало у него удовлетворение. С равнодушным, покорным обстоятельствам Сапрыкиным ему действительно говорить было бы не о чем. И не для чего.

Чеботарев еще слишком хорошо помнил тот день, когда Сапрыкин с подначкой спросил, служил ли Чеботарев срочную? «От приказа и до приказа, — сообщил ему лейтенант. — А что? Если бы не служил, вы бы на меня по-другому смотрели, так, что ли?» — «Не в том дело, товарищ лейтенант, — смутился Сапрыкин. — Просто я подумал, откуда вы так хорошо знаете технику». — «Вы несколько преувеличиваете мои познания, Сапрыкин, — поскромничал замполит. — В технике я далеко не специалист». — «Все бы были такими же «не специалистами», — усомнился Сапрыкин. — Точно вам говорю». — «И я не шучу. Верите, когда я впервые попал на заставу, то на прожектор смотрел так, как, наверно, верующий смотрит на божество. Да-да, не удивляйтесь! Я ведь вырос в деревне, кроме трактора, другой техники до армии не знал. А на границе — и вертолеты, и корабли, и бронетранспортеры, и приборы ночного видения, и рации, и радиолокаторы, и даже аэросани, словом, все.

Представляете, как я всему удивлялся? Но больше всего, помнится, меня поразил прожектор, хотя ничего сверхсложного в нем, как вы знаете, нет. Я все думал: откуда в нем берется такая мощь, что даже ночью видишь, как днем, до последней травинки? — Замполит мечтательно полуприкрыл глаза, перевел дыхание. — Как-то, уже к концу первого года службы, заставу подняли по тревоге. Темнота, дождь напропалую хлещет, всюду грязища — сапог не вытащишь... Мы все вымокли насквозь, уже из сил выбились, и все напрасно: нет нарушителя, пропал, исчез! Знаем, что тут он, рядом, а где — не найти: собака-то по дождю след не брала! Потом начальник заставы вызвал апээмку, дали луч по направлению... Стало светлым-светло и даже вроде теплее. А через полчаса или меньше поиск свернули: обнаружили нарушителя, под лучом деться ему было некуда. Я тогда — верите? — готов был расцеловать прожектор, как настоящего друга, выручившего из беды.

Что-то представилось, будто он живой, будто все понимает и чувствует...»

Примерно такой состоялся у них разговор тогда, и Чеботарев хорошо помнил, что слушал его Сапрыкин открыв рот. Сколько же минуло с тех пор? Месяца два, три?.. А теперь вон как все обернулось...

— В общем, так, — вновь нарушил молчание замполит. — Считай, Володя, что предыдущего разговора у нас с тобой не было. Если захочешь... если сочтешь нужным, придешь ко мне сам. Но единственное я тебе сейчас скажу — не как офицер подчиненному, а как товарищ: когда-нибудь ты пожалеешь, что пошел на поводу упрямства и... и трусости. Поверь, это очень ненадежные спутники, тебе с ними просто не по пути...

Заметив, что впадает в назидательный тон, досадуя на себя за это, Чеботарев тем не менее договорил:

— Я не зря, не только ради красного словца упомянул про полководца, проигравшего сражение, — помните? Для любого человека, и для нас с вами тоже, каждый день — маленькое сражение с самим собой: с собственной неправдой, бессилием, с неумением, просто с ленью. Уметь побеждать свои слабости тоже нужно мужество, и немалое.

— Но, товарищ лейтенант!.. — взмолился было Сапрыкин, однако замполит остановил его:

— Не спешите, Сапрыкин. Принять правильное решение, и принять не сгоряча, а осознанно, пусть даже себе во вред, — тоже маленькая победа над собой.

— Но вы хоть мне верите? — с надеждой спросил Сапрыкин.

— Верю, — твердо, хотя и не сразу ответил замполит. — Иначе не стал бы так долго разговаривать с вами, тратить время. Желаю успеха. — Сказал и с тем вышел.

Вскоре внизу слабо хлопнула входная дверь, мерзло, с повизгиванием, проскрипел под ногами снег, и все смолкло. Но не успел Сапрыкин еще перевести дух, как в ленинскую комнату протиснулся Гвоздев. На рукаве у него алела повязка с надписью «Дежурный по заставе», сбоку на поясе болтался штык-нож.

Прямо с порога Гвоздев спросил сочувственно:

— Что, Володя, вкатили?

Сапрыкин зябко повел плечами, будто поежился от холода. Гвоздев все ждал ответа.

— Никто мне не вкатывал.

— А чего же такой кислый?

— Радоваться, что ли? С чего? Сам себя наказал.

— Во даешь! А ты здесь при чем? — удивился Гвоздев. — Без тебя же произошло, значит, не виноват. И не переживай. Все равно отыщем этого «любителя» поката́ться, а уж с ним, будь спокоен, мы поговорим.

Сапрыкин болезненно поморщился, отвернулся к окну, потом через силу выдавил:

— Не надо искать. Ни к чему.

— Привет, ни к чему! — Гвоздев поддернул на рукаве повязку. — По-твоему, так все и оставить? А завтра этот обормот и другую машину угробит?

Избегая настырного, всепроникающего взгляда младшего сержанта, Сапрыкин сказал заметно просевшим голосом:

— Ребята не виноваты. Так получилось...

— Сам, что ли? — Гвоздев вплотную приблизился к водителю: не верил.

Сапрыкин вздохнул.

— Пойду к майору. Пусть наказывает. А я так не могу...

Однако Гвоздев его не пустил.

— Иди-ка ты лучше спать, отбой давно сыграли. А к майору пока лучше не суйся. Утром начальник авто-тракторной службы майор Кулик приезжает, железки будет шерстить. Воеву сейчас и без тебя забот хватает.

Лицо Гвоздева было хмурым, а взгляд, обжегший Сапрыкина, незнакомым, злым.

4

Не успев приехать, майор Кулик сразу прошел в канцелярию. Посвященный начальником отряда в суть происшествия, Кулик хотел знать детали. Прямо с дороги, не раздеваясь, наскоро поздоровавшись с офицерами заставы, он сразу потребовал провести его к гаражу.

Какая-то упрямая, заранее решенная мысль ясно читалась на его лице. Боев понимал: еще бы, под выходной день оторвать человека от семьи, вместо отдыха направить на границу, совсем не за праздным делом, да еще в непогоду, — кому такое придется по душе?.. То, что у самого у него давно уже не было положенных выходных, Боеву даже не приходило в голову. Всегда,

сколько он себя помнил на службе в войсках, Боев привык распоряжаться собой так, как того требовала граница, и не находил в этом ничего странного, противозаставского.

Внезапно, как озарение, уже по дороге к гаражу, Боеву вспомнилось: немногим меньше года назад, весной, при обработке контрольно-следовой полосы из-за какой-то сущей ерунды встал на прикол заставский трактор-профилировщик. Все сроки инженерно-технического оборудования границы прошли, в отделе службы отряда от Боева требовали отчета, а что он мог туда сообщить? Что нечем восстанавливать КСП? Несерьезно. Смешно... Так и не дождавшись, несмотря на многочисленные просьбы, этой сущей ерунды для профилировщика, Боев вынужден был пожаловаться начальнику отряда на технарей, и майор Кулик получил нагоняй за нерасторопность. Зато трактор ожил в тот же день — почему Боев и запомнил столь отчетливо давний эпизод, примерил его на гостя: не эта ли застарелая обида собрала тугую складку над переносом Кулика?

После вчерашнего дня пурга слегка успокоилась. Лишь временами густо, внахлест, секли выбеленные снегом дорожки волны колючей крупки. Кулик ежился: обжигающий снег попадал и за воротник. В наметенных сугробах, после того как Кулик по ним проходил, оставались глубокие, как норы, следы. Кулик сетовал, ни к кому конкретно не обращая свой упрек, но метя явно в Боева:

— Можно было бы хоть откидать снег лопатами! Так и под крышу заметет — не заметите.

Боев по опыту знал: в таких случаях благоразумнее отмолчаться, не подливать масла в огонь. Все равно Кулик не поверит, сочтет лишь за оправдание, что и без всяких понуканий, по собственной воле солдаты боролись со стихией, как могли, да не сумели справиться с непрестанно валящим снегом, и вместо полезной работы получался мартышкин труд, нелепое переливание из пустого в порожнее.

Хоздвор заставы был более или менее прибран от снега, по обе стороны от дверей складских помещений тянулись похожие на брустверы, плотно утрамбованные валы.

— В котором машина? — спросил Кулик, указывая пальцем в перчатке на боксы.

Открыли крайние слева ворота; в темную глубину пропавшего бензином бокса хлынул дневной свет.

Увидев ту картину, которую увидеть и ожидал, потому что за минувшую ночь прожектор никак не мог превратиться из разбитого в новый, начальник инженерно-технической службы отряда зацокал языком, закивал головой в новенькой искрящейся дымчато-голубым мехом шапке-ушанке. Почему-то именно шапка больше всего привлекала внимание Боева, словно она сама по себе служила укором, была прямой противоположностью выдавшей виды шапке начальника заставы.

— А где водитель обнаружил, что прожектор разбит? — уточнил между тем Кулик.

Ему показали. Кулик многозначительно, прохаживаясь туда-сюда по свободному от снега пространству, оглядывал то подъезд к гаражу, то отмеченное место аварии, словно высчитывал между ними точное расстояние. Боев равнодушно наблюдал за всеми этими манипуляциями; зная им истинную цену, усмехался.

— Водитель обнаружил поломку один или были свидетели? — осведомился Кулик у начальника заставы.

— Да, один, — коротко ответил Боев, не считая нужным пускаться в подробные объяснения, пока в них не было никакой нужды.

— Где он? Пойдемте в казарму.

Боев ожидал, что Кулик хотя бы бегло, на ощупь, а не со стороны разъятых ворот осмотрит повреждение. Но этого не произошло. Тогда зачем же Кулику понадобился водитель?

— Солдата сейчас не тревожьте, — попросил Боев. — Ему и без того несладко.

— То есть как это: не тревожьте? Что за нежности, товарищ майор? Честное слово — детский сад! Натворил, так пусть отвечает. Он что, заболел?

— Нет, — ответил Боев, умалчивая о причине своей необычной, так возмущившей Кулика просьбе.

— Так в чем же дело? Странно... Выходит, я даже не могу с ним поговорить!..

Они возвратились в казарму, еще безлюдную, как бы вовсе пустую в этот неурочный час. Дежурный отдал им честь.

— Вы хотя бы потребовали у водителя объяснительную записку? — спросил Кулик, не дожидаясь, пока они поднимутся в канцелярию и разговор перестанет быть слышным дежурному по заставе.

Боев поморщился:

— Объяснительная записка есть. Только... там все изложено не так, как было на самом деле.

Кулик вскинул брови, молча требуя объяснений.

— Объяснительная Сапрыкина не отражает всей правды. Я убежден, что по какой-то причине солдат умалчивает истину.

— Продолжайте...

— Все. Большого сообщить не могу. Другие данные будут у меня позже, а пока — не располагаю. — Сказал — и самому стало противно: «данными», «не располагаю»... Не разговор, а выдержки из протокола следователя. Неужели так на него действовал майор Кулик?..

— Так... — Кулик снял свою дымчато-голубую, отливающую серебром шапку, усеянную микроскопическими капельками оттаявшей влаги, положил ее на край стола начальника заставы, сам, не особо церемонясь, сел на его постоянное место и углубился в чтение записи происшествия. Боев с подобающим видом провинившегося, призванного держать ответ, занял место у батареи. Их пропорции при этом не были уравновешены: Кулик широко, просторно расположился за столом, сидел прочно, будто устроился там навеки; Боев стоял.

— В общем, картина ясна. — Кулик отстегнул ремешок планшетки (Боев еще при встрече обратил внимание, что у Кулика не было с собой даже портфеля с самым необходимым на случай возможной обстановки на границе), извлек из отделения несколько чистых листов форматной бумаги, вынул из целлулоидного кармашка наливную ручку и быстро, без помарок стал набрасывать рапорт.

— Может, чаю попьете, товарищ майор? — предложил ему Боев, и сам ощутив жажду, желание промочить горло. — Я распоряжусь.

— Чаю... — скривился Кулик. — Есть у меня время гонять чай!

Замполит сочувственно поглядывал на Боева, догадываясь, что Кулик отразит в рапорте и его, начальника заставы, косвенную вину.

— На, ознакомься! — Майор передал Боеву стопку листов. — И дай команду дежурному: мою машину на выезд! После подробно поговорим, в отряде.

Боев бегло, перескакивая через предложения, пробежал глазами густую вязь строк: «...стало возможным,

благодаря недостаточному контролю со стороны начальника заставы...», «...отсутствие должного контроля и инструктажа...», «...грубое нарушение правил парковки машин...»

Боев возвратил рапорт. Дальнейшее можно было и не читать: ясно, что львиную долю вины Кулик перекладывал на плечи начальника заставы. Бог с ним, это дело его совести! Боев переживет, его не убудет ни от какого искажения истины или навета, ни от какого загиба в сторону. А чувства... Что ж, на то они и чувства, чтобы помогать человеку видеть окружающее во всей его сложности, во всех противоречиях, и всегда надеяться на торжество единственно могучей, единственно недолимой силы — силы правды и справедливости.

Не рапорт занимал сейчас Боева, не смещенные в нем акценты и не мимолетная, хотя и горячая обида на Кулика. Всегда, во всех случаях, в любых обстоятельствах он привык, как истинный хозяин добротного дома, заботиться о том, во что целиком, без остатка вложил свое сердце, всего себя. Таким домом, как бы это ни звучало напыщенно, была для него застава, и Боев мог, точно так же, как у себя дома, или радоваться гостю, или воспринимать его присутствие под своей крышей как должное. Кулика он терпел — не столько по долгу службы, сколько из-за... корысти. Он связывал с приездом Кулика вполне определенные надежды, ждал от него главного — конкретной помощи. «Матерый» пограничник (даром, что ли, столько лет без срывов командовал именной заставой!), тонкий, как ему не говорили, практик, Боев как никто другой знал, что нынешняя граница немыслима без использования современных технических средств, что пора керосиновых фонарей и развешанных по кустам нитей с привязанными к ним пустыми консервными банками — всего того, что когда-то применялось в охране границы, — эта пора давным-давно миновала, невозвратно ушла, как в свой срок миновала пора дилижансов и пароходных плиц, томной вуали и хрипло шипящих патефонов, чуть ли не целый век назад бывших в таком ходу...

От Кулика ему нужно было совсем немного — новое купольное стекло взамен разбитого.

— Боюсь, что на складе такого стекла сейчас нет, — неопределенно высказался Кулик. — А может, где-нибудь и завалилось. Приеду — посмотрю. Хотя нет... Точно, на прошлой неделе одно отдали на стык — ка-

жется, последнее. Так что надо будет запрашивать округ, давать заявку. Придется ждать...

Хитрил Кулик, словно испытывал терпение Боева. По глазам было видно, что есть у него стекло, и наверняка не одно, да «солил» добро Кулик, не спешил обнаддеживать начальника заставы.

«Ну что, мне опять жаловаться командиру? Ведь снова будет волынить, как с трактором. И что за человек?.. — с тоской подумал Боев. — Прежний начальник отряда знал цену Кулику, а как отнесется Ковалев? Еще подумает: Боев свою печаль на чужие плечи перекладывает! Всякое может быть...»

Боев приник к аппарату связи, распорядился:

— Дежурный! Машину майора Кулика — на выезд!

Видимо, все-таки опасаясь произвести на Боева нежелательное впечатление своим скоротечным визитом, начальник автотракторной службы мимоходом заметил:

— Может, если попросить, временно даст аэропорт? Выручат, что они, не поймут? Но для этого, естественно, надо ехать в город самому. Хотя... что аэропорт? Если нет ни знакомых, ни связей, то нечего туда и соваться. У них своя организация, свои проблемы.

Запасной вариант, с аэропортом, Боев и без того держал в голове, заранее обдумал, как лучше его осуществить. Так что спешно убывавший — Боев давал другое определение: сбегавший — в отряд Кулик мог об этом и не говорить.

5

В субботний день, едва рассвело, сквозь тучи пробилось солнце. Боев воспринял это перед отъездом в город как добрый знак, и всю дорогу до города — несколько десятков километров — у него было отличное настроение. Ничуть не переменялось оно, даже когда миновали дачные коттеджи окраин и втянулись на магистраль. Поток попутных и встречных машин заметно увеличился.

Пока ехали по Ленинскому проспекту, Боев удивлялся необычному скоплению людей на самой магистрали и прилегавших к ней улицах. Насколько позволяла видимость, всюду — и вдоль трамвайных путей, и напротив фирменного магазина «Океан», и неподалеку от эстакады через Преголю — толпился народ.

«Праздник, что ли? — удивлялся Боев, в уединении

заставы отвыкший от такого скопления гражданских людей.

Потом на глаза ему попался лозунг с надписью: «Калининградцы! Все на субботник по очистке снега!» — и Боев улыбнулся своей недогадливости.

Небывалый, за многие годы впервые прошедший обильный снегопад начисто скрыл мостовые, завалил трамвайные пути, сделал коротенькими, торчащими из сугробов, будто сказочные, газетные киоски, и если бы не грейдеры, освободившие путь, Боеву вряд ли бы удалось пробиться с машиной.

Он наудачу выбрал из множества других массивное здание с темным цоколем, приказал шоферу остановиться. Шарапов по привычке лихача проскочил подъезд и, как нарочно, словно подгадывал, остановился напротив стайки девушек с новенькими, поблескивавшими на солнце алюминиевыми лопатами.

— Девчата, это за нами! — объявила та, что стояла ближе к майору, и немедленно скомандовала остальным: — Пошевеливайся, девчата, залезай!

Боев засмеялся — настолько озорной показалась ему девушка в коротенькой кроличьей шубке и синей вязаной шапочке с козырьком.

— Прокатите, а, товарищ майор! С ветерком...

— Рад, девчата, был бы, да всем места не хватит, — стараясь попасть в тон, ответил Боев и развел руками: мол, уж не обессудьте.

Его обступили, разом, наперебой заговорили:

— А мы не гордые, покатаемся по очереди, до вечера еще долго, успеем.

Не зная, на ком остановить взгляд, Боев поневоле обратился к девушке в приметной шубке:

— Скажите, как мне лучше проехать к АтлантНИРО? Ни разу, понимаете, не бывал.

Девушка прикусила язычок, таинственно подмигнула подругам.

— Ага! Значит вам нужен Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии? Это, знаете ли, сложно. На аналогичный вопрос сестрицы Аленушки о братце Иванушке, если вы помните эту сказочку, молочная речка с кисельными берегами ответила: «Сначала сдвинь в сторону камень, который мешает течь молоку, тогда скажу». Позвольте вручить вам, товарищ майор, универсальный инструмент под названием лопата. — Она дурашливо, с полупоклоном, словно маршаль-

ский жезл, протянула Боеву толстый березовый черенок, довольно грубо посаженный на скребок. — Сначала сдвиньте в сторону во-он ту горку снега, а тогда и скажу, как вам отыскать ваше загадочное НИРО.

— Ей-богу, девчата, всей бы душой, да некогда, — смущенно отнекивался Боев, со значением поглядывая на весело ухмыляющуюся физиономию Шарапова, как бы говоря водителю: «Ну, Шарапов, удружил, нашел молоденького, чтобы заигрывать...»

— Тогда... — призадумалась девушка в кроличьей, явно коротковатой шубке. — Тогда товарищу майору придется искать других провожатых или добираться самостоятельно. Поплута-а-ете...

Майору уже стала надоедать эта затянувшаяся игра, он в растерянности оглянулся. Ну что ты будешь делать: ведь не подчиненный, как солдату приказ не отдашь... Хорошо, что на помощь пришла другая девушка, ненамного старше остальных, но выглядевшая гораздо степенней, серьезней своих подруг. Прежде она держалась в отдалении, и потому Боев ее не заметил.

— Хватит, Оксана! Может, человеку действительно некогда, надо же понимать. — Она повернулась к Боеву. — АтлантНИРО, товарищ майор, рядом, надо только переехать через дорогу. Да-да, вон то здание. Вы уж извините девчат за шутку.

— Ну, пустяки, чего там, — и сам смутился Боев, вновь с загадочным значением посмотрев через стекло дверцы на Шарапова.

— Спасибо вам от души, девушка, не знаю, как вас звать. Будьте здоровы.

Он торопливо, уже не воспользовавшись машиной, стал пересекать улицу.

— А то бы помогли, побросали бы снежок! — не удержавшись, крикнула напоследок Оксана. — Он легкий.

На ходу обернувшись, Боев издалека уже ответил:

— Как-нибудь в другой раз! У самого на заставе этого добра — кидай, не перекидаешь...

В вестибюле института вахтерша поднялась навстречу Боеву, молча подождала, пока не подойдет.

— Мне бы кого-нибудь из руководства или из парткома, — объяснил ей Боев.

— А фамилия-то как, кто нужен?

— Не знаю. Я здесь первый раз. Кого-нибудь.

Мимо них, заталкивая бумаги в кожаный «дипло-

мат», прошел чем-то озабоченный сутуловатый человек в замшевой коричневой курточке. Вахтерша напевно, не по-здешнему, окликнула его:

— Виктор Николаевич, тут к вам военный.

Последнее слово у нее получилось на «ай»: «военнай».

Чем-то Боев пришелся ей по душе — она приникла ближе к майору, доверительно зашептала на ухо:

— Это у них почти что как самый главный. Ух, до-ка. А умна-ай...

Мужчина наконец справился с ворохом бумаг, щелкнул никелированными замками «дипломата». Особенно заметная без очков близорукость заставила его подойти к майору почти вплотную. Он учтиво спросил:

— Простите, чем обязан?

Не привыкший к такому обращению, Боев не сразу нашел что сказать. Похоже, мужчина понял это, мгновенно поправился, подкупающе улыбнулся, словно они были знакомы много-много лет:

— Что у вас? Не стесняйтесь, выкладывайте.

— Понимаете... — неуверенно начал Боев, — я к вам с большой просьбой.

— Лично ко мне?

Боев откровенно признался:

— Не знаю. Может, и к вам. В общем, мы с солдатами — а я начальник заставы — недавно смотрели по телевизору передачу о вашем институте. Очень интересно, солдатам понравилось. Ну они и просили меня...

— Вероятно, вы хотите, чтобы кто-нибудь из наших товарищей, ученых, выступил перед пограничниками? — пришел на помощь Виктор Николаевич.

— Совершенно верно. Если можно, конечно. — Боев зачем-то тронул, проверяя, ладно ли сидит, увенчанную кокардой фуражку, надетую специально по случаю выезда в город.

— Отчего же нельзя? Правда, сейчас... в институте почти никого не осталось. Все на расчистке снега. Сами видите, что творится на улицах.

— У нас тоже все дороги, все тропы снегом забито, будь он не ладен, — с готовностью подхватил Боев. — Сколько служу, а такого не припомню.

Вдвоем они какое-то время посетовали на поломавшую все планы непогоду, доставившую столько хлопот, потом в унисон, с легко угадываемой в обоих любовью поругали свирепый балтийский ветер, нагнавший стужу,

затем обменялись еще десятком ни к чему не обязывающих фраз о прогнозах на лето, щедро сдабривая собственные высказывания улыбками и юмором. Но мало-помалу тема исчерпала себя, и Виктор Николаевич озабоченно вернулся к исходной точке — высказанной Боевым просьбе.

— Так... — принялся он вычислять. — Во вторник у нас ученый совет. Среда и четверг отпадают: в эти дни я читаю курс. А вот пятница, кажется, ничем не занята. Да, пятница у меня пока свободна. — Он поднял глаза на Боева. — Вот разве что через неделю попробуем? Могли бы вы позвонить мне дней этак через пять-семь? Этот срок вас устраивает?

— Вполне, очень даже устраивает! — поспешно согласился Боев. — Я сейчас как раз направляюсь в политотдел — в городе-то я по делам службы, а к вам заехал, так сказать, по собственной инициативе, попутно. Так что предупрежу заранее начальство, что с вами вопрос согласован. А если нужно какое-нибудь отношение, заявка...

— Нет-нет, что вы, какая заявка! — Виктор Николаевич даже замахал руками. — Считайте, мы твердо договорились. Я же понимаю, что такое служба. Ведь солдаты, образно говоря, это наши сыны...

— Я рад, что вы о них... так. — Боев с удовольствием пожал ученому руку. — Значит, до пятницы. Машину за вами вышлем.

Виктор Николаевич церемонно, совсем как в фильмах о старом времени, поклонился:

— До встречи. Всего хорошего!

С самым приятным ощущением Боев вышел на улицу. Знакомых девчат уже не было — наверно, их увезли на каком-нибудь транспорте. Боев отыскал у бровки скрытый деревьями «газик», влез на дерматиновое сиденье и, не глядя на воплощение самой невинности — Шарапова, коротко обронил:

— В отряд!

Но в отряд они тоже попали не сразу. Пьянящая скорость движения, которую Боев особенно любил, только что испытанная удача в АтлантНИРО, даже незначительный, пустяковый эпизод с девушками — все это размагнитило майора, настроило на лирический лад.

— Знаете что, Шарапов, заедемте-ка на минуточку в Музей янтаря!

Свернув с главной городской магистрали — Ленин-

ского проспекта — на менее оживленную улицу Черняховского, шофер прибавил было газу, но Боев пригрозил ему пальцем: не зарывайся! Машина мчалась к Литовскому валу, делая порядочный крюк, чтобы в конце концов оказаться у округлого входа-башни в Музей янтаря. Шофер, хитрая бестия, знал, что еще с давних пор майор любил эти форты средневековой крепости, где теперь располагался уникальный Музей янтаря. Знал и радовался предоставившейся возможности загладить свою вину за девчат, за неловкое положение, в котором из-за него оказался майор.

Они уже миновали больше половины пути, когда Шарапов услышал неожиданное:

— Отставить музей, Шарапов!

Не сразу разобравшись в приказе, Шарапов мгновенно, как и большинство водителей в переменчивой ситуации, исполнил механический маневр: вовсе застопорил машину, жестко осадил ее чуть ли не посреди дороги.

— Чего остановился, Шарапов? На пень наехал?

Сзади нетерпеливо сигналили, требовали поскорее освободить путь.

— Поворачивай-ка на Московский проспект. Успеется еще с музеем, не горит. Давай сначала к школе милиции. А потом в отряд. Понял, нет? Вот так.

Услыша знакомое майорское присловье: «Понял, нет? Вот так» — служившее для солдат верной приметой хорошего настроения начальника заставы, Шарапов весело откликнулся:

— Есть, на Московский, к школе милиции! — на что Боев только головой покачал: не водитель, а прямо рулевой на мостике боевого корабля...

— Да смотри мне, больше не джигитуй, с машины ссажу, — пообещал нестрого.

В школе милиции царила тишина. Либо курсантов тоже вместе с гражданским населением направили на ликвидацию последствий стихии, либо в аудиториях шли занятия. Боев миновал вежливо козырнувшего ему дежурного, направился к двери с табличкой: «Начальник курса», выделявшейся среди остальных, коротко постучал.

— Входите, открыто! — донеслось из-за двери.

Едва только Боев переступил порог, комнату наполнил радостный бас начальника курса:

— Здравия желаю, товарищ майор! Вот уж не ожидал, так не ожидал...

— Здравствуй, Николай! — Боев нарочито нахмурился, и сразу же к переносью сбежались морщины. — Что ты Трофимов — помню, а вот отчество твое, извини, брат, забыл. Долго помнил, а после запамятовал.

Прикидывался Боев, работал, как он сам говорил, «под простака». Он помнил не только отчество Трофимова, мог даже перечислить по памяти имена всех пяти его братьев, однако сейчас, намеренно изображая забывчивого, сверх меры хмурился: казалось, что это придаст ему вес, самому его виду прибавит внушительности и уж непременно в лучшую сторону отразится на предстоящем разговоре.

— Егорович. Николай Егорович, — смущенно подсказал гостю хозяин кабинета.

— Ну, тогда здравствуй, Николай Егорович. — Боев пожал руку старшему лейтенанту в новенькой, ювелирно подогнанной по фигуре милицейской форме. — Как видишь, решил по старой памяти навестить, узнать, какие твои успехи. Давненько не виделись, а? Сколько уж лет прошло — ай-я-яй!

Старший лейтенант по-прежнему стоял перед майором навытяжку, словно все еще ощущал себя тем солдатом-пограничником, подчиненным Боева, которым был несколько лет назад. Щеки у него порозовели, и весь он как бы светился изнутри, даже на расстоянии излучал тепло.

— Так точно, товарищ майор, давно не виделись.

— А все времени не хватает, — посетовал Боев. — То молодое пополнение, то обстановка, то еще всякие дела. Сплошной круговорот в природе. Да...

— Ума не приложу, товарищ майор: какими судьбами? Неужели просто заехали по пути! Или все же по делу? Ведь знаю — по пустякам разъезжать не станете. Недосуг.

— Да ты погоди о деле... — Майор расстегнул тесно обтянувшую тело шинель, откинул длинную полу, полез в карман за сигаретами. — Курить-то здесь можно?

— Курите, курите, — поспешно закивал Трофимов, извлек откуда-то из-под батареи тяжелую металлическую штуковину в замысловатых завитках, оказавшуюся пепельницей. — Сам-то я не курю. Не привык.

— И правильно делаешь, — одобрительно кивнул Боев. — Табак — здоровью враг. Одна капля никотина,

знающие люди говорят, намертво валит лошадь. А я вот, как видишь, все еще скачу. — Боев затянулся дымом, хрипловато рассмеялся своей шутке. — Ну, давай по порядку выкладывай, чем живешь-дышишь? Наград небось наполучал — видимо-невидимо.

— Да какие там награды? — отмахнулся Трофимов. — Ими оперативных работников награждают, а тут...

Боев заинтересованно спросил:

— Сам-то хоть как живешь?

Трофимов шевельнул на столе горку каких-то тетрадей, смущенно улыбнулся:

— Жаловаться грешно. Живу хорошо. Со службой тоже все в порядке. Учим вот помаленьку курсантов, товарищ майор, смену готовим.

— Зови ты меня, Трофимов, Василием Ивановичем. А то заладил: «товарищ майор» да «товарищ майор»! Здесь тебе не застава, да и ты не мой солдат уж теперь.

— Так ведь привык, товарищ майор. Здесь почти все то же, что в армии: и форма, и звания, и дисциплина...

Трофимов говорил и видел — отчетливо видел, потому что Боев сидел напротив окна, был весь на свету, — как постарел бывший его начальник заставы, которого он в свой срок службы видел в непрерывном движении, бесконечных делах и заботах. Замечал Трофимов и тяжело набрякшие, с болезненной подволокой, мешки под глазами майора, и задубевшую, в крупных порах кожу лица, его как бы укрупнившийся нос на фоне глубоко залегших морщин. И острая жалость — та жалость, которая у людей со слабыми нервами вышибает слезу, — охватила Трофимова, чувствительно резанула по сердцу. Надо было что-то сказать хорошее этому немолодому уже офицеру, которого, как теперь с особой силой понял Трофимов, он и спустя годы по-своему любил, о котором не раз в трудную минуту вспоминал с молчаливой благодарностью и признанием. Да только как скажешь? Ведь сразу поймет, догадается, хотя и виду не подаст, какое слово произносилось само по себе, а какое — ему в утешение. И где оно, то самое хорошее, самое верное слово, которое помогло бы шире развернуться плечам, сумело бы вернуть нездоровым глазам майора утраченный ими былой блеск? Нет, упорно ускользали слова, как это часто бывает, не находились в нужный момент. Витали неуловимыми обрывка-

ми в смятенном сознании Трофимова, щемили сердце ненужной жалостью, а на язык не шли. И тогда Трофимов с грустью, торопясь не столько заполнить возникшую в разговоре паузу, сколько скрыть от майора теперешнее свое состояние, вздохнул:

— Это верно, здесь не застава. Там было одно, а здесь — все совершенно по-другому...

— Жалеешь, что не остался у нас?

Трофимов замялся.

— Да как вам сказать... Иногда жалею. Иногда не очень. А помнится очень многое...

— Ну, добро! — решительно, чтобы тоже не удариться в сантименты, закрыл опасную тему Боев. Сбил с сигареты нагоревший столбик пепла, повертел вправо-влево необычную пепельницу, разглядывая с интересом ее крученые, в черноту, завитки. Сказал без всякого перехода, снова умышленно щурясь, будто от попавшего в глаза дыма: — Помощь мне твоя во как нужна, Трофимов. Потому и приехал, уж не обессудь.

И без того собранный, стройный, Трофимов вытянулся еще больше, весь обратился в слух.

— У тебя связи в городском аэропорту есть?

Трофимов кивнул: найдутся, хотя на самом деле никаких «связей» у него и в помине не было, а говоря так, он поневоле кривил душой и преждевременно обнадеживал майора. Просто Трофимов знал, что ради Боева установит «связь» хоть в преисподней с чертом, хоть на небесах с самим господом богом — таким Боев был человеком, которому нельзя было ни в чем отказать.

— Понимаешь, дело какое... — Боев помедлил, пытливо глядя старшему лейтенанту в глаза. — Солдаты у меня прожектор расшиб, снес купольное стекло, ну и зеркало тоже слегка зацепило.

— Молодой? — участливо спросил Трофимов, морщась, как от зубной боли.

— То-то и оно, что молодой, из последнего пополнения. И дома, кроме него, трое сестреноч-школьниц да еще мать-одиночка. Вот ведь какая оказия...

Трофимов снова задал вопрос:

— Как же это его угораздило? Случайно? И лира тоже полетела? Или цела?

— Да лире-то что сделается? Она железная... А тут — сам знаешь, стекло. Такое попробуй достать. А на аэродроме есть. Ты, Егорыч, — доверительно проговорил Боев, — узнай хорошенько, могут они дать, хоть

на время? Взаимообразно, а? Я ведь, в случае чего, и деньги им могу заплатить, как за новое, сколько бы оно там ни стоило...

Веский аргумент, который привел Боев, упомянув про деньги, заставил Трофимова насторожиться: чересчур просительной показалась ему интонация Боева; прежде таких нот в голосе майора Трофимов ни разу не слышал. И ему второй раз за встречу вспомнилось, что Боев и действительно далеко уже не молод.

— А что же отряд? — с болью воскликнул Трофимов, переживая не меньше Боева.

— Отряд выслал замену, — не моргнув глазом, объяснил Боев. — Сразу же отправил, как случилось. Да ты понимаешь, какая штука... Новое-то начали устанавливать, а оно выскользнуло — и вдребезги. На куски. Молодежь, сам понимаешь, слабая, не то что ваш призыв, — сам не зная для чего, польстил Трофимову.

Боев огорченно вздохнул, едва не сунул сигарету обратным, зажженным концом в рот. Посвящать кого бы то ни было, в том числе и Трофимова, в тонкости своих взаимоотношений с Куликом Боев счел лишним: дело тут, можно сказать, семейное, где постороннему присутствовать — ни к чему.

— Конечно, отряд и еще обеспечит стеклом, — убежденно проговорил Боев, на какой-то миг поверив и сам в сочиненную с ходу историю. — Только не сразу, понятно: надо запрашивать округ, чтобы выделили. А мне сейчас закрывать границу надо, сегодня. Вот потому и пришел к тебе, Трофимов Николай свет Егорович. — Боев улыбнулся. — Знаю: братьям своим, пограничникам, не откажешь. Все бросишь, а поможешь, я так полагаю, — добавил, уверенный, что хитрый его прием Трофимов не разгадает.

Некоторое время он молча любовался бывшим своим воспитанником, и глаза его при этом подернулись столь знакомой Трофимову, какой-то почти родственной теплотой, отмякли.

— Фуражку-то свою все хранишь?

— А как же! — Трофимов отпер расписанный под дерево маленький сейф, извлек из него пограничную фуражку с изумрудно-зеленым верхом, бережно провел ладонью по ворсистой ткани. — Всегда тут. Берегу. О службе напоминает. На День пограничника двадцать восьмого мая надену, покрасуюсь и опять спрячу, и так каждый год. Ни разу не забыл!

— То-то. — Довольный Боев придавил сигарету в пепельнице, размял ее тугим твердым пальцем и встал. — Ну, пожалуй, поеду. Пора. Так позвонишь?

— Непременно позвоню, товарищ майор. — Трофимов тоже поднялся.

— Я на тебя крепко надеюсь и очень рассчитываю, — на всякий случай подмаслил обычно скупой на похвалы Боев и, довольный удачно завершенным деловым разговором, тем, что не ошибся в своем питомце, принялся застегивать шинель.

Трофимов проводил его до двери. Наконец, уже у порога, тихо спросил:

— Гай-то еще жив? Бегаёт?

— Гай-то? А что ему сделается? Постарел, правда. Но пока служит. Хороший пес, ничего не скажешь. Еще бы парочку таких, и можно спать спокойно. — Боев уже взялся за никелированную скобу, намереваясь покинуть кабинет, но в последний момент что-то удержало его у двери. Он повернулся к Трофимову. — Ты бы приехал как-нибудь, посмотрел на заставу, на своего Гая. Мы бы тебе встречу с личным составом организовали. А, Николай?

Трофимов сглотнул набежавшую слюну, отвел глаза, начал сосредоточенно рассматривать крытую зеленой масляной краской стену, словно там таилось бог весть что интересное. Сказал так же тихо, с усилием, но как твердо решенное:

— Нет, товарищ майор, не поеду. Боюсь я возвращаться к старым местам: ничего, кроме тоски, потом не остается. И на заставу... не смогу. Зачем? Берeditь душу? Гаю тоже мой приезд ни к чему: сколько у него хозяев после меня перебывало? Да он, пожалуй, меня и забыл: время-то летит...

— Ну как знаешь. — Боев кашлянул в кулак. — Может, ты и прав. Так и тебе, и Гаю будет спокойней. А если когда и надумаешь — приезжай. Всегда будем рады.

* * *

Гая привезла на такси женщина лет тридцати. Охранявший заставу часовой в первую минуту удивленно, не зная, что делать, рассматривал сквозь проволочный узор калитки огромную палевую овчарку, которую хозяйка держала на поводке. Пес то и дело перебирал лапами,

но выглядел вполне миролюбиво. И все равно часовой предусмотрительно держался от калитки подальше: зверь есть зверь, никто не знает, что у него на уме.

— Мне бы увидеть вашего командира, — попросила женщина часового.

Солдат нажал кнопку вызова дежурного по заставе, и когда тот вскоре прибежал, кивком указал ему на владелицу восточноевропейской овчарки:

— Начальника спрашивает. Зачем — не говорит. Просит лично его.

Боев вышел к незнакомой женщине минут через пятнадцать, извинился за непредвиденную задержку: освободиться раньше не позволяла служба.

— Ничего-ничего, — сдерживая дрожь в голосе, певуче ответила женщина. — Я понимаю.

Собака потянулась к Боеву крупной мордой цвета обожженной головни, сунулась мокрым носом в ладонь.

— Фу, сидеть, — скомандовала хозяйка, и пес мгновенно сел. На груди звякнули медали.

— Как зовут собаку? — спросил Боев, не дожидаясь, когда женщина соберется с духом объяснить, что привело ее на заставу, да еще с овчаркой.

— Гай. Три года. Прекрасная родословная. Родители — аргентинцы. Медалист. Чемпион. — Женщина давала характеристику сухим, отрывистым голосом, не глядя на офицера, но за обилием перечислений Боев их почти не воспринимал.

— Гай — удобное имя, — лишь похвалил он. — Главное — короткое, звучное. Собака ведь воспринимает всего один звук своей клички. А то иногда дадут имя Джульетта или Кардинал. Красиво и глупо. Ведь верно?

— Да. Красиво и глупо, — рассеянно повторила женщина вслед за Боевым и внезапно с отчаянием обратилась к офицеру: — Товарищ... простите...

— Майор Боев.

— Товарищ Боев, помогите мне! Я прошу: возьмите у меня собаку! Всего на четыре месяца. Муж — а он у меня моряк, плавает по загранике на БМТ — откуда-то привез Гая уже совсем взрослого. Это было давно. Нет, вы не подумайте худого, собака эта прекрасная, прекрасно воспитана, муж даже водил ее на выставки, ей присуждали медали и эти... как их, дипломы. Но... я женщина, у меня, поймите правильно, свой круг интересов, и мне просто физически тяжело, невыносимо ухаживать за таким большим псом.

Слово «псом» она произнесла на особый манер, с долей отрешения, страха и, как показалось Боеву, безгливости одновременно. Боев лишь покачал на это головой: видимо, решиться на такой шаг, не посоветовавшись с мужем, женщину и впрямь вынудило отчаяние или еще какие-нибудь крайние обстоятельства.

— Чем я-то могу вам помочь? Собаки у нас свои, а сверх штата мне держать не положено. Да и кто мне будет выделять средства на рацион сверх нормы?

— Да, я знаю. Вот, я приготовила за питание Гая, пока что на месяц, потом я приеду еще. — Она вынула из сумочки две новенькие десятирублевые бумажки, с готовностью протянула их Боеву.

Боев денег не принял. Только поинтересовался:

— Скажите, ваш муж...

— Он слишком редко бывает дома, — поспешно, словно боясь, что ее не дослушают или перебьют, подхватила женщина. — Я уже говорила, что он моряк, а вы знаете, каково быть женой моряка. Он постоянно в плавании, а все заботы по дому лежат на мне, и я... я просто не в состоянии ухаживать еще и за собакой. К тому же я прошу — ну что вам стоит? — приютить Гая не насовсем, а всего на четыре месяца, до возвращения мужа. Сами понимаете, кому из соседей навяжешь такую собаку? И знакомые никто брать не хотят: у всех дети, мало ли что...

Гай беспокойно шевельнул ушами, напрягся телом, поднял непередаваемо красивые агатовые глаза на хозяйку, словно воистину понимал человеческую речь, понимал, что сейчас, может быть, решится его судьба.

— Неужели это так сложно — понять и помочь? — в отчаянии спросила женщина.

— Как хотите, а на четыре месяца не возьму, — решительно отрезал Боев. — Вы, наверное, не представляете, что значит для собаки такая смена хозяев, даже временная. Или навсегда, или ни на один день. А дальше решайте сами.

Женщина закусила губу. Похоже, она с трудом сдерживала слезы.

— Не возьму, и не уговаривайте. — Боев слегка отстранился. — Я тоже люблю животных и... не могу. Либо навсегда, либо ни на день. Извините, меня ждут дела.

Через неделю женщина приехала снова. Боев оказался неподалеку от ворот, увидел, как возле них затор-

мозила легковушка и на землю прыгнула собака. Он подошел.

— Берите навсегда, я согласна. — Женщина покорно вздохнула, прежде чем передать Боеву поводок. — Ваше дело, верить мне или нет, но это, — она указала на Гая, — самое дорогое, что у меня есть. Только я слишком устала и не хочу, чтобы Гай страдал из-за меня... Вот, если желаете, все документы.

Ах, как не хотелось Боеву мучить ее вопросами, растравлять сердце уточнением подробностей! Видно было, что женщина и без того страдала, искренне переживала предстоящую разлуку, и Боев, припомнив детали первого их разговора, усомнился: вряд ли хозяйка привезла Гая только потому, что ей стало невмоготу, физически тяжело ухаживать за собакой.

— Скажите, — осторожно подбирая слова, попросил Боев, — почему вы решили расстаться с Гаем?

— Да-да, я расскажу. Знаете, Гай не любит, просто терпеть не может пьяных. Он совершенно звереет, рычит, рвется с поводка... Как-то раз прямо у подъезда дома он в клочья изодрал на мужчине брюки. Представляете? У-у, какой вокруг всего этого поднялся шум...

Все это время неподалеку от калитки прохаживался часовой и с любопытством, но так, чтобы невзначай не выдать себя, прислушивался к разговору. Боев приказал ему:

— Вызовите ко мне инструктора службы собак.

— Сначала я отвезла Гая к тетке, под Черняховск, та живет в своем доме, — продолжила женщина, машинально поглаживая собаку по шелковистой шее. — Так Гай — я не знаю, что с ним произошло, — вцепился в какого-то бычка и перегрыз ему горло. Жутко, кошмар... Понятно, был суд, я вынуждена была заплатить четыреста восемьдесят рублей за ущерб. Но дело, как вы понимаете, не в деньгах: мой муж достаточно хорошо получает, чтобы подсчитывать каждый рубль. Просто я боюсь, что однажды Гай сорвется, за ним могут приехать люди и... Вы ведь знаете, что я имею в виду. Поэтому мы с Гаем и у вас. Я долго думала, прежде чем решиться, ведь к животному привыкаешь, словно к ребенку. А потом пришло наконец письмо от мужа. Он тоже советует, раз такое дело, отдать Гая вам, и я поняла: лучше, чем на границе, ему не будет нигде.

Подбежал запыхавшийся инструктор службы собак, сержант. Боев указал ему на Гая.

— Отведите собаку в питомник. Карантин.

— Есть! — Сержант принял из рук женщины поводок.

В последний момент, перед тем, как уйти, хозяйка Гая придержала Боева за рукав.

— Я вас прошу только об одном: разрешите мне хоть изредка навещать Гая! Я вас очень прошу. Вы мне обещаете это?

Боев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Прощай, Гай! Будь умницей. — Женщина некоторое время постояла, закрыв глаза, потом несколько раз торопливо поцеловала собаку и, не оглядываясь, пошла от ворот заставы к ожидавшим ее «Жигулям».

Гай дал себя увести, и пока шел, стуча когтями крепких лап по асфальту заставского двора, нет-нет да и поворачивал голову, словно удивляясь, в сторону уже не видной ему за забором хозяйки.

Как ни странно, хозяйка собаки так ни разу больше и не приехала на заставу. Боев не смог бы определенно сказать, что было тому причиной.

Гая поместили в недавно опустевший вольер Доры, погибшей от ножевой раны в схватке с нарушителем. Очевидно, поняв, что отныне он навсегда разлучен с хозяйкой, пес никого к себе не подпускал. Ночью он перемахнул через проволочную сетку вольера, перемахнуть через которую было немыслимо. Но Гай оказался сильным псом, гораздо сильнее тех, которых до этого Боеву приходилось видеть. До рассвета Гай блуждал в поисках хозяйки, на заставу вернулся только к утру. Его пробовали накормить, но безуспешно: Гай ни разу даже не встал, не подошел к своей миске и вовсе не смыкал глаз.

Днем он ушел опять...

На следующее утро, едва подсохла роса, жены Боева и старшины, по обыкновению каждый день делавшие зарядку у офицерского домика, заметили огромную овчарку, приближавшуюся к ним трусцой. Опасливо, зная, что бежать ни в коем случае нельзя, они смотрели на незнакомую собаку, а когда та остановилась рядом и стало ясно, что она не нападет, женщины попробовали ее приласкать. К счастью, кто-то видел эту картину, и на помощь женщинам поспешил инструктор службы собак. Однако Гай встретил его грозным рыком и близко не подпустил. За женщинами же он потянул-

ся, как привязанный, и те, натерпевшись страху, довели-таки его до вольера, закрыли наспех дверцу.

К пище Гай совершенно не притрагивался. Воду тоже не пил, несмотря на то, что пошли уже третьи сутки его одиночества. Правда, и убегать он больше не стремился, может, потому, что чуял: обессиленному забора ему не преодолеть.

Боев подходил к вольеру каждый раз, как выпадала свободная минута. Стоял у сетки, подолгу смотрел на отощавшего Гая. Вспоминал пророчество осматривавшего питомник ветврача отряда, мол, Гай тут не приживется, и начинал поневоле верить в его правоту.

Ему было жаль умное животное, переживавшее, может быть, самую тяжелую трагедию в своей жизни. И надо было что-то срочно предпринимать, чтобы вовсе не потерять породистую собаку.

— Вот что, сержант, — сказал Боев инструктору, — сводите-ка собаку на фланг. Пусть «прогуляется».

Гай позволил надеть на себя ошейник, шагнул вслед за опасливо следившим за ним инструктором, и они вскоре скрылись из виду.

...Обратно Гай шел, едва переставляя ноги. Многие километры пути по дозорной тропе вдоль границы, многочисленные, хотя и не крутые, подъемы и спуски, мостки и речушки, через которые пролегал путь, вымотали его окончательно. Не было сил не то что огрызаться, но и просто стоять.

— Давай, давай, — уже на последних километрах обратной дороги к заставе подбадривал его инструктор. — Это тебе не характер проявлять. Устал, песик? А как же мы-то ходим по столько километров в день? Учись, браток, надо: теперь это дело твое такое.

В вольере Гай плотно поел — впервые за эти дни. Инструктор сиял, будто новенький полтинник, вздохнул, радовался покорности собаки, а значит, и собственной победе над нею. Увидев подошедшего к вольеру Боева, поспешил с радостной вестью:

— Во, уплетает за двоих, только давай! Голод-то, известно, не тетка, пирожка не подаст.

Отдали Гая в школу служебного собаководства, чтобы прошел полный курс наук пограничной собаки. Новым его хозяином, с которым Гая отправили в школу, стал молодой солдат-пограничник первогодок Николай Трофимов. Неизвестно почему, но Гай признал его сра-

зу, и когда однажды, уже на заставе, они вдвоем шли по следу нарушителя, Гай спас Трофимову жизнь; прыгнул на пришельца, закрыл собою инструктора, а сам получил в грудь пулевое ранение навывлет. К радости Николая, пуля прошла лишь мягкие ткани, нигде не задев кости...

* * *

Старший лейтенант милиции Николай Трофимов до сих пор не мог забыть своего друга, и всякий раз при воспоминании о нем сердце его замирало от волнения и душевной боли... Когда Николай отслужил срочную и пришел срок расставания, он купил Гаю большой торт — шофер военторговской автолавки специально по его просьбе привез торт издалека, из города, — и пока Гай осторожно слизывал непривычное лакомство, Трофимов, не замечая слез, плакал...

6

Боев читал письмо, когда в канцелярию постучали.

Письмо было из Москвы, от сына. «Папа, — писал Валерий, — распространяться о своем житье-бытье в Высшем пограничном командном... и так далее училище я не стану: тебе оно знакомо гораздо лучше. Я же, выражаясь высоким слогом, еще только начинаю свой путь к границе. И скажу лишь о том выводе, который сам — понимаешь, сам! — сделал еще с первых дней службы и учебы: будущий наш офицерский хлеб ох как несладок!

Не спеши осуждать: я не собираюсь плакаться — не такое получил воспитание. Просто я часто слушал твои рассказы о службе в Средней Азии, на Дальнем Востоке и теперь на Балтике, но даже не предполагал, что за всеми твоими увлекательными историями кроется такой тяжкий труд, — я, твой сын, выросший, как ты говоришь, в седле пограничной лошади, знающий границу «от» и «до», и то не предполагал, что это за труд!

Открою тебе маленькую тайну, отец: я всегда смотрел на тебя как на героя, хвастался тобою перед мальчишками, и порою — уж буду откровенным до конца — забывал, что ты «скроен» из того же «материала», что и остальные люди. Что у тебя могут быть не

только успехи, но и неудачи, так же, как у других, может быть плохое настроение или просто болеть голова. Лишь однажды — помнишь? — я случайно увидел, как ты потихоньку от меня и от мамы вырезал на кухне головку русалки из куска янтаря, хотел сделать маме подарок к Восьмому марта. Я тогда страшно удивился: как, ты — и вдруг какая-то прозаическая поделка?! Верись, я даже не знал, как нравится тебе этот солнечный камень, не подозревал даже, что тебя отлично знают как частого посетителя в Музее янтаря. Потом, гораздо позже, я понял, отчего так удивился. Просто я всегда привык видеть тебя в портупее, с пистолетом, всегда занятого делами и только делами границы, и совершенно не представлял тебя за обычным делом, не героическим. Смешно, но как же мало я, твой сын, знал тебя! Теперь-то я вижу это отчетливо и о многом жалею, чего, увы, уже никому не дано вернуть...

Нет-нет, не думай: я же пообещал в начале письма, что ни плакать, ни жаловаться не стану! Но мне, отец, почему-то очень надо тебя спросить. Скажи, вот ты служил всюду, а в итоге все равно вернулся туда, где прошли лучшие твои годы, — на Балтику. Это что — случайность? Закономерность? Или, опять-таки выражаясь высоким слогом, зов души? Почему человека так сильно влечет к себе его малая родина, где он впервые познал мир? Ответ обязательно и по возможности подробней. Потому что, надеюсь, ты понимаешь, что после распределения (до которого еще ох как далеко!) я буду проситься в Среднюю Азию, ближе к Копет-Дагу, про вершины которого я как-то в детстве, по твоим рассказам, говорил, что они сделаны из сахара и мороженого, и со слезами рвался туда, чтобы откусить от них хоть кусочек. Детство все, розовое детство, о котором с сожалением вспоминаешь на пороге взросления...

Да, я написал новые стихи. Хочешь, покажу?..»

Дальше Боев дочитать не успел, потому что в дверь канцелярии постучали.

— Разрешите, товарищ майор?

Боев поспешно сунул конверт с письмом в стол.

На пороге, не решаясь войти, стоял Сапрыкин.

— Товарищ майор, вот я написал... — Сапрыкин протянул начальнику заставы исписанный тетрадный лист в клетку, и Боев заметил, что руки у него при этом дрожали.

Однако читать объяснительную записку солдата начальник заставы не стал. Казалось, он чего-то ожидал, хотя нетерпение его проявлялось лишь в том, как он часто и сильно барабанил пальцами по заваленной бумагами столешнице да хмурил близко сведенные к переносью брови.

Сапрыкин одернул куртку, на этот раз хорошо вычищенную и выглаженную, бросил на майора мимоletный взгляд и затем с глубоким вздохом сказал:

— Извините, товарищ майор, тогда, в первый раз, я сказал вам неправду. Проектор разбил я сам. Никто из солдат не виноват.

Боев перестал барабанить пальцами, подобрал их в кулак. В зыбком матовом свете, пробивавшемся с улицы сквозь промерзшие двойные стекла боковых окон, сидящий в неподвижности майор показался Сапрыкину похожим на изваяние. Он ждал.

— В общем, дело было так... — принялся объяснять Сапрыкин. — Я поменял свечи и хотел сразу поставить машину в бокс. Стал загонять ее на место, а тут вдруг слышу — треск. Я сначала не понял, что это, думал, что бортом задел ворота, нажал на тормоза, да поздно. Ну, вышел, увидел, что получилось, и... В общем, товарищ майор, я испугался, стою и не соображу, что надо делать. Побежал быстрее в казарму, а сам все думал дорогой, как мне быть. Хотел рассказать обо всем командиру отделения, да он был на службе. И тогда... — Сапрыкин на какое-то время умолк.

— И что тогда?

— Мне вдруг пришло в голову, как надо сделать. Ведь рядом никого не было, никто ничего не видел. Ну я и отогнал машину на середину двора, чтобы поверили, будто на ней кто-то катался. Вот и все.

Ни один мускул не дрогнул на темнокожем, широко скулом лице майора. Спокойным голосом он сказал:

— Я это знал, товарищ Сапрыкин. Для меня еще в первый день все было ясно. — Он пригнулся к тумбе стола, выдвинул ящик, достал оттуда осколок толстого стекла и продолговатый кусок штукатурки. — Это валялось на снегу, у ворот бокса. Не надо быть криминалистом, чтобы понять, как стекло и штукатурка попали со двора к боксу. Но я все ждал, когда вы сами придете ко мне и расскажете обо всем без утайки. И рад, Сапрыкин, что не ошибся.

Нет, последние слова майора вовсе не были ни одоб-

рением, ни похвалой. Но они непостижимым образом легко, разом сняли с души солдата тот тяжкий гнет, который давил его непомерным грузом, мешал ходить по заставе прямо, не стыдясь смотреть товарищам в глаза, и не было в эту минуту для Сапрыкина награды дороже, желанней, чем это скупое майорское: «Рад, Сапрыкин, что не ошибся».

— Единственное мне непонятно... — задумчиво продолжил майор. — Скажите, Сапрыкин, зачем вам понадобилось загонять машину в чужой бокс, явно не приспособленный для апээмки?

От удивления глаза у Сапрыкина округлились: как это зачем? Ведь ясно, где положено находиться машине, да еще в пургу!.. Но майор подчеркнул: «чужой бокс» — и Сапрыкин вспомнил, взволнованно, торопясь высказаться, заговорил:

— Так вот же... Так в моем же боксе стояла «Волга», я возился с мотором и не видел, когда ее туда поставили. Ну да, «Волга»! Я еще подумал, что приехало начальство, а шофер не знает, чей это бокс, вот и сунул свою бандуру ко мне, я потому и ругаться не стал, иначе бы... Нет, товарищ майор, вот так было. Я хотел выкатить «Волгу», но машина стояла на скорости, а ключа не было, попробовал, да и бросил, потому что бесполезно. На улице еще тогда был мороз, пурга, и я боялся, что мотор апээмки остынет, а воду сливать не хотелось: что толку, скоро все равно было на службу...

— Вы что, Сапрыкин, — перебил майор сбивчивый рассказ водителя, — забыли, какая разница по высоте между обычным боксом и вашей машиной?

— Нет, помнил, — не оттягивая времени для раздумий, ответил Сапрыкин. — Просто я хотел, раз мой бокс занят, а другой, рядом, свободен, чтобы хоть мотор был в тепле, ну, хотел немного заехать по кабину, а там накат, да обледенело как следует, вот и получилось.

— Понятно... — Начальник заставы снова побарабанил пальцами по столу, врасстяжку повторил: — Понят-но. Вот что, Сапрыкин. К прежнему разговору возвращаться не хочу: и так вам должно быть все ясно. Но то, о чем я вам тогда сказал, запомните. Крепко запомните. Только правда, пусть даже самая горькая, помогает человеку жить. Вы слышите? Другого, взамен, ничего нет, по-другому — это не жизнь, а пресмыкание.

А теперь можете быть свободны. Да-да, Сапрыкин, я вас не задерживаю, так что можете идти.

Не ожидая, что разговор, к которому солдат тщательно готовился, завершится так скоро, Сапрыкин сделал несколько шагов, но у двери остановился.

— Извините, товарищ майор, можно вопрос?

— Да, что такое?

— Мне Шарапов говорил, вы специально ездили в город. Что-нибудь удалось сделать?

Боева неприятно кольнуло: вот, уже слухи поползли по заставе!.. Но вслед за этим подумалось и о другом: раз спрашивает, значит, переживает, волнуется, горит надеждой... Живительное тепло разлилось по груди майора от участливого вопроса солдата, но Боев, отсекая прокатившуюся в нем волну доброго чувства, сказал по-отечески грубовато:

— Ладно, Сапрыкин, идите. Надеюсь, удастся. Все удастся. А Шарапову при случае передайте: лишнее будет болтать, накажу.

Приход Сапрыкина чем-то взволновал его, и это волнение не давало Боеву возможности усидеть на месте. Он встал. Прошел к окну, обеими руками оперся о подоконник. И на время забыл обо всем, залюбовался узорами на стекле. Пристально, с полузабытым детским интересом он рассматривал распустившиеся на стекле морозные пальмы и диковинные, сплошь в сахарных рисках, островерхие горы, манящие невиданной, неземной красотой уютные доли и миниатюрные порожистые реки, — не просто смотрел, а видел, чувствовал, осязал ту причудливую картину, которую создал на стекле мороз.

Выбеленные инеем цветы напоминали майору детство, вызвали из забвения, почти из небытия, ту покосившуюся от ветхости хатенку с крошечными заиндевелыми оконцами, где под «охи» и «ахи» неведомой, ни разу больше не виденной бабки так долго и мучительно умирала мать, а он, не понимая того, что вот-вот должно было свершиться, не понимая зловещего смысла происходящего, все подбегал к постели матери, тормошил ее и просил продышать ему на стекле дырочку, в которую был бы виден заснеженный лес и застывшая под деревянным мостиком речка... И так же, как в детстве, Боеву вдруг захотелось сейчас увидеть сквозь протаянное оконце насквозь выстуженный простор, над которым всецело, властно хозяйничала зима. Он похло-

пал себя по карманам, выслушивая мелочь. Достал попавший в пальцы пятак, согрел его дыханием, приложил к выросшему у щели снеговому бугорку. Монета отпечаталась до последней буковки, но стекла не достала. Буквы выделялись на белом, как нарисованные. Он подышал еще раз, приложил пятак рядом. И внезапно устыдился непонятно откуда взявшегося в нем мальчишества, поспешно выколупнул из ямки пристывшую монету, торопливо вернулся к рабочему столу.

Что-то неотвязно напоминало ему о приятном деле. Он вскоре вспомнил: письмо от сына! Заново достал конверт из стола, нашел место, на котором прервал чтение. Стихи! Шевеля губами, Боев начал читать вслух:

Возле моря, у серого камня,
Откровенно завидуя взрослым,
Спрятав щеки в ладони, мечтал я:
«Обязательно буду матросом!»

Но не плаваю в синем просторе,
Полюбились мне травы степные.
А потом полюбились и горы.
А матросами стали другие.

В девятнадцать безудержно, слепо,
Устремляясь за птичьим полстом,
Заболела душа моя небом,
Растравила: «Я буду пилотом!»

Но, увы, не летаю, как птица,
Небеса разрезая тугие,
Я узнал, что такое граница...
А пилотами стали другие.

«Вот, папа, и все, — дочитал Боев последние строки. — О многом бы мне хотелось еще тебя расспросить, но писать больше некогда, будет время, продолжу, а пока спешу на тактику. До свидания, или, как всегда говорили у нас на границе, — до связи. Валерий».

К вечеру того же дня до заставы дозвонился старший лейтенант милиции Николай Трофимов. Пробиваясь издалека, через двойное или тройное соединение по гражданским линиям, голос его то пропадал, снижаясь до плавающих басовых нот, как бывает, когда пустишь пластинку не на тех оборотах, то возобновлялся

опять — так, будто Трофимов находился рядом, за стенкой.

С досадой Боев посетовал на неустойчивую связь, слабую слышимость, из-за которых он многое упустил в разговоре. Тем не менее удалось разобрать главное: с аэропортом договоренность есть. Оставалось лишь приехать и урегулировать вопрос на месте.

— Привет Гаю! — еще успел сказать бывший сержант, как линию тотчас разъединили.

Доставить же драгоценный груз на заставу из аэропорта, произвести замену купольного стекла и зеркала на вышедшей из строя апээмки было делом несложным и много времени не отняло.

7

— Заходите, товарищ майор! Прошу, Василий Иванович, присаживайтесь.

Начальник отряда невольно взглянул на часы: четверть двенадцатого. Время, которое он и назначил для беседы с майором Боевым.

— Вы точны, — счел нужным заметить Ковалев, чтобы как-то завязать разговор.

— Точность — вежливость королей... — мгновенно отреагировал Боев.

— И привилегия пограничников, — не без удовольствия добавил начальник отряда.

Боев прищурился, кашлянул в кулак.

— Так говорит мой сын.

— А так говорю я, — в тон Боеву ответил подполковник Ковалев, и оба они враз рассмеялись, по каким-то неуловимым признакам поняв, что смогут достичь по всем вопросам обоюдного согласия, что непременно поладят.

Боев исподволь наблюдал за Ковалевым. Он впервые видел его хотя и в служебном кабинете, но в неслужебной, полуофициальной обстановке, на которую почти без слов сумел намекнуть, легко настроить его Ковалев.

Признаться, Боев удивлялся разительной перемене, на глазах происшедшей с начальником отряда. Резковатый на людях, по первому впечатлению жесткий, сухой, как говорят, служака, теперь он выглядел не то чтобы по-домашнему (форма не позволяла увидеть его таким),

но и не тем, каким он представился Боеву в свой памятный, так неудачно сложившийся для Боева приезд на заставу.

И Ковалев тоже приглядывался к майору Боеву, о котором успел получить от разных людей отзывы как об одном из лучших офицеров части. Он был откровенно рад, что собственное его восприятие Боева во многом, если не во всем, совпадало с оценкой деловых и прочих качеств, данных ему офицерами штаба. Та же душевная приязнь прозвучала и в его вопросе:

— Ваш сын, я слышал, учится?

— Да. Он курсант пограничного училища.

— После окончания пойдет по стопам отца? Надеюсь, попросится в наш отряд?

Боев лишь слегка задержался с ответом. Но и этой паузы хватило, чтобы Ковалев понял: даже и в случае нужды Боев не станет ходатайствовать за сына, не такой он человек.

— Не думаю. У него свой путь. Хочет начать службу в горах, где родился.

Это все еще были «пристрелочные» фразы, совершенно не проявлявшие ни сути вызова Боева в отряд, ни характера предстоящего разговора с Ковалевым. Однако за внешней их праздностью угадывалось слабое, едва заметное напряжение, озабоченность.

Собственно, Боев почти наверняка знал, что явилось причиной вызова: просто иного повода, кроме досадной поломки машины, быть не могло. Но где-то глубоко в нем жила и надежда, что разговор пойдет по другому руслу, каким-нибудь чудом не коснется щекотливой темы. И на первых порах его надежды оправдались.

Ковалев выбрал из стопы газет на столе одну, с броским военным заголовком, с шуршанием развернул ее так, чтобы Боеву видна была вся полоса.

— Вы сегодняшние газеты просматривали?

— Не успел, — извинился Боев. — Почту заставка получает позже, я уже был в дороге.

— Это хорошо, — неизвестно чему обрадовался Ковалев и склонился к газете. — Вот здесь написано... Читаю: «Только несведущий, далекий от службы человек полагает, будто границу охраняют, крепко взявшись за руки и растянувшись цепочкой вдоль рубежа. Наивное это представление характерно и вполне оправданно, если речь идет о школьнике... Гораздо хуже, когда люди в погонах, должностные лица уподобляют-

ся школьникам: делают ставку единственно лишь на живую силу. Не наличие живой, даже очень многочисленной силы определяет сегодня несокрушимость границы, а наличие и грамотное использование специалистами современной техники. Крепость передовой линии обеспечивает также применение современных методов охраны государственного рубежа, творческого, а не формального подхода ко всему тому, чем живут ныне пограничные войска. Бесспорно, солдатам отводится исключительная роль. Но без технических средств бесполезны будут и их стойкость, и стремление к высочайшей бдительности, дисциплине, и характерный молодости энтузиазм...».

Подполковник Ковалев еще раз повторил явно поправившуюся ему фразу:

— «И характерный молодости энтузиазм...». Да, именно так. Ну вот, однако, дальше: «Сегодня в наших войсках немыслим тип человека, который тщательно приходит в реестрах поступающую технику, еще более тщательно, на долгий срок консервирует ее и, доложив по команде об имеющейся в наличии электроники, берется за... дедовскую лопату. Сама жизнь безжалостно удаляет с дороги тех, кто так или иначе препятствует техническому прогрессу в войсках. Так скальпель хирурга, облегчая страдания всего организма, удаляет с тела зловредную, совершенно бесполезную опухоль...»

Ковалев отложил газету. Минуту сидел в задумчивости, потом обратил взгляд на Боева.

— Хлестко, ничего не скажешь. И что называется, в духе требований момента.

За все время чтения Боев ни разу даже не пошевелился. Он и теперь не знал, как реагировать на последнее замечание Ковалева, с удивлением восторженно, когда начальник отряда его спросил:

— Не узнаете? Это же ваше интервью корреспонденту окружной пограничной газеты.

Боев припомнил: действительно примерно месяца три назад на заставе работал корреспондент, дотошно расспрашивал Боева о применении техники в охране границы, особенно интересовался его личным мнением, мотался с ним на восстановление разрушенных дождями инженерно-технических сооружений и на ПТН... Конечно, Боев давно уже забыл подробности своей беседы с корреспондентом, просто не придавал им тогда

значения, было недосуг, и потому теперь запоздало высказал свое недовольство:

— Очень уж красиво я изъясняюсь. Будто теоретик научно-технического прогресса...

— Но по сути? — не отступался Ковалев, бережно разглаживая газету, чтобы затем передать ее автору статьи. — По сути-то правильно?

— В общем, наверно... правильно. Это что касается самого вопроса...

— Значит, согласны? Я так и думал! — Ковалев удовлетворенно пристукнул ребром ладони по столу. — И вы знаете, Василий Иванович, мне нравится эта ваша убежденность, которая прослеживается в статье... Кстати, возьмите газету. Она с большим правом принадлежит вам.

Боев принял газету, свернул ее трубочкой, а дальше не знал, куда ее положить, так и держал зажатой в руке, будто бегун эстафетную палочку.

— Видите ли, — раздумчиво протянул Ковалев, — мне до сих пор не дает покоя наш с вами разговор на заставе. Помните, я упомянул об аэросанях? Все-таки есть на участке отряда немало мест, где можно и нужно применять если не аэросани, то хотя бы снегоходы. Например, вдоль залива. Да и тыловые дороги вполне пригодны... А чему вы, собственно, улыбаетесь? — внезапно спросил подполковник. — Я что-нибудь не так сказал?

— Да нет, все так, — поспешил заверить его Боев. — Просто я подумал, что обильный снег здесь — явление редкое, и техника будет только зря простаивать, ржаветь. А мест, конечно, найдется немало.

— Вон вы о чем! Эта проблема легко разрешима. В бесснежные зимы техника консервируется и стоит себе до востребования. Да, кстати, если уж мы говорим о технике, о передовых методах охраны границы... — Голос начальника отряда построжал. — Почему это вы, Василий Иванович, прибегли к такому странному, я бы даже сказал... подозрительному способу снабжения заставы? Я имею в виду всю эту историю со стеклом.

Боев вздохнул: вот тебе и повод, по которому он получил вызов к начальнику отряда! Все же не удалось избежать щекотливого разговора, как он надеялся вначале.

А Ковалев продолжал:

— Ну какая срочная надобность была обращаться в аэропорт? Сами понимаете, от такой самодеятельности у гражданских может создаться совершенно превратное впечатление о войсках, конкретно, об отряде.

— Значит, был вынужден, — ответил Боев со вздохом.

— Как это — «вынужден»? — сердито насупился Ковалев. — Что мы, нищие, просить помощи на стороне? Не способны обойтись собственными силами? Разве не проще было бы действовать через службу?

— Проще-то, проще, товарищ подполковник, — ответил Боев, невольно привставая со своего стула. — Да только...

— Что — «только»?

— Мне доводилось слышать хорошую восточную поговорку: «Дорога легче, когда на ней встретится добрый попутчик».

— Не понял! С кем это вам не по пути?

— Не с кем, а почему, — ничуть не смущаясь прямого взгляда подполковника, ответил начальник заставы.

— Странно... — Ковалев прокашлялся, отхлебнул из простого граненого стакана глоток холодного чая, еще раз повторил: — Весьма странно. Можно подумать, у нас своих запчастей не хватает!

— Наверное, хватает, — сдержанно согласился Боев. — Но майор Кулик объяснил мне, что сейчас, в данный момент, ни стекла, ни зеркала на складе нет. Я же не мог ждать.

Ковалев тут же нажал на клавишу селектора, отдал распоряжение дежурному офицеру отряда:

— Вызовите ко мне майора Кулика!

Тот явился на зов запыхавшийся — видимо, бежал издалека. Не дав Кулику как следует отдышаться, Ковалев задал ему вопрос:

— Доложите, что с купольным стеклом на складе?

Кулика передернуло. Метнув красноречивый взгляд на Боева, начальник автотракторной службы отряда ответил после небольшой заминки:

— Есть.

— Сколько? — напористо уточнил Ковалев, не оставляя Кулику времени для раздумий.

— В достаточном количестве.

Жесткая, уже знакомая Боеву складка рассекла смуглое лицо Ковалева пополам.

— В достаточном... — повторил вслед за Куликом Ковалев, будто пробуя чужое слово на вкус. — Тогда почему же, позволительно спросить, офицер, начальник заставы, вынужден действовать, как обыкновенный попрошайка? — вскипел Ковалев. — Почему, я вас спрашиваю.

Кулик пожал плечами:

— У меня он совета не спрашивал. Это его личное дело, добывать стекло на стороне или взять у нас. И вообще, с какой стати я должен оправдываться за чужую самодеятельность? У меня и своих забот...

В его невозмутимости было что-то оскорбительное, глубоко неприятное Ковалеву; откровенная наглость начальника автотракторной службы, граничившая с вызовом, обескураживала. Но внешне, формально предъявить к нему претензии было не за что: Кулик балансировал на опасной грани приличий, предусмотрительно не переступая черты. Поддаваться же предложенной Куликом игре, быть ее участником начальнику отряда не хотелось.

— На Боева не кивайте. Он ответит и за ненужную самодеятельность, и за напрасную инициативу. А вы отвечайте за себя: почему вовремя не обеспечили заставу?

— Майор Боев не обращался ко мне с таким вопросом. Мало ли, у кого и в чем нужда, какие личные просьбы! В памяти всего не удержишь. А ведь существует определенный порядок: и рапорт по команде, и заявка...

У Боева аж глаза полезли на лоб: как это не обращался? Вот это поворотик! Вот это кульбит! Как в хоккее: два ноль, и все в наши ворота...

— Что, вам обязательно нужна персональная просьба? — не выдержал Ковалев. — Или сами не видели, какое положение на заставе? В конце концов, это ваша обязанность — заниматься тем, что определено вашими функциональными обязанностями согласно занимаемой должности, и будьте любезны...

Чувствуя, как его «понесло», Ковалев с усилием остановился — именно в тот момент, когда Кулик вскинул голову, круто выгнул шею и ответил на этот раз дерзко, с вызовом:

— Я должность не выпрашивал. Можете... освободить. Боев уже давно рвется на мое место! — Сказал, вновь набычил голову, пахнул жарким воздухом, будто паровоз на лихом подъеме, и умолк.

«Вон в чем дело!» — изумился Боев.

Только сейчас он запоздало сообразил, понял со стыдом и недоумением, где крылась причина неприязни к нему Кулика и, признаться, немало этому удивился, потому что даже мысленно, не то что наяву, не примерялся к должности отрядного технаря.

— Потребуется, уж будьте уверены: я смогу обойтись и без вашего согласия, майор Кулик, — довольно спокойно, с иронией произнес начальник отряда. — Полномочия мне на то даны. А чтобы у вас на этот счет не оставалось сомнений, я вам приказываю: немедленно распорядитесь, и сегодня же, вы слышите, сегодня же, лично возвратите стекло в аэропорт. Об исполнении доложить. Все. Свободны.

Дверь за Куликом хлопнула так, будто он отгораживался ею не только от разгневанного Ковалева и побледневшего, тяжело посапывающего Боева, но и от всего мира.

— А вас, майор Боев, попрошу остаться. Мне хотелось бы обсудить с вами, Василий Иванович, еще несколько вопросов. Итак, на чем мы остановились?..

8

День переваливал на вторую половину, когда старший научный сотрудник АтлантНИРО Виктор Николаевич Садиков, щурясь на бледное зимнее солнце, вышел из института, беспокойно взглянул на часы. Минут пятнадцать назад он подтвердил по телефону, что готов выступить у солдат с лекцией, и теперь боялся опоздать.

Начальник политотдела отряда загодя прислал за Садиковым кремовую, начищенную до блеска «Волгу», дал в провожатые своего помощника по комсомольской работе, наказав ему везти ученого бережно, не лихача.

Садиков по-детски удивлялся открывавшейся ему новизне дороги, куда прежде въезд ему был заказан: пограничная зона. Ехали умеренно и вроде бы долго, но шофер-ювелир подгадал-таки точно к намеченному сроку, чем и сам был, похоже, доволен.

Уже на заставе, несмотря на уговоры офицеров, Садиков наотрез отказался от традиционной чашки чая, словно в извинение говоря, что солдаты, по-види-

мому, давно собрались, ждут и он не хотел бы злоупотреблять их личным и без того небогатым временем. За стеклами очков мягким, добродушным светом горели его глаза цвета спелой черной смородины.

Пограничники, и впрямь заранее собранные, уже сидели в ленинской комнате. При появлении гражданского человека в сопровождении начальника заставы, замполита и помощника начальника политотдела по комсомольской работе они мгновенно, как по команде, встали, замерли по стойке «смирно».

— Сидите, сидите, товарищи, — молитвенно воздев ладони кверху, попросил их Садиков, но, к удивлению ученого, его призыв остался без ответа; солдаты заняли свои места лишь после команды Боева. Начальник заставы при этом пробовал улыбкой объяснить Садикову, мол, таков порядок, а тот, не замечая попытки Боева, уже пристально вглядывался в лица слушателей, изумляясь в душе их буйной молодости и пронзительной похожести одного на другого.

Боев тоже ревниво и победоносно обозревал лица своих питомцев. Первый ряд, ближе к лектору, занимали Шарапов, Гвоздев, неразлучный с ним Паршиков и чем-то смущенный, порозовевший Апанасенко. Вытянув шею, Боев словно впервые разглядывал аудиторию, чтобы вовремя подметить в ней какой-нибудь изъян, не порядок или признаки беспокойства. Но и на задних рядах пустых мест не было, и в лицах ясно читался немалый интерес.

Садиков вначале все приноравливался к непривычной для себя обстановке, водил глазами по густо убранным цветными планшетами стенам и неизвестно чему улыбался. Наконец его представили, дали слово, и ученый поднялся, слегка смущаясь вынужденным возвышением над немо замершими слушателями.

— Мне, к сожалению, в свое время не довелось послужить в армии, не позволило здоровье, — начал он тихим приятным голосом. — Но я помню, как в детстве зачитывался рассказами о подвигах Карацупы, как манила меня граница и все, что на ней происходит. Однажды я даже привел в дом и начал, к великому неудовольствию мамы, дрессировать настоящую овчарку, которая со временем выросла и превратилась в чистопородную вислоухую дворнягу — увы, чрезвычайно ленивую и совершенно не способную ни к какому учению.

Солдаты отозвались на эти слова дружным смехом, а Садиков, переждав веселье, с грустью договорил:

— Естественно, тогда я еще не мог полагать, что мне, к великому сожалению, не суждено будет ощутить себя военным человеком... — Садиков вздохнул, поправил очки. — Но это, так сказать, к слову, лирическое отступление о прошлом. Теперь вот уже много лет я живу и работаю в приграничной области. Балтика, друзья, удивительный край! — воодушевленно воскликнул он. — Обратимся хотя бы к природе. Тут уживаются южный каштан и трепетная уральская рябина. Тут на равных, как братья, соседствуют краснолистный клен и махровый боярышник, нежная магнолия и пирамидальный дуб. А как великолепен весной тот же платан или дрезнее дерево гинкго!..

Увлечшись описанием, Садиков даже раскинул руки, словно бережно обнимал ими платан, но тут же, спохватившись, коротко улыбнулся.

— Конечно, я понимаю: сейчас у вас не так уж много свободного времени, чтобы любоваться красотами природы. Но когда-нибудь — пусть не скоро! — вы непременно возвратитесь сюда и как бы заново увидите, по какой восхитительной местности пролегали ваши... м-м, дозорные тропы.

Взгляд его упал на графин с водой, предусмотрительно выставленный для торжественного случая с краю стола. Вода в этом пузатом сосуде, подкрашенная скатертью, розовела, и Садиков, мимоходом дивясь ее неземному цвету, вновь увлеченно продолжал:

— Одних только озер, прудов, ручьев, рек и речушек вокруг столичного города нашего края — больше ста! А сам город можно смело назвать центром науки, машиностроения, морским центром края... Все это восстановлено, реставрировано, отстроено заново уже после войны. — Голос Садикова снизился. — Страшные следы разрушения оставили после себя гитлеровские варвары. Они предали огню не только творения человеческих рук, но безжалостно взорвали, уничтожили все, что служило человеку кровом, что давало ему пищу; захватчики не пощадили даже зверей из зоопарка. Страшно вспоминать, как эти бедные обезумевшие создания носились среди пожарищ и зывали о помощи, когда такой чад и зловоние стояли вокруг! Наш, советский, солдат спасал их, лечил от ран, когда рядом еще продолжались тяжелые бои... Поистине можно ска-

зять, что наш прекрасный край возродился, словно мифическая птица Феникс, из пепла, поднялся, чтобы снова строить, жить, созидать...

Садиков мягко, вроде бы застенчиво улыбнулся, полез в карман за платком. Однако рука его замерла на полпути, обмякла.

— Поверьте, говорить об этом нелегко, а думать — горько... Но иногда это необходимо — оглядываться на наше героическое прошлое, сверять с ним сегодняшний день. Извините, я человек не военный, но так, мне кажется, лучше видится то, что нашему народу довелось пережить, чего мы достигли за столь короткий срок...

Ученый перевел дух, выждал, когда уляжется реакция аудитории на его искренние, с болью слова. Поразившая его поначалу похожесть одного солдата на другого теперь буквально за считанные минуты сменилась узнаванием. Вот тот, слева, встречал Садикова у входной двери казармы. В глубине комнаты он различил, выделил из остальных лукаво-добродушный взгляд шофера, доставившего его на заставу. А прямо перед ним сидел слегка неловкий, смущенный пограничник, которого еще прежде начальник заставы окликнул по фамилии — Апанасенко... Привлеченный необычным румянцем Апанасенкова лица, разрисовавшим во всю ширь упрямые хохляцкие скулы, Садиков с этой минуты сосредоточил свой взгляд на нем, смотрел неотрывно, словно лекция предназначалась единственно для этого солдата.

— Да, я хорошо знаю, какое богатство доверила вам охранять Родина. Одно из таких богатств — море, океан, проблемами изучения которых и занимается наш Атлантический институт рыбного хозяйства и океанографии — АтлантНИРО, и Атлантическое отделение Всесоюзного института океанологии Академии наук СССР имени Ширшова. Уверен, — прежней добродушной улыбкой расцветилось его лицо, — мало кому из вас доводилось спускаться на батискафе в глубь океана. Я был там не раз и заверяю: это только сверху, под солнцем, да еще на школьных картах океан голубой...

На слове «голубой» в коридоре, прямо над дверью ленинской комнаты, резко зазуммерило. Пропущенный через мощные динамики сигнал, от которого у непосвященных в жилах стыла кровь, гудел и гудел, не пе-

реставая, сообщая тревожную вестъ, долетевшую сюда с границы.

В комнату не вбежал, а буквально ворвался дежурный; ничуть не церемонясь, не смущаясь присутствием гражданского человека, зычно крикнул с порога:

— Застава, в ружье! Тревога!

Еще не успел он докричать и повернуться к двери, как все пришло в движение. Каким-то чудом не сбивая друг друга в поднявшейся кутерьме, солдаты устремились на выход. Хлопали ножки стульев, грохотали по полу десятки пар ног, даже воздух — и тот, казалось, перемешался, вихрился теплыми клубами, будто от сквозняка.

Изумленно глядя на всю эту суету, на то, как быстро пустела просторная комната, Садиков растерянно моргал и не мог понять, что вокруг происходит. Новая, прежде неведомая жизнь вторгалась, словно яркий театральный эпизод, в оцепеневшее его естество, смущая своим напором и бешеной силой, устремленностью движения вперед.

— Извините, Виктор Николаевич, но лекцию придется прервать до следующего раза. Так некстати... — Боев нахмурил лоб, как бы сочувствуя ученому; однако Садиков видел: другие заботы одолевали сейчас этого немолодого усталого майора с темными разводами под глазами и красными прожилками на белках, — видел и потому, примиряясь с обстоятельствами, не по своей воле покоряясь им, лишь махнул: удрученно рукой — к немалому, как было заметно, облегчению Боева.

— Тревожная группа — на выезд! — перекрывая многие голоса и шум в коридоре, вновь прокричал высоким фальцетом дежурный.

— Заслон — строиться! — вторил ему налитой, будто осеннее яблоко, голос замполита Чеботарева — интеллигентного, очень предупредительного офицера, с которым Садиков успел коротко, до лекции, познакомиться, и не просто познакомиться, но и проникнуться к нему безграничным доверием.

— Первое отделение — готово!

— Второе отделение — готово! — опережая друг друга, посыпались доклады командиров отделений, внося тем самым упорядоченность во всеобщую беготню и неразбериху.

Боев успел сказать Садикову, что его проводит к машине и отвезет в город лейтенант, помощник начальни-

ка политотдела по комсомольской работе, а сам, тотчас отрешаясь от постороннего, рассеянно попрощался, торопливо уходя по коридору от Садикова — бочком, на выход.

Кажущиеся на первый взгляд беспорядочными суетливая беготня и неразбериха, сопровождаемые лязгом выхватываемого из пирамид оружия, царившие в коридоре и перед крыльцом казармы бестолковость и нервозность на самом деле имели свой, особый, отработанный частыми тренировками порядок, смысл которого был открыт и введом лишь специалистам границы... Боев как раз и принадлежал к тому числу специалистов, которые на слух, как опытные врачи, определяют беспорядок, отклонение от нормы. Он замечал малейшее нарушение слаженного ритма, малейшие задержки по времени, и губы его кривились от неудовлетворения, немедленного желания кое-что исправить, дополнить, поставить на свои места.

— Шарапов! — с недоброй хрипотцой окликнул он водителя. — Чего ждете? Машина должна стоять у крыльца уже давно, а вы разминаетесь. Скорее, Паршиков, некогда копаться. Поправьте оружие. Апанасенко, не задерживайтесь! Быстро на выход!

Дежурный сержант уже ввел его в курс дела, сообщив, что в семнадцать часов пятьдесят минут с центра участка заставы поступил сигнал о нарушении границы неподалеку от наблюдательной вышки. Парный наряд, следовавший дозором по левому флангу, вдоль линии границы, был немедленно сориентирован на сработку и, достигнув участка, обнаружил следы, ведущие в наш тыл. Наряд тщательно осмотрел повреждение в сигнализационной системе, произвел положенный осмотр прилегающей местности, а затем, вешками обозначив найденные следы, укрыв их от случайного повреждения, начал преследование.

Нетерпеливо дожидаясь окончания доклада дежурного, начальник заставы взглянул на часы. С момента подачи сигнала едва прошло две минуты, хотя, казалось, времени миновало гораздо больше.

Слепой сумрак подступил к заставе со всех сторон, и в этом зыбком дрожании света, готового превратиться в настоящий ночной мрак, таился злобный намек на неудачу. Однако люди мало обращали внимания на перерождение природы; их целиком захватило дело. Урча мощным мотором, подрагивал бортовой вездеход,

на который поистине с обезьяньей ловкостью садились солдаты заслона. Командовавший ими Чеботарев, в горячке не замечая сбившейся набок фуражки, отдавал последние распоряжения. Каким-то чудом он умудрялся держать под контролем и направлять все остальное, что происходило вокруг.

Из гаража, загородив полнеба округлым шишаком прожектора, доисторическим чудовищем выезжала на всеобщее обозрение апээмка, расчету которой Боев загодя приказал выдвинуться на рубеж прикрытия: зимой темнота наступала мгновенно, и без мощного, всепроникающего света прожекторного луча апээмки в предстоящем поиске было не обойтись.

Тревожная группа, которой отводилась в данном случае особая роль, была вся в сборе, каждый знал свое место, действовал без напоминаний. В темноте кузова, отражая свет лампочки, загадочно и хищно горели агатовые глаза Гая, нутром воспринимавшего общее волнение и азарт и оттого поскуливавшего тонко, с подвывом, как обиженное дитя.

— Вперед! — скомандовал замаявшемуся было Паршикову начальник заставы, и когда все определилось, встало наконец на свои места, упорядочилось так, как и должно, он со вздохом облегчения кивнул водителю: — Поехали, Шарапов!

Взвихря снежную пыль, веером разлетающуюся по обе стороны обочины, «газик» невесомо летел по недавно расчищенной, вроде бы утопавшей среди отвалов дороге к центру участка, где дозор зафиксировал нарушение границы и обнаружил следы в направлении нашего тыла.

Слева от Боева мелькнуло большое, просторное здание новой котельной, попеременно пронесли сначала восьмигранная солдатская курилка с засыпанными снегом деревянными лавками, сейчас ненужными, затем помаячил хилый рукотворный лесок, обещавший вскоре стать чащей, и уж после мелькнул серым бетоном нелепый в глубине участка заставы, считай, на самой границе, указатель дороги со стрелкой, повернутой на город.

Еще недавно разбавленная желтым электрическим светом вблизи казармы, колеблющаяся темнота подступила вплотную, и если бы не снег, белизной отторгавший от себя раннюю зимнюю мглу, да не добротнo расчищенная дорога, да не раскосые лучи фар машины,

то можно было бы затеряться в этом холодном пространстве и сбиться с пути, пропасть, как бесследно пропадают в тайге или унылой тундре... Но опытный Шаратов без подсказки знал, куда надо ехать, почти вслепую, на память крутил и крутил баранку, держа в узком дорожном коридоре снега возможно предельную скорость, на которую, было заметно, молча хмурился Боев.

Пока ехали, начальник заставы прикидывал наиболее рациональную расстановку сил. Мысленно, во всех деталях он «проигрывал» в воображении возможный ход поиска, заранее нащупывая в нем слабые места, куда, в случае непредвиденных обстоятельств, хлынет, будто в прорву, мутный поток ошибок и промахов.

За тыловые подступы к границе он был абсолютно спокоен: там в заслоне действовал грамотный офицер Чеботарев с приданным ему подвижным постом наблюдения, а уж за Чеботарева начальник заставы мог ручаться, как за самого себя: лейтенант, даром что избрал в училище политпрофиль, обладал неплохой технической сметкой, при надобности вполне мог заменить начальника заставы. К тому же не первый день работали вместе и хотя бы в силу этого обстоятельства научились понимать друг друга с полуслова.

Озабоченность Боева, как и прежде, вызывало прикрытие границы по рубежу, собственно поиск и преследование нарушителя — альфы и омеги всей службы пограничника. Как ни странно, меньше всего ему думалось сейчас о наиболее опасной стороне пограничного поиска — задержании нарушителя, возможный исход которого никто никогда не может предугадать или предвидеть заранее.

«Должно быть, Чеботарев уже на месте», — предполагал Боев в уверенности, что солдаты заслона вышли на означенный рубеж и, растворясь в окружающей их природе, как бы потерявшись в ней, залегли чуткими нарядами, готовыми в любой миг подняться из снежного мрака навстречу пришельцу и начать действовать.

Однако до самих решительных действий было еще далеко, и Боев вовсе перестал о них думать, целиком сосредоточась на текущем моменте, на той обстановке, которая складывалась в данное время.

— Запросите наряд: пусть доложат обстановку, — велел Боев радисту тревожной группы, и пока в эфире

ре шел обоюдный обмен условными данными, уточнялись специфические детали, Боев на мгновение закрыл глаза.

Из мимолетного этого оцепенения, дающего краткий отдых скованному напряжением телу, особенно глазам, его вывело неприятное сообщение от наряда, ведущего преследование нарушителя.

— След потерян! — доложил старший наряда в некотором замешательстве.

— Доложите подробней! — потребовал Боев.

По ходу доклада перед начальником заставы вырисовывалась такая картина. Сойдя с контрольной лыжни в месте обнаружения следов, наряд устремился в преследование, благо глубокие вмятины следов были видны отчетливо. Довольно широкие солдатские лыжи увязали в рыхлом нетронutom снегу, тонули в нем, мешая быстрому продвижению. Нарушитель же двигался на широких плетеных «снегоступах», заметно опережая пограничников, потому что даже не затвердевший как следует наст выдерживал его вес хорошо. Рифленные отпечатки «снегоступов» довели пограничников до опушки и тут внезапно пропали, словно прежде их не было вовсе. Мистика, и только!

Боев выяснил у наряда точное его местонахождение и, выбрав кратчайшую прямую, сокращавшую первоначальное расстояние чуть ли не второе, в нужном, по его расчетам, месте приказал тревожной группе высаживаться.

Двигаясь по целику, солдаты на одном дыхании преодолели первые десятки метров, словно летели по воздуху. Подсвеченный фонариком нетронутый снег посверкивал магниевыми вспышками, сухо шуршал под ногами, напоминая шелест камышей или травы, непрестанно колеблемой ветром.

Наряд встретил тревожную группу у края опушки, где обрезанной толстой ниткой выделялась в свете многих фонарей цепочка потерянного следа.

Боев разрешил наряду убыть к месту несения службы: они свое дело сделали, и потребность в них сейчас отпала. Сам осмотрел сосну, в которую утыкался последний отпечаток, осветил лучом раскидистую крону, вспыхнувшую на свету негорючим изумрудным огнем.

«Что за черт?» — удивленно спросил себя Боев, искренне недоумевая, куда же, в самом деле, мог деть-

ся нарушитель. Теперь ему стало понятно, почему столь растерянно докладывал старший наряда о происшедшем.

— Собаку на след! — больше по привычке, чем из надобности, приказал он инструктору, и пока Гай цепко втягивал в себя почти лишенный запахов зимний воздух, никто, соблюдая инструкцию, не тронулся с места.

Утопая в снегу почти по грудь, Гай через какое-то время уверенно ринулся вперед, отчетливо забирая вправо, к дороге, по которой только что, всего несколько минут назад промчался «газик» с тревожной группой.

— Немедленно вызывайте апээмку навстречу, — отдал Боев распоряжение радисту, сам слегка подрагивая всем телом от радостного предчувствия, что почти разгадал предложенную нарушителем головоломку и принял верное решение, наверняка гарантировавшее успех.

Не успевшая удалиться слишком далеко, едва занявшая тот рубеж, на который и указал прожекторному расчету лейтенант Чеботарев, машина тотчас сорвалась с места, взметывая укатанный снежный наст, завихляла тяжелым кузовом с аппаратурой по длинному, плавно изгибавшемуся дорожному «языку».

А поиск шел своим чередом. Старший тревожной группы младший сержант Гвоздев азартно лавировал между деревьями, едва поспевая за ушедшим вперед инструктором с собакой. Следом, двигаясь по пробитой тропе, спешили Апанасенко и Паршиков, оба дышали натужно, на весь лес, и плотно прижимали к себе автоматы, чтобы ненароком не цеплять ими за ветки.

— Быстрее, быстрее, — подгонял Боев, сам словно не ощущая ни усталости, от которой и у молодых, физически крепких солдат подкашивались ноги, ни своих лет.

Тревога все убыстряла и убыстряла темп преследования, доводя его почти до невозможного, когда от предельно быстрого бега становится нечем дышать и сердце, не выдерживая нагрузки, готово остановиться.

Шли по наиболее вероятному направлению движения нарушителя, и двигали ими не только уверенность в правильности избранного пути, но и сам горячий, бешеный темп погони... Да и Гай — барометр общего настроения, их опора и надежда в данный момент —

ни разу не сбился с ведомого ему одному пути, тянул ровно и ходко, будто хороший стайер на долгом и трудном маршруте.

Как бы в награду за предельное напряжение солдат, за их заметно убывающие силы следы вскоре возобновились. Начало они брали у подножия толстого кряжа, в бурной осыпи свежих хвойных игл, устилавших снег.

«Верхом шел, по деревьям! — изумился Боев. — Ловок, черт, ничего не скажешь! Хорошо придумал».

Однако и времени, прикидывал Боев, нарушитель потерял тоже много: не очень-то побегаешь, перебрасывая веревку с «кошкой» с дерева на дерево, с сучка на сучок.

Вдали, от заставы, наполняя лес все нараставшим гудением, таким чуждым и странным в тишине, на пограничников накатывался хорошо знакомый звук мотора тяжелой апээмки, ведомой Сапрыкиным; стремительное приближение машины тоже сулило близкую развязку, завершение поиска.

Дело теперь уже оставалось за малым — обнаружить и обезвредить нарушителя границы, зажав его со всех сторон и отрезав пути к отходу.

— Вот он, вижу! — первым воскликнул Гвоздев.

Младший сержант на бегу указывал Боеву и остальным куда-то в глубину непроницаемо-молочного сумрака, затопившего все вокруг, скравшего простроченную деревьями даль. Однако сколько ни вглядывались, никто ничего не видел.

Гай буквально душился на поводке, рвался из рук инструктора. Безусловно, он раньше пограничников уловил близкое присутствие чужака, запах которого он своим непостижимым чутьем мог распознать и среди десятка, даже сотни похожих и при этом не ошибиться.

— Стой! — вдруг приказал тревожной группе Боев.

Команда прозвучала в тот самый момент, когда увлеченных преследованием пограничников, казалось, ничто на свете не способно было удержать на месте. Но солдаты, отзываясь на знакомый голос, отдавший четкую команду, беспрекословно подчинились.

— Всем за деревья и без моей команды не выходить!

Солдаты не знали, даже не догадывались в те горячие мгновения, что всякое повидавший на своем веку

за долгую службу на границе начальник заставы сейчас хотел уберечь их, молодых, только-только начинающих жить, от глупой, случайной, шальной пули, ибо никто сейчас не мог наверняка сказать, вооружен нарушитель или нет.

— Расчету АПМ, — передал Боев через радиста, — дать луч! — И мгновение спустя, когда расчет изготовился к работе, добавил: — Осветить цель!

Пронзительно-слепящий белый луч прожектора ударил сквозь малые кусты и деревья, пал, будто огромный карающий меч, с неба, высветил нарушителя, одетого во все белое, вынудил его в замешательстве остановиться.

По доброй традиции, издавна укрепившейся на границе, Боев передал исключительное право тому, кто первым обнаружил врага:

— Младший сержант Гвоздев, производите задержание! Апанасенко прикрывает слева, Паршиков справа. Вперед!

Держа автомат наготове, Гвоздев сделал к нарушителю, облитому нестерпимым светом, первый шаг. Он шел и чувствовал, как справа от него скользил по снегу цепкий, ухватистый пограничник первого года службы Паршиков, как слева, не давая нарушителю возможности скрыться или применить оружие, двигался Апанасенко, и на душе Гвоздева в эти минуты было сурово и торжественно.

— Руки! — скомандовал Гвоздев прищельцу. — Оружие бросить. Три шага в сторону. Апанасенко, обыщите задержанного.

Но в ту самую минуту, когда Апанасенко готов был выполнить приказ, нарушитель мгновенным гигантским прыжком метнулся в сторону, пробежал десяток шагов, намереваясь выйти из губительной для него полосы света.

— Держать луч! — приказал Боев расчету АПМ.

Пока инструктор торопливо, ломая ногти, отстегивал карабин на ошейнике собаки, намереваясь пустить Гая в погоню, Апанасенко сам, не дожидаясь команды, бросился нарушителю наперерез. Он едва не плыл по глубокому снегу, но не отставал от нарушителя ни на шаг, и Боев с тревогой наблюдал за этим стремительным бегом: хватит ли у Апанасенко сил, не подведет ли в критический момент слабое здоровье солдата?

Гай уже пластал широким наметом по сугробам,

уже близок был к цели, когда Апанасенко в прыжке настиг нарушителя, сбил его с ног и крепко припечатал лицом в снег.

Боев облегченно вздохнул, вытер набежавший из-под шапки пот и посмотрел на часы. Сверкнувшие при свете луча стрелки показывали ровно восемнадцать ноль-ноль. Всего восемь минут прошло с момента объявления тревоги, которые и для него, и для подчиненных ему солдат показались растянутыми чуть ли не в вечность. Но ради этих восьми скоротечных минут стоило без усталости работать и бороться за право считать себя человеком, стоило жить в этом огромном и сложном мире, защищать свою Родину, как защищают мать.

— Луч погасить... — расслабленным голосом передал Боев радисту. — Всем — ко мне.

Солдаты с любопытством разглядывали нарушителя, его диковинный белый костюм на «молниях», мало что выражавшее лицо.

— Товарищ майор! — вдруг заволновался Гвоздев. — Товарищ майор! Это мотоциклист. Помните, осенью?

— Разберемся, Гвоздев. Теперь уже разберемся.

— Точно, это он, я его сразу узнал, как увидел. Я его лицо на всю жизнь запомнил, товарищ майор...

— По машинам! — раздалось в заснеженном лесу. — Давайте, Шарапов, на заставу. Людям пора отдыхать.

Уже в канцелярии Боев ненадолго закрыл глаза. Только сейчас он почувствовал, как устал за последние дни, как ему необходимо просто выспаться, отойти, хоть ненадолго, от всех заставских дел.

«Хорошо бы на день-другой съездить в город, побродить по новым кварталам. Вон как быстро строится, не уследишь... Или взять с собой Трофимова да махнуть куда-нибудь на рыбалку! А еще хорошо бы попасть в Музей янтаря, не был там уже тысячу лет, да...»

Он открыл глаза, позвал замполита:

— Чеботарев, а, Чеботарев! Как бы сейчас чайку? Нашего, пограничного, в деготь. А, не против? Ну, когда бы ты был против такого деликатеса? Чай — он нервы успокаивает, опять же глаза после чая видят лучше и вовсе не тянет курить. Дежурный! — позвал он. — Дежурный, говорю, куда вы запропалились?

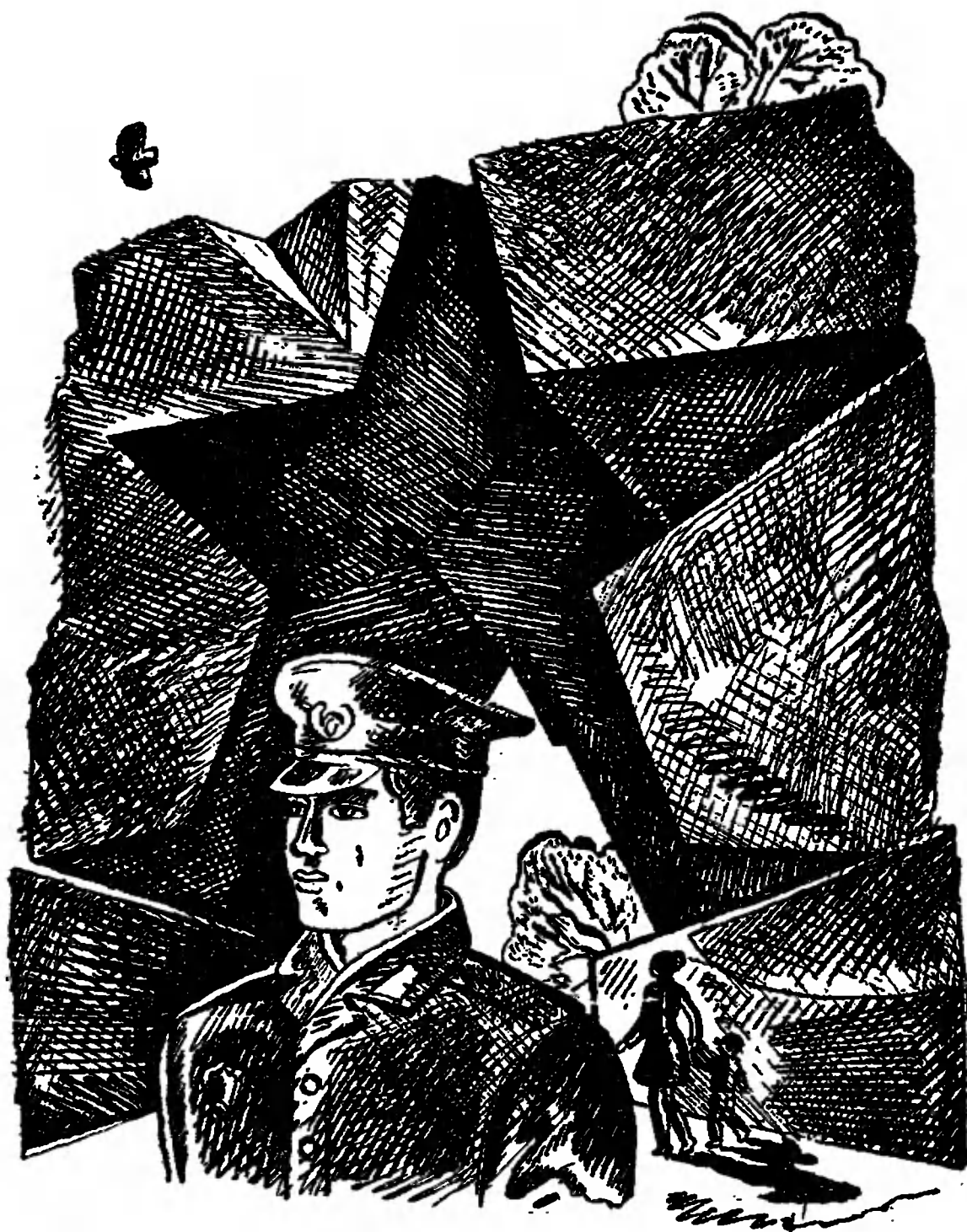
Принесите-ка нам с замполитом чаю... И масла бы неплохо, с черненьким хлебушком. Поняли, нет? Вот так. Самое время нам с тобой, Чеботарев, подкрепиться. Чувствую, еще тот будет с задержанным разговор. Ох, и не люблю я эту казуистику: допрашивай, сверяй, записывай, а он врет, врет, врет... Ладно, мы тоже не лыком шиты. Верно?

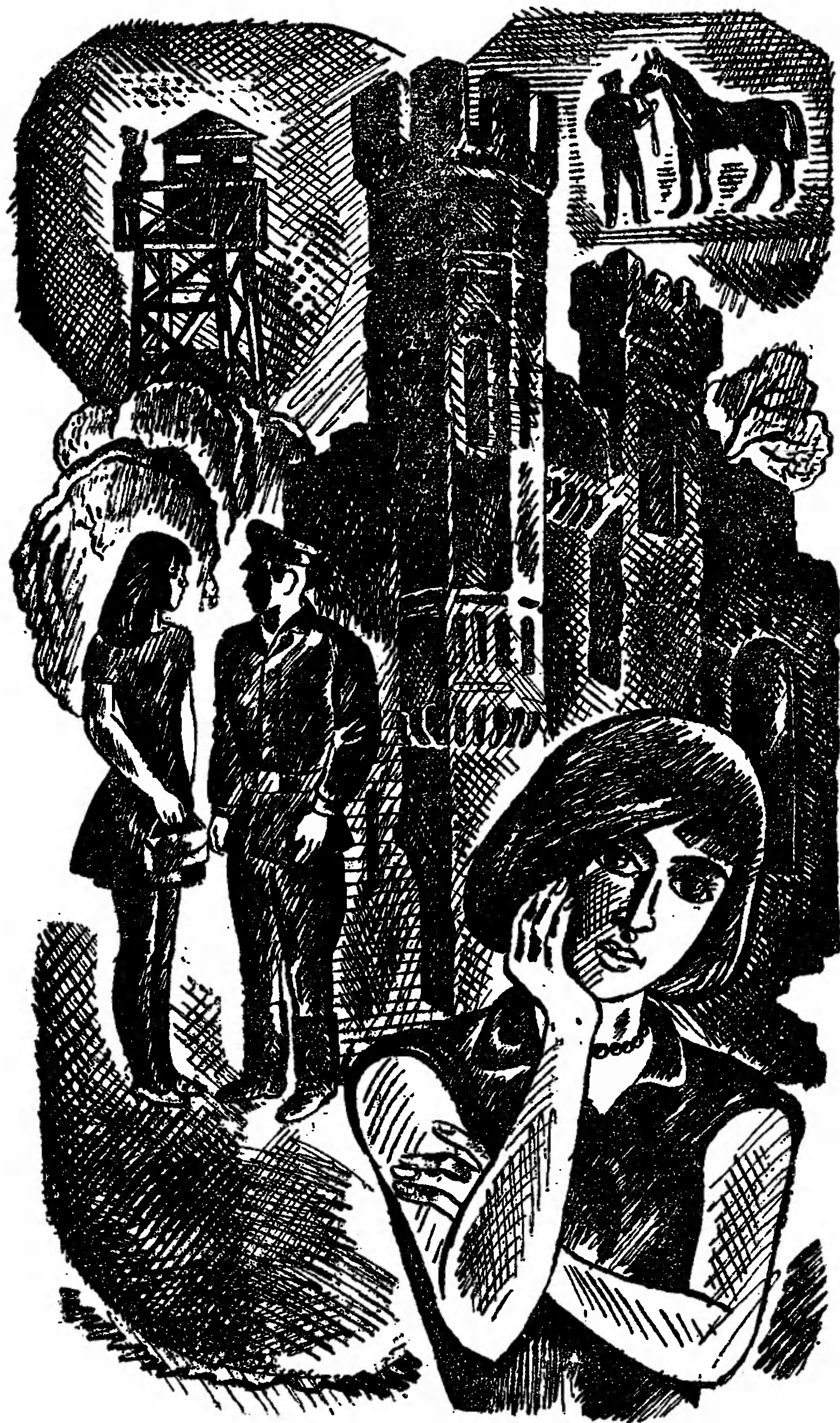
...Освободились они с Чеботаревым только к утру. Завидев сочившийся в окна слабый свет, Боев оторвал на подставке листок календаря, повертел его в руках.

— Ба, Чеботарев, ты гляди! Оказывается, сегодня была самая длинная ночь в году! Во время летит...

Сам подумал: «Скоро и Новый год. Надо бы заранее попросить лесничество, пусть привезут на заставу елку. Солдаты ее нарядят, наши жены испекут пирогов, глядишь, ребята попразднуют, вроде как дома побывают...»

РАССКАЗЫ





ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ

В радиолокаторщики Виктор Кутырев попал по иронии судьбы; точнее — по бездумной шутке «земели» — москвича сержанта Суромина. В тот роковой день после трехкилометрового кросса Кутырев, держась за ноющий бок, с кусочком сахара под языком, забрел отдышаться в радиотехнический класс. В уютной комнате терпко благоухала канифоль, таинственно отливали зеленью матовые экраны, и молодые пограничники, такие же, в общем-то, «пряники», как и он, Витька Кутырев, вместо того, чтобы носиться до боли в печени по распадам и сопкам, занимались тонким и изящным ремеслом: паяли разноцветные проводки в электронных блоках.

— Давай к нам! — подмигнул земляк. — Видал, какая техника? Надоест на границу смотреть — переключил на телевизионную волну, и, пожалуйста, — хочешь хоккей, хочешь фигурное катание!

Не то чтобы Кутырев не знал, чем телевизор от локатора отличается... Но ведь поверил! Радиотехника — дело темное: диапазон-кенатрон, тумблер, верньер, крутнул-щелкнул, глядишь, а на экране и в самом деле — «В мире животных» или «А ну-ка, девушки!».

Как бы там ни было, а Кутырев написал заявление, которое потом пришлось переделать в «рапорт», и через пару дней уже перекалывал на зеленые петлицы «жучки» — крылышки с молниями, эмблемы радиотехнической службы.

К сержанту Суромину рядовой Кутырев вернулся, как бумеранг, не попавший в цель. Правда, случилось это через полгода после того, как новоиспеченные операторы радиолокационных станций разъехались из отряда по заставам.

...Болотного цвета вертолет с каемчатой звездой на борту, рокоча и вороша тугим ветром кусты багульника, кружил над вершиной Камень-Фазана. Выискав «пятачок», он опустился и, расставшись с небесной легкостью, грузно осел на шасси.

Избушку ПТН — поста технического наблюдения — Кутырев заметил еще с воздуха при подлете к скале, а вот сержанта Суромина и его напарника — длинного усатого бойца — уже на земле. Оба, прикрываясь от воздушных струй, вжимались спинами в бревенчатую стенку. Не дожидаясь, когда замрут обвисшие лопасти, Кутырев выскочил из округлого вертолетного бока и бросился к сержанту. Обнялись на радостях. В этой глуши знакомого человека встретить — это брательника повидать. А тут — земляк, да еще какой — в Москве на одной заставе жили — Преображенской, и на Дальнем Востоке на одну умудрились попасть.

Потом перетаскивали из вертолета мешки с горохом и картошкой, ящики с тушенкой и сгущенкой, выкатывали бочки с соляром — запасались месяца на три, до следующей смены.

Летчик, отодвинув выпуклую стеклянную дверцу, помахал им из кабины, ветер от винта примял траву, вертолет привстал на шасси — стойки облегченно выпрямились, и машина прынула в небо с переливчатым рокотом.

Вот и все. Дремучая тишина сомкнулась над Камень-Фазаном.

Новое жилище Кутыреву понравилось. В тесной горенке на широких половицах стояли три железные кровати, застланные по-белому. Фонарь «летучая мышь» наводил на мысль о ночной непогоде и почему-то контрабандистах. На каменной печурке с треснувшей плитой клокотал бывалый чайник. Все являло суровую обитель мужчин, которую скрашивали отчасти банка с плавающим лотосом на подоконнике да портрет Софии Ротару, вырезанный из «Смены». Но главное место в домике занимал железный ящик на треноге с круглым экраном и винтовым стулом подле — индикатор радиолокационного обзора.

ПТН располагался на плоской вершине скалы, пригнувшейся у берега широкого пограничного залива так, что вся его акватория, кроме малого сектора, закрытого мысом Острожным, попадала в зону ночного электронного наблюдения. За мысом стояла застава,

причал скоростных катеров, которые по тревожному сигналу с Камень-Фазана срывались с места и, окрыленные белыми бурунами, неслись к обнаруженной цели. Правда, за всю историю приозерной заставы катера по боевой тревоге выходили дважды. Один раз, когда с того берега принесло большую деревянную бочку для засолки рыбы; и еще, когда ветер угнал с нашей стороны непривязанную лодку.

Смотреть в круглое оконце экрана поначалу было даже интересно. Вращается, как стрелка на циферблате, яркий лучик и «отбивает» призрачное очертание береговой линии, зубчатый профиль невидимого даже в бинокль мыса Острожного, вершины таких же далеких утесов. Все, что попадало под лучик развертки, вспыхивало ярким фосфорическим светом, а затем медленно меркло, пока раскаленная спица снова не задевала бледную, почти потухшую прорезь, и она проступала на экране в слепяще ярких контурах. Это походило в чем-то на работу человеческой памяти. Разве не так же меркли и тускнели бывшие впечатления, лица, города, книги, пока они снова не попадали в луч взгляда, не оживали в нем и сознании сиюминутным вспышечным светом? Москва, старинный дом с эркерами на Оленьем валу, высокая девушка в черном пальто, с небрежно заброшенным за плечи меховым капюшоном — Ленка, — едва лишь Кутырев оказался на Дальнем Востоке, забрезжили в памяти бесплотно и призрачно, но лишь до очередного письма и, конечно же, до будущей встречи.

Вглядываться в экран, на котором застыла одна и та же «картинка», ничего не происходило и не появлялось, осточертело на третьи сутки «боевого дежурства», как высокопарно называл сержант Суромин сутулое бдение по ночам возле железного куба станции. Всякий раз перед началом ночных вахт сержант выстраивал перед кроватными спинками «личный состав ПТН», то есть его, рядового Кутырева, и ефрейтора Небылицу, парня высоченного и молчаливого, как пограничная вышка, командовал: «Отделение, равняйся! Смирно!», а потом, уставившись невидящим взглядом в звездочку на кутыревской ушанке, чеканил нараспев: «Приказываю рядовому Кутыреву заступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!»

От сочетания своей фамилии с торжественным на-

званием страны у Кутырева перехватывало горло. В грозном слове «граница» слышалось и рычание розыскной овчарки, и лязг передернутого затвора. Но едва он садился на круглый фортепианный стул перед ящиком «дурмашины», как волнение тотчас же исчезало и суроминский пафос здесь, на забытом богом и «шпиёнами» участке, разыгранный перед куцом строем, который и строем-то не назовешь, так — встали рядышком коломенская верста да московский водохлеб, — казался нелёпой службистской выходкой. Ну что ему стоило сказать по-свойски: «Давай, Витя, на службу. Гляди там в оба!»

А в остальном Суромин парень ничего, и Кутырев, сам того не желая, пока Небылица торчал на вышке у бинокюляра, рассказал ему под белый «офицерский» чай — так у них назывался чай со сгущенкой — и про маму, и про сестру, студентку иняза, и про отца, а больше всего про Ленку, бывшую одноклассницу, которая училась на вечернем биофаке и работала в лаборатории особо опасных инфекций.

— Целоваться-то не страшно было? — простодушно удивлялся Суромин.

— А я через тряпочку! — фанфаронил Кутырев, боясь признаться, что ни разу не посмел коснуться Ленкиных губ.

Зимой по льду залива на Камень-Фазан примчали аэросани, привезли смену, а прежний расчет с ветерком доставили на заставу. Двухэтажное подворье с гаражом, баней, причалом, вышкой, вольером и вертолетной площадкой показалось им шумным городом; заставские новости ошеломили. За сопкой Кратерная взяли нарушителя, и трое бойцов одного с Кутыревым набора сверкали серебряными медалями на зелено-красных колодках. На дозорной тропе видели тигра. Овчарке Веге дикий кабан порвал ухо... В курилке Кутырев жадно слушал рассказы о вылетах тревожной группы на вертолетах, о том, как бранятся ломаными русскими словами солдаты с сопредельной территории, как горланят чужие репродукторы, выставленные на шестах по ту сторону пограничного ручья.

Каждый вечер под навесом у заставских ворот солдаты примыкали к автоматам тяжелые оранжевые магазины и, обвешанные всем необходимым для боя, ухо-

дили туда, где взрыхленная полоса окаймляла край страны и где бренчливая музыка из настырных репродукторов прикрывала глухие взрывы, раздававшиеся в котлованах каких-то странных строек за обратными скатами желтых сопок. А камень-фазанцы шелестели в радиоклассе простынями схем, вникали в устройство новых приборов, «прозванивали» блоки на регламентных работах, плавил олово и кадили канифолью. Так что Кутыреву казалось порой, что судьба, словно назойливо заботливая тетка, определила его не на заставу, а в телевизионное ателье — подальше от невзгод и опасностей. Кутырев клял тот день, когда его занесло в радиокласс, клял Суромина за его дурацкую шутку насчет хоккея по радару. Честно говоря, купился он тогда вовсе не на нее...

Краем глаза он прочел название учебного плаката, прикрытого широченной суроминской спиной, — «Лампа бегущей волны». Если бы сержант чуть подвинулся и Кутырев увидел скучную схему электровакуумного прибора, похожего на большой термометр, быть может, все повернулось бы иначе. Но тогда ему живо представилась Лена, которая стоит на берегу моря с лампой в руке, и бегущие волны раскатываются у ее ног в тонкие водяные листы... Позже, даже узнав электронный смысл процесса, происходящего в длинной стеклянной оболочке, Кутырев спрашивал Лену в письме: «Хочешь, я пришлю тебе лампу бегущей волны?» А что? Это звучало и поэтично и современно. Не то что «подари мне лунный камень» или «с неба звездочку достану».

Кутырев вообще любил загадочные и красивые названия. Однажды в каком-то журнале прочитал о странной болезни — «лихорадке скалистых гор». Так потом целый месяц, сидя за постылым экраном, представлял себе, как его сразил этот красивый недуг, и сержант Суромин вынужден был написать Лене письмо, в котором сообщил, что ваш-де знакомый Виктор Кутырев тяжело заболел лихорадкой скалистых гор и сейчас находится в гарнизонном госпитале. Далее развивалась грустная и сладостная история, как Лена отправляется по заданию лаборатории особо опасных инфекций на Дальний-предальний Восток, в затерянный приграничный городок, чтобы взять у больного бактериологические пробы крайне опасной и почти неизвестной науке болезни. Облачившись в спецкостюм, она бесстрашно

входит в изолятор, где мечется в бреду и одиночестве молодой пограничник...

О, знал бы Кутырев, как заболеть этой роскошной лихорадкой, он давно бы уже ее подхватил и скорее бы всего отказался от госпиталя, перемогал бы болезнь сам на отрезанном от всего мира Камень-Фазане, погибал бы, как чах от малярии в безвестной кавказской крепости разжалованный в рядовые Бестужев, а все-таки в положенный час поднимался бы с койки и дежурил у проклятого локатора, дрожа под наброшенной шинелью от озноба-трясуна.

...И только Суромин не унывал. Делал по три раза на дню силовую гимнастику со всевозможными эспандерами — ручными, ножными, кистевыми.

Весна в последний год кутыревской службы выдалась такая, что в солдатских подушках зашевелились петушиные перья. Весна на заставе — время тяжелых почтовых сум. Каждую субботу заставский почтальон, скособочившись, оттаскивал в командирский «газик» коробки с фильмами и портфель, туго набитый пухлыми конвертами.

Письма от Лены стали приходить все реже и реже и такими тонкими, будто худели к концу долгого и нелегкого пути через всю страну.

В самый разгар нежного и смутного месяца апреля тяжело груженный пограничный вертолет высадил на Камень-Фазане расчет сержанта Суромина и, забрав предыдущую смену, ушел, весело посверкивая винтом, на Большую землю.

Ничего тут не изменилось. Все так же простиралась заснеженная гладь залива, все так же угрюмо высились береговые утесы, все те же «местники» — местные предметы — отражались на экране с удручающей неизменностью. Снова Кутыреву стали сниться зеленые сны — в цвет мозолившей глаза «картинки»: зеленоватая Москва, зеленоватый, будто из бутылочного стекла, дом с эркерами, зеленоватая в потустороннем фосфорическом сиянии Лена...

Где-то гарцевали на конях всадники, приспустив ремешки с зеленых фуражек; где-то резали океанскую волну корабли под зелеными вымпелами; где-то неслись по следу тревожные группы, а здесь — под усыпляющее зуденье приборов осоловевшие от скуки опера-

торы следили до зеленых чертиков за ленивым вращением развертки, которая хоть бы раз за много лет кряду наткнулась на живую реальную цель. Да и то сказать, какой шпион или диверсант ринется в открытую по озеру, если оно просматривается и просвечивается вдоль, поперек и в мелкую клетку?! Чтобы заставить себя смотреть на экран, Кутырев каждый день придумывал новую игру. Так уверял он себя, что именно сегодня в районе озера возникнет уникальное возмущение палеомагнетизма Земли и на экране его станции появится на несколько секунд изображение затонувшего материка Лемурии, как это случалось с радиолокаторщиками одного американского эсминца, наблюдавшими, если верить популярному журналу, электронный призрак Атлантиды.

Однажды Кутырева осенила мысль, что его РЛС* запросто может засечь какой-нибудь неопознанный летающий объект, и три вахты подряд он всматривался в экран с таким вниманием, что сержант Суромин несколько раз заглядывал ему через плечо — уж не появилась ли в зоне обзора цель? Увы, НЛО**, почуяв к себе слишком пристальный интерес, облетали Камень-Фазан стороной.

Иногда Кутырев представлял себе, что перед ним не заурядный индикатор кругового обзора, а иллюминатор батискафа, и эти мерцающие туманности в его окружье не береговая линия, а рельеф глубочайшей впадины, над которой завис в океанской толще его подводный корабль. Но что-то слишком долго он висит на одном месте...

Скука зеленая! Только оператор какого-нибудь забытого богом и шпионами поста технического наблюдения мог придумать это выражение.

Тоскливее всего было зимой. Летом на озере появлялись рыбацкие мотоботы, и в журнал наблюдений можно было хоть что-то записать: дистанция, пеленг, курс... Зимой озеро превращалось в белое ровное поле, и в журнале со страницы на страницу кочевала набившая оскомину запись: «В зоне р/л наблюдения целей не обнаружено».

Зимой на Камень-Фазан обрушивались залетные с океана ветры, так, что труба по ночам была мерзко,

* РЛС — радиолокационная станция.

** НЛО — неопознанный летающий объект.

как пес по покойнику, дребезжали стекла, и вращающаяся антенна сбоивала, отмечая на экране особо сильные порывы белесыми мазками. И странно было наблюдать этот зримый ветер.

Зимой из избушки почти не выбирались, чтобы не унесло с пятачка двадцатиметроворостой скалы. Разве что спускались, держась за натянутый трос, к проруби по воду да выходили втащить очередную корягу на дрова, притороченную к скобам в стенах сруба. От этого вынужденного затворничества все трое так намотали друг другу глаза, что Кутырев знал веснушки на суроминской физиономии наперечет, как точки «местников» на экране радара. Вдруг обнаружилось, что Небылица по ночам издает носом басовитое жужжание, будто у него застряла там осенняя муха; а Кутырев узнал, к величайшему удивлению, что вот уже много недель подряд он несказанно раздражает Суромина своей привычкой колоть косточки из компота в дверном зажиме. Осколки скорлупы, мол, хрустят потом под сапогами, портится дверной косяк и вообще треск скорлупы действует на его нервную систему, как на иных визг ножа по стеклу.

А тут и вовсе вышла крупная ссора из-за пустяка. За вечерним чаем Кутырев посоветовал фразу «приказываю заступить на охрану» слегка приблизить к жизни — «приказываю засесть на охрану», так как они, мол, охраняют границу в основном мягким местом, натирая на нем боевые мозоли. Суромин вспылil, а Кутырев взорвался и выговорил наконец все, что накопилось: они-де никакие не пограничники, а самые настоящие дачники, которые всю дорогу попивают чаек с молочком, сидя у «тиливизера», что локатор, эту «пилораму человеческих душ», давно пора утопить в озере, и еще многое такое, после чего Суромин перешел с Кутыревым на «вы» и обращался к нему исключительно по сугубо служебным делам. Жизнь на ПТН стала и вовсе невыносимой. Попытки разговорить великого молчуна Небылицу ни к чему не привели.

— Антон! — окликал поутру Кутырев ефрейтора. На редкость нежная кожа Небылицы запечатлевала не только складки наволочки, но, казалось, и все перья, набитые в подушку.

— Ну?

— Ты про Рахметова слышал?

— Ну.

— Который гвозди ел.

— Ну.

— Ну, ну — галоши мну! — не выдерживал Кутырев. — Небылица ты и есть небылица. Расскажи кому, что такие живут, — не поверят.

Чтобы поменьше общаться со своими веселыми соседями, Кутырев попросился в самую трудную — предутреннюю смену, обратившись к Суромину по всем правилам Устава гарнизонной и караульной службы. Сержант согласился. Он и сам теперь предпочитал видеть своего «земелю» больше спящим, чем бодрствующим.

Зато Кутырев открыл вдруг еще одну поистине восхитительную сторону ночного одиночества. Поглядывая одним глазом на экран, другим можно было писать длиннющие письма Лене, не прикрывая ладонью и не вздрагивая при нечаянном приближении сослуживцев.

Однажды Суромин, листая журнал наблюдений, нашел мелко исписанный тетрадный листок:

«Здравствуй, Лена! Только что вернулись с обхода государственной границы. Ходил вместе с начальником заставы и верным своим Ингусом. Поразительно умный пес. Правда, в этот раз ему не повезло — сунулся в кусты, а там кабан, оттяпал ему пол-уха. Идет и скулит. Не залижешь — языком не достать. Хорошо у капитана зеленка оказалась — замазали, и стал он зеленоухим. Прямо-таки Бим зеленое ухо...»

Суромин огляделся: Небылица сидел за станцией, Кутырев рубил в сенцах корягу; перевернул листок и стал быстро-быстро писать на обороте. Письмо вложил в журнал на прежнее место.

За полночь устроившись поудобнее на вращающемся стуле, Кутырев раскрыл журнал, и тетрадный листок задрожал у него в пальцах.

«Здравствуйте, уважаемая Лена! — прыгали в глазах фиолетовые пружинки чужих строчек. — Пишет Вам непосредственный командир вашего знакомого Виктора Кутырева — сержант Суромин Дмитрий Федорович. Считаю своим долгом сообщить вам, что никакого Ингуса у Кутырева нет, а есть боевая электронная техника, к которой он относится весьма прохладно, позволяя себе писать во время дежурства личные письма».

Кутырев зарделся, вскочил и заметался по комнате, решая, сейчас ли стащить с Суромина одеяло и сказать

ему все, что он думает о людях, читающих чужие письма, или отложить разговор до утра, но тут случайный взгляд на экран заставил его сесть поближе и повернуть тумблер яркости. Точка. Крохотная точка величиной с крупинку возникла там, где ее никогда не было. Он даже поскреб стекло ногтем — не налипло ли чего? Нет. Белесое пятнышко оставалось. Помеха? Случайная засветка? Но развертка отбивает его уже в третий раз — уверенно и четко. Кутырев подвел к нему линию визира. Через минуту пятнышко из-под нее выползло. Сомнений не оставалось: цель! Малоразмерная. Двигается с той стороны!

Не сводя глаз с отметки, Кутырев просунул руку сквозь решетку кроватной спинки и потряс Суромина за теплую пятку.

— Дима... Встань! Похоже — цель!

Суромин приподнялся на локте, секунду соображая, кто и зачем его будит, потом спрыгнул и в одних трусах прошлепал к станции. Вскочил и Небылица. Все трое, состукнувшись слегка головами, заглядывали на экран, и лица их обливало зеленоватым вкрадчивым светом.

— Цель! — хриплым то ли со сна, то ли от волнения голосом подтвердил Суромин. — И совсем рядом... В нашу сторону.

Он оторвался от экрана, посмотрел на Кутырева и Небылицу так, будто видел их впервые, и выдохнул отчаянно резко, с той решимостью, с какой нажимают кнопки опасных механизмов.

— Отделение — в ружье!

Словно выпростали пружины, и в груди, опустевшей легко и враз, запело зло, тревожно и радостно. Кутырев кинулся к автоматам. Его — крайний слева. Сумка с магазинами — тяжелая и слегка промасленная.

Впрыгивая в брюки, вбивая ноги в сапоги, Суромин выкрикивал наказы Небылице, который одевался наперегонки с ним.

— Свяжешься с заставой... Будешь следить за нами и целью... И наводить по азимуту наших... Понял?!

Напялив куртку и шапку, Кутырев вприпрыжку бросился за сержантом. Забытая тяжесть автомата приятно оттягивала плечо. «Кажется, постреляем!» — мелькнула радостная мысль. В сенцах он трахнулся коленом о недорубленную корягу, но в следующую секунду холодный ветер приятно остудил ушиб.

Вниз скатывались почти кубарем — Кутырев про-

жег рукавицу о перильный трос. Выбежали на лед и разъехались с разгону в разные стороны. Суромин засек по наручному компасу направление и, оскользаясь на голом льду, побежал туда, куда, по его расчету, сместилась цель, слегка забирая в пустыню замерзшего озера.

— Держись правее! — крикнул сержант, и Кутырев, не теряя его из виду, резво взял вправо, дабы не составлять в паре соблазнительную групповую мишень. Автомат сползал с плеча, его пришлось взять в руку. Сердце колотилось бешено, но еще не от бега, а от одной лишь мысли, что там, в непроглядном жутковатом пространстве, поджидало их нечто или некто, готовое к самому страшному и жестокому.

Океанский ветер вымел лед с тщанием снегоуборщика. Тайфуны, родившись где-то там, за Японскими островами, и, вдоволь накуролесив в прибрежных морях, прилетали сюда, на озеро, умирать и умирали в порывах бессильных, но яростных, способных еще и сбить с ног, и перекрыть путь упругой стеной. Очень скоро Кутырев стал хватать ртом воздух. Снова, как на кроссах, больно закололо в боку, во рту появился кровянистый привкус, и Виктор сбился на неровный шаг...

Что там стряслось в темноте, он толком и не понял. Сначала ветер донес обрывок суроминского «Стой! Стреля...». Потом три выстрела рванули воздух, и тут же торопливо татакнул автомат. В рваном свете дульных вспышек Кутырев увидел все же, как метнулась к берегу стремительная тень, как, пригнувшись, бросился за ней Суромин, а затем упал и, распростершись на льду, выпустил в прибрежные скалы длинную очередь. Пули высекли из скалы рой красных светляков — точь-в-точь сыпанули с трамвайной дуги искры.

Кутырев припустил изо всех сил, словно боясь, что роскошный этот фейерверк закончится без него и он ничего не успеет и не увидит.

— Ложись! — совсем близко заорал Суромин. — Ложись, балда! Падай!

Кутырев плюхнулся на лед, загремев автоматом, и тут же, тяжело дыша, приподнял голову. Ночь безлунная, но светлая, позволяла разглядеть и огромные от близости косо разбросанные подошвы суроминских сапог, и черную гладь замерзшей воды, уходившую из-под распластанного сержанта к берегу, и снежную наметь

вдоль прибрежных камней, и гранитную стенку обрыва, под которой укрылся тот, кто стрелял первым. Бежать ему можно было лишь вправо или влево, прячась за камнями, но едва нарушитель вылез на снеговой фон, как Суромин предупредительной очередью вспорол перед ним сугроб. Все повторилось точно так же, когда нарушитель сунулся в другую сторону. И тогда он стал стрелять из-за груды валунов, как из хорошего дота.

Кутырев, силясь получше рассмотреть, кто там мечется в камнях, не заметил, куда переполз сержант. Он приподнялся повыше, и тут короткая злая сила рванула с головы ушанку. В уши ударил хлесткий раскат, гулко прянувший от гранитной стенки. Кутырев вжался в лед, пораженный не столько случившимся, сколько мыслью, что вот сейчас, сию минуту, в него стреляли, метили именно в его, кутыревскую, голову, чтобы раздробить кусочком металла его череп, прервать раз и навсегда его мысли, его дыхание, горячие толчки еще не унявшегося от бега сердца. Зачем? Что он сделал тому, кто только что так легко и чудовищно несправедливо чуть не лишил его жизни? Ведь это он тайком прокрался на его, кутыревскую, землю, а значит, это в его злой и неразумный мозг надо всадить, если уж на то пошло, девять граммов свинца в никелевой оболочке.

Вторая пуля пропела выше, и горячий от нее ветерок, показалось Виктору, ворохнул на затылке волосы. Голова без шапки сделалась вдруг беззащитной, будто с нее сняли непробиваемый шлем, и теперь, съезжившись, он ждал третьего выстрела, ощущая какой-то занывшей жилкой то место, куда вот-вот вопьется неминуемая пуля. Руки дернулись сами собой и загородили это место автоматом — стальной ствольной коробкой. Попадет, обязательно попадет... Его же, гада, на снайпера учили. В спецшколе...

Припомнилось отрядное стрельбище. Сколько хлопот было, чтобы не дай бог не повернулся кто-нибудь с заряженным оружием в тыл огневого рубежа. Командиры отделений и даже офицеры заглядывали после стрельбы в патронники и заставляли делать контрольные спуски, подняв пустые автоматы в небо под углом в сорок пять градусов. А тут целят тебе в темечко, словно в тире, и ты уже наполовину мертв от цепящего гипноза... Как в дурном сне. В ночных кошмарах надо вовремя вспомнить, что тебе это снится, вскрикнуть, шевельнуться... Кутырев рывком приткнул автомат к пле-

чу, скovyрнул предохранитель и, выставив ствол туда, откуда должна была прилететь последняя пуля, нажал на спуск... Он радостно поразился грохоту, который он натворил в этой стылой тишине, живому биению сработавшего механизма, алым всполохам в полуметре от глаза.

— Отползай! — прокричал откуда-то сбоку Суромин. — По вспышкам засечет!

И Кутырев резво засучил ногами, пополз, царапая лед бляхой ремня. Из-за валунов гахнул осторожный выстрел, но Кутырев его уже не боялся. Он замер метрах в десяти от Суromина, изготoвился к стрельбе — благо пули летели не в сторону границы, но палить наобум не хотелось.

Так пролежали они четверть часа, пока не заныли от стужи колени.

— Дима! — окликнул Кутырев сержанта. — Может, подползем и с разных сторон!..

— Он тебе подползет. Лежи! Скоро наши подвоят. Зря не молоти! Бей только на отсечку.

Тот, за камнями, притих, видимо, берег патроны. Его убежище грозило обернуться ловушкой. Конечно же, он не станет ждать, когда сюда подрулят аэросани. Но все-таки на что-то надеется. На что?

Кутырев глянул на чуть посветлевший край неба и с ужасом понял, чего ждет тот, простреливший ему шапку. Рассвета! Они станут видны ему даже в самых серых предутренних сумерках. Он перебьет их, как тюленей на льдине.

Виктор выпростал из-под рукава мамин подарок, «Полет», — три часа. Если Небылица связался с заставой, то аэросани примчат минут через сорок. А если не связался? Атмосферные помехи? Да мало ли что?

Лежать на льду становилось невмоготу. Ноги совсем задубели, и холод, словно вода, пропитывал слой за слоем нетолстые кутыревские одежки. Ветер выдувал из рукавов остатки тепла, студил непокрытую голову. Мокрые от бега волосы смерзлись в сосульки. Надо бы поискать шапку... Кутырев лишь оторвал подбородок от приклада, как грянул выстрел. По щеке секануло ледяным крошечком — пуля клюнула возле плеча. Страшно захотелось ощупать свежую лунку.

Дело осложнялось теперь тем, что любое сколь-нибудь заметное движение выдавало их.

Ждать. Не шевелиться и ждать, пока за спиной не заревут воздушные винты...

Где-то он читал про пленного красноармейца, которого фашисты поливали водой на морозе, и тот силой самовнушения заставил себя поверить, что он изнемогает от жары, и даже парок закурился над его телом. Вспомнить бы, как пеклись они с Ленкой на сухумской гальке. После выпускных экзаменов родители увезли ее к морю, а он, вместо того чтобы готовиться в институт, тайком увязался за ними. «Случайно» встретил ее на набережной, и оба, наравдававшись и наудивлявшись столь счастливому совпадению, отправились купаться. Раскаленные камешки пляжа испускали струистый жар, и чтобы прилечь, надо было поливать их водой.

Мама уверяла его в детстве, что человек, переспавший на сырой земле, на всю жизнь становится инвалидом, и запрещала садиться на траву без подстилки. Мама... Что-то она сейчас делает?.. В Москве сейчас вечер, вечер того самого дня, в котором камень-фазанцы безмятежно пребывали в жарко натопленном домике и предавались таким глупым раздорам. Вон лежит поодаль сержант Суромин, и нет теперь человека роднее и ближе его, потому что ни с кем другим Кутырев не делил еще такой страшной ночи, не лежал на ледяной плахе в ожидании прицельного по себе выстрела. И если им удастся выбраться отсюда живыми и невредимыми, то уж куда бы потом ни забросила их судьба, они все равно будут встречаться каждый год и вспоминать, как свистел ветер в высоких окольцованных автоматных мушках, как металась в камнях вражья тень, как предательски светлело небо.

А в Москве сейчас принаряженные горожане возносятся на эскалаторах к хлебам и зрелищам, спрашивают лишние билетки, ставят крестики в карточках спортлото, ничуть не подозревая, что из их шумных потоков исчезли два не самых плохих парня, и эти двое лежат на льду замерзшего озера, известного разве что географам, и сами постепенно превращаются в лед. И даже Ленка сидит, быть может, именно в эту самую минуту с каким-нибудь джинсовым хмырем и тянет через соломинку коктейль «Привет» или слушает с ним в пустой квартире «попсовую» музыку. Ведь не скажешь же ей на полном серьезе: «Только две весны, только две зимы ты в кино с другими не ходи».

Странное дело, Кутырев не испытывал никакой оби-

ды ни на Лену, ни на тех праздных людей, которые беспечно предавались сейчас радостям жизни. Будто в его душе вместе с остатками тепла в груди вымерзли зависть, ревность, жадность, вымерзли и высыпались острыми кристалликами, и из их льдышек он теперь запросто мог сложить то слово, какое задала Снежная Королева своему пленнику, — «ВЕЧНОСТЬ»...

Он не слышал гортанного рокота аэросаней, не слышал хлопка и шипения осветительной ракеты, коротких потресков автоматных очередей...

Очнулся Кутырев от спиртового ожога во рту и, ощутив на миг душный запах овчины, тряску скорой езды, рев могучих моторов, забылся глубоко и надолго. Еще раз он пришел в себя, похоже, в госпитале, потому что пахло лекарствами, в глазах проплывали своды белых потолков, белые притолоки дверей; слегка потряхивало, его везли на высокой тележке, чей-то женский голос спрашивал: «Что с ним?», а мужской отвечал: «Гипотермия»... Кутырев хотел поправить: «Лихорадка скалистых гор», но язык и губы не шевелились...

Их положили в пустую многоместную палату, где стояли кровати с двумя матрасами на провально мягких панцирных сетках и тумбочки по одной на человека. Но, несмотря на всю эту роскошь, сержант Суромин требовал, чтобы его отправили к ребятам на заставу, так как он совершенно здоров и не собирается пролеживать зазря лучшие дни жизни. Он успокоился только утром, когда сестра высыпала ему на постель целый ворох накопившихся писем. Кутырев спал. Суромин аккуратно отсортировал почту его и свою. Двенадцать писем пришло «земеле» от матери, семь от сестры и одно — невесомо тонкое, с недавним штемпелем — от Лены. Поразмыслив, Суромин вынул его из стопки и спрятал под свой тюфяк — до лучших времен. Он знал по себе, что такие вот долгожданные и почти пустые на ощупь конверты опаснее неразорвавшихся гранат...

Зазвенела сетка, Кутырев заворочался — открыл глаза.

— Привет, Кутырек!

— Привет.

— Ну, как там твой Ингус поживает?

Кутырев вздернул брови. Вспомнил. Засмеялся.

— Нормально! Нос холодный — пес здоров.

ИГОРЬ КОЗЛОВ

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

ДАЛЕКИЕ ВСПЛОХИ

1

С океанской стороны шла высокая, пенистая волна, и, спасаясь от ее могучей силы, липло почти к самому берегу рыболовецкое суденышко.

Оно изрядно надоело пограничникам островной заставы. Капитан Новиков в который раз поднялся на наблюдательную вышку.

— Признаков нарушения государственной границы не обнаружено, — с подчеркнутой солдатской лихостью доложил ему ефрейтор Мухин и, понимая интерес командира, уже доверительно добавил: — «Рыбачок» этот... все тут... бултыхается.

— Да-а-а... — медленно протянул начальник заставы так, что сразу и не поймешь: соглашается он или задает вопрос.

Новиков прильнул к окулярам оптического прибора. Резиновая бленда была теплой — видимо, Мухин только что оторвался от нее. Шхуна, окруженная перламутровым сиянием, проявилась в кружочке объектива четко, словно на переводной картинке. Судно стояло на якоре, волны бросали его, как поплавков, на палубе никого не было.

— Что? Так и не выходят? — спросил капитан.

— Изредка вылезают, — отозвался ефрейтор. — Посмотрят, понюхают... — Он немного помолчал, потом добавил: — Турнуть бы их отсюда!

Мухин был веселым парнем, на заставе его любили и солдаты и офицеры, поэтому иногда ефрейтор позволял себе говорить с командиром в таком тоне.

Но сейчас Новиков строго глянул на него и сухо произнес:

— Вы же знаете, иностранным судам разрешается в непогоду укрываться у наших островов.

— Знать-то знаю, а на нервы действует, — выдержав взгляд командира, в том же духе заявил ефрейтор.

На этот раз капитан усмехнулся.

— Продолжайте наблюдение. — Он кивнул и пошел к люку.

Ветер свистел, ударяясь о прутья вышки, прорывался в рукава и за воротник куртки. Вступив на землю, Новиков еще раз глянул в даль океана и по узкой тропинке, петляющей между острыми гранитными глыбами, неторопливо пошел к заставе. По дороге он все время думал об этой шхуне. Действительно, в ее поведении было что-то необычное, настораживающее. Хотя, с другой стороны, если посмотреть объективно: чего тут особенного? Налетел шторм, прижал судно к берегу. Куда же ему деваться?

С трудом открыв дверь, Новиков нырнул в парное тепло заставы. Тугая пружина, скрипнув, почти герметично закрыла помещение. Это «чудо техники» как-то привез с материка старшина. Сначала некоторые неповоротливые солдаты ворчали, получая от устройства солидный пинок в случае малейшей заминки на пороге. Но потом к нему привыкли и по достоинству оценили — ветер выл над островом почти круглый год.

Новиков прошел в канцелярию. Здесь за своим персональным столом, покрытым листом голубоватого плексигласа, сидел прапорщик Воропаев. Перед ним лежали толстые «амбарные книги», обернутые в яркие журнальные обложки. В них рачительный старшина вел учет хозяйству заставы. Каждый такой grossбух отражал соответствующее направление: продовольственное-фуражное, вещевое, банно-прачечное, горюче-смазочное и т. д.

Воропаев, прикусив кончик языка, аккуратно переносил сведения из «оперативной бумажки» — так он называл замусоленный листок, на котором были сделаны одному ему понятные записи, — в очередной официальный конduit. Увидев Новикова, старшина отложил ручку, с хрустом потянулся и лукаво спросил:

— Что-то ты все бегаешь, Михаил Петрович?

— Шхуна... — коротко ответил Новиков и подошел к висевшей на стене карте острова. — Какого черта она здесь на якорь стала? Шла бы в бухту, там спокойнее.

— Далась она тебе, — лениво отозвался Воропаев. — Ну стала и стала... Их дело. Вот придавит ее валом к скале — сразу поумнеют.

Новиков снова уставился на карту и задумчиво произнес:

— Может, у них двигатель сломался?

Старшина шумно отодвинул свое персональное кресло, подошел к начальнику заставы.

— Михаил Петрович, чего ты нервничаешь? На нашем острове, кроме заставы и маяка, никаких «стратегических» объектов нет. Шпионить здесь нечего. До материка отсюда никакой пловец не дойдет — утонет. Логично?

— Так-то оно так. Но душа не спокойна. Понимаешь?

— Понимаю... Сходи в баньку, попарься — все как рукой снимет.

Новиков почти осуждающе покачал головой.

— Тебе бы, Сергей Иванович, попом быть, а не старшиной.

— Нет, — поджав губы, ответил Воропаев. — На той службе поститься нужно. А потом уж больно у них форма одежды несуразная...

Новиков зашел домой, чтобы взять белье и полотенце. Жена и дочка, чистенькие, румяные, в одинаковых пестрых косыночках, сидели за столом и пили чай с вареньем из жимолости. (По сложившейся на границе традиции первыми в банный день моются женщины и дети.)

— С легким паром, лапушки, — ласково сказал Новиков.

Одна «лапушка» улыбнулась, а вторая, облизав ложку, залепетала:

— Папа, там дед Макалыч с маяка плишел. Сказал, чтобы ты толопился. А то ему одному скучно купаться.

Когда Новиков вошел в предбанник, дед Макарыч химичил над тазиком, замешивая особое сусло для пара. Было в нем несколько компонентов: и квас, и какие-то травы, и даже медицинские препараты. Пар Макарыч создавал действительно бесподобный — легкий, ароматный.

— Что смурной? — спросил дед, взбивая сусло деревянной ложкой.

Новиков сел на скамейку, стянул сапоги, расстегнул ворот тужурки.

— Макарыч, видел... шхуна у скалы кувыркается?

— Ну? — Дед пронзительно глянул на Новикова из-под косматых бровей.

— Как думаешь, чего она в бухту не идет? Там же спокойнее.

— Заметил, — довольно хмыкнул дед. — А я как раз хотел тебе эту вводную подбросить.

Макарыч отодвинул тазик, подтянул подштанники и тоже сел на скамейку.

— Пусть настоится, — кивнул он на свой «раствор». Потом почесал клочковатую бороду и заявил: — Расскажу одну байку... Мы этот остров в сорок пятом штурмом брали. Я в осветительных войсках служил.

— Были такие? — усмехнулся Новиков.

— Не шути, — обиделся дед. — От нас многое зависело. Туман курился жуткий. С одной стороны хорошо — корабли незаметно подошли к острову. Но для успешной высадки нужно было установить на берегу световые ориентиры. Сам знаешь, какое здесь дно. Вот первый катер и выбросил группу автоматчиков, корректировщиков с радиостанциями и нас с ацетиленовыми фонарями. Помню, бултыхнулся за борт, а глубина — метра два. Фонарь поднял над головой и топаю под водой. Воздух кончается, в ушах звенит. Так хочется оттолкнуться от грунта и всплыть. Нельзя!.. Подмочишь технику — и хана! Всю операцию сорвать можно. Выбрались, значит, на урез. Установили свои лампы, бойцы вокруг нас круговую оборону заняли. Как врубили полный свет — тут все и началось! Сначала корабли артиллерийской поддержки огонь открыли, потом десантные суда пошли. Японцы поначалу опешили. Не ожидали они, что мы из такого мрака навалимся. А потом ощерились.

Дед поднял заскорузлый палец, сделал многозначительную паузу и затем сказал:

— Брали несколько рубежей обороны. Весь остров подземными галереями изрыт. В прошлом году, между прочим, я у самого маяка ржавый люк обнаружил... Наши саперы их тогда взрывчаткой рвали. Только к исходу дня гарнизон подавили. Мы, конечно, всю ночь светили — боялись, что японцы с соседнего острова свой контрдесант бросят. А когда луна выкатилась, аккурат из-под той самой скалы, напротив которой сейчас шхуна торчит, выскочил торпедный катер. И ушел. Наша батарея даже огонь открыть не успела. Откуда

он взялся — не ясно! Ведь там сплошная гранитная стена.

Новиков помрачнел, на его щеках вспыхнули два маленьких красных пятнышка.

— Что же ты раньше об этом молчал? — резко спросил он.

— Ну, знаешь! У меня этих баек столько! Если все рассказывать, под завязку до самой выслуги лет слушать будешь.

— Все, дед, баня наша отменяется.

— Да ты что, Миша? Бальзам уже созрел. Давай окунемся, а потом уж командуй.

— Нет, собирайся. Покажешь этот люк.

— Язви тебя в душу! Рассказал на свою голову, — пробурчал Макарыч, но спорить не стал.

Макарыч шел впереди, раздвигая кустарник широкими движениями рук. Казалось, он плыл в море зеленых зарослей. За ним двигался небольшой отряд пограничников — в маскхалатах, касках, с полной боевой выкладкой.

Впереди маячил высокий красно-бурый обрыв. Подойдя к нему, Макарыч огляделся. В воздухе носились длинные цепкие паутинки, они задевали лицо, щекотали щеки и шею.

— Кажись, здесь, — сказал дед и оглушительно чихнул.

— Где? — нетерпеливо спросил Новиков.

Макарыч отогнул ветви кедрового стланика, и они увидели металлическую дверцу, наподобие тех, которыми на кораблях задраивают переборки.

Новиков подошел к люку, внимательно осмотрел. На краю дверцы была рычажная ручка. Капитан немного помедлил, потом надавил на нее. Ручка плавно опустилась вниз.

— Эхма! — удовлетворенно крикнул Макарыч. — Видал, как делают! Смазка — на века.

— Так... — глухо ответил начальник заставы и осторожно, не поворачиваясь, отошел от двери на три шага. Словно боялся, что из нее кто-то выскочит, а он не заметит этого. Наконец капитан оглянулся, смахнул со лба капли крупного серого пота.

Солдаты удивленно смотрели на своего командира:

они еще не понимали ситуацию, они еще не предвидели его решение.

Новиков исподлобья глянул на Макарыча, медленно спросил:

— Значит, говоришь, японцы вас не ожидали?

— Ясное дело, — отозвался дед.

— Значит, надо полагать, контактные мины установить не успели?

— Похоже, так, — после некоторого раздумья ответил Макарыч. — Не помню, чтобы кто-то подрывался.

— Тогда будем открывать, — твердо сказал капитан. — Сержант Самохин!

— Я! — невысокий коренастый пограничник сделал шаг вперед.

— Доставайте веревку.

Сержант развязал вещмешок, вынул моток тонкого пенькового каната.

Новиков решительно подошел к люку, привязал конец к ручке и, разматывая канат, протянул его за каменистый бугор.

— Всем сюда. Укрыться, — приказал он.

Пограничники и Макарыч залегли.

— Береженого бог бережет, — сказал капитан и резко дернул за веревку.

Было тихо. Новиков приподнял голову и увидел, что дверь открыта.

Прапорщик Воропаев остался на заставе за старшего. Сидеть в канцелярии было скучно, и он решил обойти «свои владения». Сначала Сергей Иванович заглянул в теплицу, работающую по его проекту от горячего источника. Здесь стоял особый, огородный дух. Радовали глаз алые помидоры, длинные голубоватые огурцы. Два солдата-первогодка в свободное от службы время с удовольствием копались в грядках. Заметив Воропаева, они засмутились, вытянули по швам испачканные землей руки.

— Вольно, — сказал Сергей Иванович, одобрительно кивнул и спросил: — Ну как? Нравится наше хозяйство?

— Так точно, — радостно ответил один из солдат, видимо, он был старшим в их маленькой бригаде. — У нас в колхозе тоже был парник, но ваш аккуратнее.

— То-то... В армии все должно быть аккуратнее.

Воропаев проверил показания приборов, дал распоряжения. Солдаты были смекалистые, понимали с полуслова, и Сергей Иванович еще раз убедился, что не ошибся, выбирая их из числа новобранцев.

Потом Воропаев пошел в баню. Как раз закончила мыться очередная смена. Солдаты растирали полотенцами розовые тела, ухали от удовольствия, оживленно переговаривались. Сергей Иванович усмехнулся, заметив у каждого из них на правом боку тонюсенький шрам. Это было нововведение медицинской службы — во избежание непредвиденных случаев на островные заставы преимущественно направлялся «контингент с вырезанным аппендиксом».

— Как пар? — поинтересовался Воропаев.

— Отличный, товарищ старшина!

В это время дверь в предбанник распахнулась — на пороге стоял дежурный.

— Товарищ прапорщик, сержант Самохин прибыл со срочным поручением от начальника заставы.

— Иду...

Придерживая на бедре элегантную флотскую кобуру с пистолетом, Воропаев побежал к заставе.

Самохин ждал его в канцелярии. По лицу сержанта Сергей Иванович понял: Новиков затеял что-то необычное.

— Докладывайте.

— Начальник заставы приказал скрытно доставить к маяку три катушки телефонного провода, запасные аккумуляторы к фонарям.

— Что там происходит?

— Мы обнаружили ход под скалу. Капитан Новиков решил его обследовать.

— А что, по рации нельзя связь держать?

Сержант замялся, потупился, потом пробормотал:

— Я тоже задал этот вопрос, а начальник заставы сказал, что у меня, наверно, по физике тройка была.

Воропаев хмыкнул, нажал кнопку селектора.

— А тебя зачем послали? — спросил он, отдав соответствующие указания. — Или у вас и на поверхности радиостанция не работает?

— Никак нет, — глядя в сторону, ответил сержант. — Начальник заставы приказал прекратить радиосвязь. Он считает, что на шхуне могут ее перехватывать.

«Ох, чудит Новиков, — раздраженно подумал Сер-

гей Иванович. — Засиделся на острове. Оперативного простора ему не хватает. Решил под землю залезть. Ладно, пусть резвится...»

2

Сначала они пробирались по узкому тоннелю, который полого уходил вниз. Пятна света от электрических фонарей скользили по влажным блестящим стенам. Пахло сыростью и гнилью.

Впереди шел капитан Новиков, за ним увязавшийся, несмотря на все уговоры, дед Макарыч, потом сержант Самохин. Замыкал цепочку связист Голованов. Он нес на плече телефонный аппарат и по ходу разматывал катушку с проводом — это, по мнению начальника заставы, обеспечивало не только связь, но и гарантировало обратный выход на поверхность.

Своды прохода были низкими, приходилось все время нагибаться. Новиков не торопился, внимательно осматривал пространство, лежащее перед ним, и, только убедившись, что ничего подозрительного нет, делал очередной шаг.

Неожиданно кружок света уперся в каменный излом. Начальник заставы пошарил лучом и увидел под ногами черную дыру, к краям которой прилипала металлическая лестница, штопором уходящая в недра земли.

Новиков нашарил под ногой камушек и бросил его в центр провала. Напрягая слух, он старался уловить звук падения. Камень летел вниз, изредка позвякивал, ударяясь о перила. Звон становился все слабее и слабее...

— Что скажешь, Макарыч?

— Надо спускаться, — хрипло ответил дед. — Я так полагаю, прямо под скалу попадем.

Ступени гулко гудели под сапогами. Сколько их было — кто знает? От долгого винтообразного спуска кружилась голова. Один раз они остановились — связист наращивал провод. И тогда в наступившей тишине впервые услышали странный рокот, похожий на глухое рычание.

— Елки-палки, откуда это? — сдавленно прошептал Самохин.

— Скоро выясним, — спокойно ответил Новиков. — Голованов, как у вас дела?

— Все в порядке, товарищ капитан.

И снова начался спуск, томительный до одури. Руки и ноги налились тяжестью. Кроме того, таинственный рокот становился все громче. Эта жуткая неизвестность сковывала движения.

Новиков уже втянулся в ритм ступенек, и когда он очередной раз опустил ступню и почувствовал под ней твердую почву, то сначала даже удивился, но потом понял: это дно колодца.

Начальник заставы дождался, когда спустится вся его команда, глянул на Макарыча. Дед выглядел молодцом — чувствовалась закалка каждодневных подъемов на маяк.

От подножия лестницы отходила вбок маленькая штольня. Когда пограничники прошли ее, то очутились в каком-то огромном темном зале. Новиков водил лучом фонаря в разные стороны, но нигде не было видно никаких признаков свода. Только завеса плотного мрака клубилась там, где кончалась сила света. Веяло влажной прохладой, чувствовалась близость воды.

Рокот звучал совсем рядом. Пограничники по гладкой каменной поверхности пошли на этот звук. Вскоре впереди действительно блеснула вода. Они вышли на небольшую площадку, выбитую в скале. Это было некое подобие пирса.

Новиков приказал направить лучи всех фонарей в одну сторону. И в этом усиленном потоке света он разглядел круглое озерцо, колыхающееся возле стены, из-под которой бурлила волна, вырывались пузырьки воздуха, сопровождавшиеся характерным ревом.

— Лихо, — сказал Макарыч. — Там подводный грот. Во время отлива он открывается, и в пещеру со стороны скалы может войти небольшое судно. Теперь понятно, откуда тот торпедный катер выскочил.

Время тянулось мучительно долго. Они сидели в крошечной темноте. Пульсирующий рык волны усыплял, а в промежутках тишины отчетливо, до звона в ушах, слышалось, как откуда-то сверху капает вода.

«Хуже нет, чем ждать и догонять», — вспомнил Новиков поговорку и неожиданно поразился: если вдуматься, то эта формула — «ждать и догонять» — отражает основную суть деятельности пограничника.

«Догонять» Новикову уже приходилось. Его тогда только назначили замполитом. А на соседней высоко-

горной заставе служил Лешка Шестоперов — однокурсник, весельчак и балагур, звезда художественной самодеятельности училища. Узнав о таком соседстве, Новиков был нескончаемо счастлив, но встретиться им с Шестоперовым не удалось.

Так уж устроена пограничная служба: никогда не знаешь, когда призовет она тебя, когда потребует отдать все, на что способен. Можно прослужить двадцать пять лет, честно выполняя свой долг, и ни разу не ощутить горячее дыхание погони, нервный озноб схватки, не услышать такой привычный и в то же время невероятный звук выстрела, зная, что стреляют в тебя...

А вот Лешке выпала иная доля, и весь его офицерский стаж составили два месяца и девять дней.

Нарушитель прорывался на стыке застав. В горах в ту ночь бушевала гроза. Сиреневые всполохи освещали скалистый гребень. А дождь лил сплошной стеной, словно кто-то там, в небе, зачерпнул ковшом из недалекого моря и теперь весь этот ковш выплеснул на участок границы.

Шестоперов на строевой машине вез наряд на рубеж прикрытия. А Новиков гнал лазутчика вверх, по ущелью. Между ними все время была стойкая радиосвязь. И только раз, на несколько минут, она прервалась. Но тогда Новиков еще не знал, что именно в эти минуты все произошло.

Потоки воды размыли дорогу. На крутом повороте машину занесло, и задние колеса повисли над пропастью. Машина медленно накренилась, ее неотвратимо тянуло вниз. Молоденький шофер растерялся, отбросил дверцу. Лешка крикнул, вытолкнул его, схватился за руль. Передние колеса имели свой привод, и это позволило ему еще немного удержать машину на краю. Двигатель истошно выл, протекторы изо всех сил цеплялись за уступ, а в это время солдаты, разрезав штыками брезентовый тент, выпрыгивали из кузова.

О чем думал Лешка в те мгновения, на стыке жизни и смерти? О чем думали его солдаты, стоя у черного провала, в который, кувыркаясь, полетела машина?

Шофера била истерика, он что-то бормотал. Сержант, рослый, сильный парень, подошел к нему, тряхнул за плечи.

Водитель всхлипнул и тихо прохрипел:

— Командир крикнул — на рубеж! На рубеж! Он крикнул...

И они побежали вверх, хватая губами реденький высокогорный воздух. Сержант включил радиостанцию.

Они бежали, и на их лицах, мокрых от пота и дождя, не было видно слез.

Они вышли на рубеж, они взяли его именно там. А Новиков отрезал ему путь от границы, захлопнул капкан, загнал его в ловушку. И когда он, задыхаясь, в изодранном маскхалате, выскочил на гребень и увидел у сапог сидящего на валуне сержанта человека со связанными руками, то в груди у него вспыхнуло радостное чувство. Новиков понял, что они с Лешкой выдержали первый экзамен.

Сержант не встал, не доложил обстановку. Он скользнул по лицу лейтенанта равнодушным, тусклым взглядом и продолжал курить сигарету, бережно прикрывая ее ладонью от дождя.

Сначала Новиков немного рассердился, но потом подумал, что он, наверное, чертовски устал, и поэтому, отдышавшись, спросил:

— Где лейтенант Шестоперов?

Сержант вскочил, посмотрел на поверженного нарушителя и вдруг с каким-то остервенением закричал:

— Из-за него!.. Из-за этой падали!

Лязгнул затвор автомата. Новиков едва успел схватить его за ствол, увидел совсем близко глаза сержанта. И по тому, какая была в них тоска, понял: произошло что-то страшное.

Мать попросила, чтобы Лешку привезли домой — в Москву. Тут его и схоронили — на Кунцевском кладбище.

Каждый раз, когда по делам службы Новикову приходилось бывать в Главном управлении, он обязательно выкраивал часок-другой и приходил сюда. Вместо памятника ребята из училища поставили на Лешкиной могиле пограничный столб. На фотографии Шестоперов улыбается. Не нашли такую карточку, чтобы был он на ней с постной физиономией. Даже в личном деле не нашли. Даже в него — в казенное личное дело — умудрился вложить он свою улыбку.

...Рядом, почти под самым ухом, захрустел сухарем Самохин. Новиков встрепенулся — весь рой воспоминаний сразу исчез. И хотя начальник заставы понимал, что этот звук не может выдать их «секрет», все равно не выдержал — дернул сержанта за рукав, и тот притих.

«Будем ждать, — усмехнулся Новиков. — Будем терпеливо ждать. А догонять его не придется. Возьмем его тепленького или мокренького. Пусть только пожалует. Пусть».

Начальник заставы по телефону приказал Воропаеву передать шифровку в штаб морской бригады. И теперь пограничный сторожевой корабль, несмотря на шторм, шел в указанный квадрат, чтобы перехватить шхуну, не дать ей уйти в нейтральные воды, если с нее высадится нарушитель.

Деда Макарыча Новиков отправил наверх: как обычно, в назначенный час он должен был зажечь маяк.

Начальник заставы не знал, какую тактику выберет нарушитель. Он может пойти на шлюпке, а может — под водой, и тогда ему незачем ждать отлива. Эта неопределенность больше всего раздражала Новикова.

Там, на остров и океан, неумолимо напознала ночь. Отлив делал свое дело: синий полумесяц арки грота стал светиться во мраке пещеры. Он становился все больше и больше. И наконец в центре его показалась округлая тень. Она тут же исчезла, но через мгновение на краю озерца вспыхнул тонкий клинок света. Новиков услышал, как шумно засопели рядом Самохин и Голованов. Они ждали его команды.

Луч света поплыл к пирсу. Раздался всплеск — из воды вылез человек. Он положил фонарик на камни, завожился, отстегивая акваланг.

И тут Новиков понял: нельзя задерживать. Ведь нарушитель зачем-то шел, что-то ему здесь, на острове, надо. А если они сейчас его возьмут, то, может быть, никогда не узнают истинную цель лазутчика. Он будет выдавать себя за кого угодно: искателя приключений, любителя-спелеолога, туриста.

Нарушитель снял акваланг, снова взял в руки фонарик. Ослепительное пятно света сделало полукруг. Лазутчик в нерешительности постоял несколько минут, потом, неуклюже переваливаясь, пошел прямо на пограничников.

Новиков уловил легкое прикосновение. Пальцы Самохина мелко тряслись. Сержант не понимал, почему начальник заставы не дает оговоренной команды. Новиков осторожно погладил Самохина по руке. Пальцы сержанта дрогнули и успокоились. Он понял.

Нарушитель медленно прошел мимо пограничников и скрылся в темноте.

— Товарищ капитан, — еле слышно прошептал Самохин, когда шаги лазутчика затихли в толще скалы. — Что же вы?

— Так надо. Задержим, когда он будет возвращаться, — ответил Новиков, а сам с волнением подумал: «А если не будет?»

Капитан приказал Голованову связаться с заставой. Воропаев сообщил, что шхуна стоит на месте. Это немного успокоило Новикова.

— Будем ждать, — сказал начальник заставы. — Догонять не будем. Сам явится.

Новиков глянул на светящийся циферблат. Прошло два с половиной часа. Он разрешил Самохину и Голованову немного поспать. И теперь слышал рядом с собой их ровное дыхание.

Сам он боялся даже задремать. Правда, иногда ему казалось, что впал в забытие. Густая темнота, окружавшая его, как-то влияла на психику: иногда он ловил себя на том, что не понимает — открыты у него глаза или закрыты. И тогда Новиков судорожно дергал рукав маскхалата и успокаивался только тогда, когда перед ним возникала маленькая окружность ярких точек, по которой игриво прыгала зеленая ниточка секундной стрелки.

Новиков решил, что пора будить ребят. Он стал тормозить их за плечи. Самохин проснулся легко, а Голованов неожиданно громко воскликнул:

— А! Что? Где я?

И тут же Новиков рывком закрыл ладонью ему рот, потому что увидел вдалеке мерцающее сияние — лазутчик возвращался.

— Тихо, Володя, тихо, — прошептал он связисту в самое ухо. — Мы в пещере. Помнишь? Нарушитель назад идет.

Начальник заставы почувствовал, как напрягшееся тело солдата обмякло в его руках.

Полоска света тем временем приближалась. Уже были слышны шаги нарушителя — медленные, тяжелые. Когда он поравнялся с нишей, в которой укрывались пограничники, Новиков вскочил и нажал на кнопку фонаря.

— Стой! Руки вверх!

В потоке разящего луча стояла сгорбленная фигур-

ка человека. От неожиданности и страха нарушитель съежился. На его спине, как рюкзак, висел плоский прямоугольный контейнер.

3

Лазутчика скрытно доставили на заставу. В канцелярии при нормальном освещении Новиков наконец рассмотрел его. Это был пожилой, лет шестидесяти, японец, с изможденным, нервным лицом. Он сидел на стуле, измотанный, опустошенный, и равнодушно глядел прямо перед собой, влажные седые волосы падали на высокий лоб.

— С какой целью вы высадились на советский остров? — спросил Новиков.

Он хотел, чтобы вопрос прозвучал решительно и строго. Но от долгого молчания голосовые связки сели, и начальник заставы сам не узнал своего голоса — сиплый, скрипучий.

Японец вскинул брови, залепетал по-своему.

Новиков и Воропаев переглянулись.

— Нет, — сказал прапорщик, — мы с ним все равно не разберемся. Пусть из штаба отряда прилетают отцы-командиры с переводчиком. Мы свою задачу выполнили.

— Что это? — Новиков указал на маленький металлический чемоданчик с наборным устройством вместо ключа. Было видно, что он закрывался герметично, вода в него не попадала.

Японец опять пролепетал какую-то фразу.

— Ладно, — обреченно махнул рукой начальник заставы и, обращаясь к Воропаеву, приказал: — Отведите его в комнату для приезжих. Охранять! Этот сундук — в погреб. Еще не известно, что в нем. Доложите на материк. Правда, при такой погоде они не скоро прилетят.

Новиков встал, его качнуло, понял, что до дома не дойдет. Он вышел в коридор и, придерживаясь за стену, пошел в спальное помещение. Солдаты сочувственно глядели на командира, расступались. Новиков заметил свободную койку и плашмя упал на нее. Провалившись в сон, он не почувствовал, как с него осторожно стянули сапоги и укрыли двумя одеялами.

Николая Кребса привели в комнату, в которой стояла широкая деревянная кровать. Солдат снял с нее

белое покрывало и жестом показал, что он может на нее лечь.

— Отдыхай, дед, — улыбнувшись, сказал солдат. — Тоже вон — желтый как лимон. Зачем таких старых посылают? Что у вас, молодых шпионов нет?

Кребс поймал себя на том, что с удовольствием слушает русскую речь. И еще он подумал, что этот балагуристый парнишка мог быть его внуком.

Солдат пристально глянул на Кребса, осуждающе покачал головой и вышел. В замочной скважине два раза повернулся ключ.

Кребс подошел к окну. Выл ветер. Над океаном клубились черные лохматые тучи. Пограничник с автоматом на плече, подняв капюшон теплой куртки, мерно ходил вдоль стены.

Там, в галереях, когда Кребс собирался в обратный путь, ему очень хотелось спать. Но он тогда, чтобы поддержать свои силы, наглотался возбуждающих таблеток, и теперь внутри все тряслось, дергалось, и казалось, даже волосы шевелятся.

Кребс подошел к зеркалу, висящему над раковиной умывальника. Из коричневой рамки на него глянула чужая косоглазая физиономия.

«Ничего нет своего, — горько подумал Кребс. — Ни родины, ни семьи... Теперь вот и лицо отняли».

Он вспомнил ехидную рожу Коки Асидо, когда тот увидел его в белой куртке официанта в маленьком гонконгском ресторанчике.

...Николай Кребс нес блюдо с омаром, а Коки стоял в проеме дверей и, наблюдая за ним, злорадно улыбался, скаля свои желтые, прокуренные зубы.

Кребс сразу узнал его, хотя они не виделись тридцать с лишним лет.

— Видишь, Коря-сан, я нашел тебя. Ты снова понадобился великой Нипон.

— Провалитесь вы со своей Нипон, — огрызнулся Кребс.

— Плохо отвечаешь. — Улыбка исчезла. Губы вытянулись в узенький розовый жгутик. — Ты забыл «Бусидо» — нравственный кодекс самурая.

— Это ваши законы. Меня они не касаются.

— Да? А когда-то ты считал за честь носить звание самурая. — Коки нетерпеливо топнул ножкой и тоном, не терпящим возражения, сказал: — Где твой хозяин?

Рассчитывайся. Через час отлетит на Хоккайдо наш самолет.

— Я не хочу никуда улетать.

Коки ощерился, сложил на животе свои маленькие пухлые ручки.

— Эх, Коря-сан, Коря-сан, — чувственно проворковал он. — А ведь когда-то мы были друзьями. И вместе распевали наш гимн: «Как вишня — царица среди цветов, так самурай — повелитель среди людей».

Кребс понял: они заставят его сделать то, что задумали.

— Оставьте меня в покое, — жалобно взмолился он. — Я старик. Мне недолго осталось жить.

Коки фамильярно похлопал его по плечу.

— Не прикидывайся, Коря-сан. Мы справлялись у твоего врача. Ты еще крепкий мужик. Лет двадцать протянешь. Если, конечно, внезапно не умрешь. И никто — слышишь, никто! — в этом вонючем городе не поинтересуется, почему ты покинул подлунный мир.

...Самолет приземлился в Немуро. Оттуда на мыс Носапу они ехали в колонне черных, похожих на броневики фургонов. Через установленные на них усилители коротко стриженные молодчики в полувоенной форме до хрипоты призывали прохожих вступать в борьбу за «новый порядок».

— Сегодня мы отмечаем «день северных территорий», — пояснил Коки. — Хочу, чтобы ты посмотрел, какие силы нас поддерживают, и понял, что игра стоит свеч.

Берег пролива украшали черные стяги и яркие оранжевые полотнища, на которых были изображены череп и кости. Машины подъехали к высокой коричневой арке. На ее сгибе зиял рваный излом, словно чья-то гигантская рука грубо разорвала бетонную подкову.

— Это символ, — благоговейно сказал Коки. — Так «северные территории» оторваны от родной Нипон.

Здесь, у арки, состоялся митинг.

И снова были яростные крики:

— Отменить послевоенную конституцию!

— Укреплять мощь армии и флота!

— Разогнать левые партии и профсоюзы!

— Расторгнуть дипломатические отношения с Советским Союзом!

— Сахалин и Курильские острова — японские территории!

И каждый раз, как когда-то в далекие времена, сотни раскаленных злобой глоток в один голос орали:

— Хай! Хай! Хай!

После митинга был шумный, хмельной банкет в баре, из окон которого виднелся в тумане ближайший к Хоккайдо русский островок.

— Вспоминаешь Тисима-Реттоо*? — многозначительно спросил Коки, кивнув головой в сторону пролива.

— Нет, — ответил Кребс. — Забыл, как страшный сон.

— А зря, — тихо сказал Коки. — Тебе придется туда вернуться...

Новиков с трудом осознал: кто-то трясет его за плечо.

— Товарищ капитан, товарищ капитан!.. — Голос доносился глухо, издалека, будто из-за стены.

Начальник заставы открыл тяжелые веки. Перед ним, смущаясь, переминаясь с ноги на ногу, стоял ефрейтор Мухин.

— Товарищ капитан, нарушитель к вам просится. Хочу, говорит, с офицером объясниться.

— Как? — не понял Новиков. — По-русски?

— Так точно... Сначала в дверь постучался. Я открыл... А он говорит: «Парень, позови офицера. Я ему все расскажу».

Новиков встал, пошел в умывальник, плеснул в лицо несколько горстей холодной воды.

«Значит, заговорил, — думал он, вытираясь шершавым вафельным полотенцем, — вот оно как получается».

В канцелярии сидел встревоженный Воропаев.

— Елки-палки, видать, серьезную птицу взяли, — виновато глядя начальнику в глаза, сказал он. — А я, по-честному, думал так — реваншист. Решил забраться на сопку и флаг свой установить. Были такие случаи...

— Мухин, ведите его сюда, — приказал Новиков и, пока ефрейтор топал по коридору, обращаясь к Воропаеву, спросил: — Ты связался со штабом отряда?

— Да. Сказали, как только будет погода — сразу прилетит вертолет.

* Тисима-Реттоо — японское название Курильских островов.

Мухин ввел нарушителя. Японец внимательно посмотрел на Новикова, видимо, понял, что его только что разбудили.

— Извините, я заставил вас потревожить, господин капитан, — вкрадчиво произнес он.

— Ничего... Служба... — Начальник заставы указал на стул. — Садитесь.

Японец сел, тяжело вздохнул.

Новиков достал из сейфа типовой бланк протокола задержания.

— Ваша фамилия? — спросил начальник заставы.

— Кребс Николай Петрович.

— Вы русский?

— Мои родители — обрусевшие немцы. — Нарушитель перехватил пронзительный взгляд офицера и тихо добавил: — Если вас удивляет мое лицо, то это — пластическая операция.

— Для чего?

— На случай, если до подхода к острову мы будем остановлены сторожевым кораблем и на борт высадится осмотровая группа. Я был внесен в судовую роль под японским именем.

— С какой целью вы проникли на советский остров?

— Я должен был взять карты, которые оставались в нашем бункере еще с 1945 года. Они там — в «боксе». Принесите, я открою.

Новиков кивнул Мухину. Ефрейтор понял и тут же скрылся за дверью.

— Кроме вас, кто-нибудь еще должен высадиться?

— Нет. Я один знал, где находятся эти документы. Я был на острове во время войны...

Мухин внес в канцелярию контейнер, положил его на стул. Нарушитель подошел к нему, повернул числовой набор — и металлический чемоданчик, звякнув, открылся.

В нем действительно лежала стопка пожелтевших от времени карт. Развернув одну из них, Новиков сразу понял, что это участок нашего восточного побережья. На карте стояли какие-то обозначения.

— Что означают эти знаки? — спросил начальник заставы.

Кребс сморщился, с шумом втянул в себя воздух.

— Это длинная история, — печально сказал он.

— Вот и рассказывайте по порядку. Нам спешить некуда.

— Хорошо... — Нарушитель шмыгнул носом и начал говорить тусклым, скучным голосом: — Я родился в 1923 году. В Харбине. В семье, как я уже сообщил, обрусевшего немца, офицера, дворянина. Мой отец ненавидел Советскую власть. После революции он сразу установил контакт с японской разведкой. По ее заданию он с группой единомышленников в апреле 1918 года совершил нападение на японскую контору «Исидо» во Владивостоке. Вы, наверно, знаете, что адмирал Като использовал этот инцидент для высадки десанта. Потом отец командовал карательным отрядом. Был ранен под Волочаевкой, бежал за границу... Здесь его прибрал к рукам генерал Доихара, который возглавлял центр японской разведки в Маньчжурии. Со временем и я попал в его школу. Правда, не оправдал надежды отца — был слишком чувствителен, видимо, в мать... В 1943 году меня направили в отряд № 731.

— Это который заразу разводил?! — не удержавшись, воскликнул Воропаев.

— Да, — подтвердил нарушитель. — Только я сначала сам не знал этого. Когда впервые увидел заключенных, на которых проводили эксперименты, меня тошнило двое суток. Командир отряда генерал-лейтенант медицинской службы Сиро Исия называл их «бревнами».

— Вы тоже принимали участие в преступных опытах?

— Нет-нет! Что вы? — пронзительно выкрикнул Кребс. — Мы занимались только сбором информации, предназначенной для ведения бактериологической войны. Выяснялись тактические объекты заражения бактериями: источники питьевой воды, реки, колодцы. Изучались системы ветров, течений... В начале 1944 года мне и еще одному молодому офицеру Коки Асидо было поручено создать филиал нашего отдела на Курилах. Мы исследовали дальневосточное побережье противника. Результаты работы — на этих картах. Ваши войска так стремительно атаковали остров, что мы, спасаясь, бросили все бумаги. Кто знал, что они кому-то понадобятся?

— Кому же они теперь нужны? — строго спросил Новиков.

— Точно не знаю. Но мне кажется, существует определенный интерес американской разведки. Сразу после капитуляции Японии я встретил в Токио Коки Асидо.

Он сообщил, что генерал Исия находится в руках американцев, они обращаются с ним весьма почтительно. «Не пропадай, — сказал мне тогда Асидо, — мы еще будем на коне». Но я не хотел больше иметь с ними ничего общего.

— И все же пришлось?

— Да! — Кребс впился пальцами в переносицу. — Поймите! Они заставили меня! Коки Асидо сейчас руководит какой-то неофашистской организацией. Это страшные люди! Они готовы на все! Я спасал свою жизнь.

— В этой ситуации вы могли явиться с повинной. А вы сделали все... — Новиков рубанул ладонью воздух, — все, чтобы доставить иностранной разведке сведения, наносящие ущерб безопасности нашего государства! Осознаете это?

Кребс затравленно посмотрел на капитана.

Тоненькая голубая жилка на его виске набухла, затрепетала.

Начальник заставы по узкой, отполированной дождями и солдатскими сапогами тропинке шел к наблюдательной вышке. Сизые облака тяжелым сплошным пластом легли на небо. Где-то там, за горизонтом, бесшумно полыхали молнии.

Новиков шел и думал о нарушителе — об этом странном человеке, с которым его столкнула судьба.

Под конец Кребс не выдержал. Сухое рыдание забулькало в горле.

— Будь проклят этот мир! — истерично крикнул он. — Разве я виноват, что родился среди отщепенцев, с детства внушавших мне свой образ мышления? Младенец, попавший в волчью стаю, никогда не станет человеком. Но разве он виноват?

Размазывая по колючим щекам потоки слез, Кребс еще что-то бормотал, всхлипывал. Но потом внезапно утих, словно у него кончился завод, голова безвольно упала на грудь.

Это был какой-то короткий обморок, после которого Кребс встрепенулся и уже нормальным, но ужасно уставшим голосом произнес:

— Простите, господин капитан, я смертельно хочу спать.

...Начальник заставы поднялся на смотровую площадку.

— Признаков нарушения государственной границы не обнаружено! — доложил молодой пограничник.

Шхуна, прикованная к якорю, по-прежнему качалась у скалы. Там еще не знали, что их акция провалилась. Кребс сказал, что согласно плану она будет ждать его двое суток. Если кончится шторм, синдо* должен имитировать поломку двигателя.

Новиков облокотился о перила. Неожиданно он вспомнил, как когда-то давно, еще в училище, их курс встречался с ветераном-пограничником. Старого боевого офицера кто-то спросил:

— Какие черты характера главные для офицера-пограничника?

Ветеран усмехнулся и сказал: 1

— Ну как обычно отвечают на этот вопрос? Сила воли, мужество... Правильно... Только я хотел бы выделить вот что — добросовестность.

Курсанты, переглядываясь, зашумели.

— Не вполне понятно? — Ветеран снова усмехнулся. — Сейчас поясню. Представьте, приходит на службу молодой офицер. Подавай ему сразу схватки с «матерым шпионом»! День идет, другой — ничего такого не происходит. И человек может сникнуть, расслабиться. Тут-то это самое — «долгожданное» — и нагрянет. Умение постоянно находиться в боевой готовности, годами поддерживать в себе чувство бдительности ради одной неожиданной секунды схватки — вот что главное для пограничника. — Ветеран немного помолчал и потом тихо добавил: — А для того, чтобы быть добросовестным в этом смысле, нужны и сила воли и мужество.

Новиков улыбнулся, посмотрел в сторону океана.

КОГДА ПОДРАСТЕТ СЫН

1

Участок границы, который охраняла застава, проходил по гребню высокой горы. Вся равнина видна с нее как на ладони. Наш склон — крутой, словно трамплин, а противоположный — длинный, пологий, и к вершине можно подъехать даже на машине. Используя это, «сопредельная сторона» — так пограничники называют со-

* Синдо — старший на рыболовецком судне.

седнее государство — почти на линии границы соорудила наблюдательную вышку. В ясные солнечные дни на этой вышке, кроме солдат пограничной охраны, появлялись разведчики. Они внимательно изучали наш участок в сильную оптическую трубу. Не знаю, для чего?.. Но, видимо, были свои соображения и планы: разведчики постоянно что-то отмечали на картах, фотографировали, делали записи в блокнотах. Одним словом — работа кипела!

Тогда, чтобы хоть как-то помешать их бурной деятельности, наше командование решило с помощью вертолета установить на горе свою наблюдательную вышку — прямо нос в нос: и обзор «любопытным соседям» будет несколько испорчен, и все-таки под постоянным присмотром, может, немного стесняться будут.

Подниматься на гору тяжело, особенно зимой, когда склоны покрываются льдом. А самое главное, служба здесь требует особой бдительности и выдержки: расстояние между вышками — метров двадцать, каждое произнесенное вслух слово сразу улавливают «наостренными ушами».

В то весеннее утро все было как обычно. Машина подвезла нас к подножию горы. Мы выпрыгнули из кузова, и я сразу заметил — на вершине блеснули стекла «телескопа»...

Когда впервые по узкой крутой тропе я поднимался к вышке, то где-то на полпути совсем выдохся, повалился на большой камень и пересохшими губами бормочу: «Не могу больше...»

Нас, новичков, вел тогда начальник заставы капитан Васильев. Он подошел ко мне, положил руку на плечо и спокойно так говорит: «Рядовой Сухов, поймите меня правильно... Я знаю, что вам трудно. Можно, конечно, постепенно привыкать. Но оттуда, с вершины, наблюдают за каждым вашим шагом... Что они подумают, если увидят, как вы вниз поползете? Отдохните немного, и пойдем...»

Капитан поднялся чуть выше — вся наша братия лежала пластом вдоль тропы, — стал что-то говорить другому солдату, у которого, наверно, самочувствие было не лучше. А ко мне, ловко прыгая по уступам, подлетел сержант Юра Попов — он шел впереди, а начальник заставы замыкал цепочку. Сержант был моим земляком, мы с ним успели познакомиться. Попов лег рядом, усмехнулся, шутливо ткнул меня кулаком в боки

задорно сказал: «Вставай, пограничник, не позорь державу!»

С тех пор перед каждым восхождением я невольно вспоминал его слова.

Сержант Попов и на этот раз был старшим наряда. Когда машина, развернувшись, уехала, он посмотрел на вершину, нарочито громко вздохнул, потом весело подмигнул нам и привычно дал команду:

— Заряжай!..

Голос у Попова — звонкий, озорной. Вроде произносит команды четко, строго, а получается — весело.

У подошвы горы, где дорога упиралась в склон, на специальной подставке укреплен обрубок чугунной трубы. Сначала к нему неторопливо подошел рядовой Федя Басаргин — третий из состава нашего наряда. Он деловито вставил в трубу ствол автомата, вытащил из подсумка магазин, лязгнул затвором.

— Оружие заряжено!

Федя — волжанин. Говорит на «о». Парень сильный, коренастый, а ходит немного вразвалочку, как медвежонок.

Попов кивнул мне. Я подошел к трубе и проделал ту же, знакомую каждому пограничнику, манипуляцию. Или лучше сказать — совершил ритуал: теперь мы были готовы в любой момент вступить в бой.

Началось восхождение. Тропа медленно плыла перед глазами. Лед кое-где подтаял, под подошвами сапог шуршала прошлогодняя листва, хрустел песок. Солнце здорово припекало, но мы были в ватных куртках и зимних шапках, потому что там, наверху, всегда бушевал ветер. Несколько раз по пути я хватал горсть синего ноздреватого снега и бросал его за шиворот. Приятный освежающий холодок полз по спине...

Наконец мы добрались до маленькой будочки. Она пряталась за бугром у самой вершины. Здесь на всякий случай хранился небольшой запас продовольствия, стояла самодельная печурка. Когда было особенно холодно, мы по одному спускались с вышки и заходили в будочку погреться.

Передохнув немного, мы не спеша, с достоинством вышли из-за бугра.

На вышке сопредельной стороны уже стояли три солдата. Увидев нас, они загалдели, послышался резкий, гортанный смех: их сюда привезли на машине, а с нас, пока мы поднялись, сошло семь потов.

Каждый раз повторялось одно и то же, и каждый раз такая «встреча» раздражала меня: «Как им не надоест?..»

Мы поднялись на смотровую площадку. Заняли обычные посты наблюдения. Солдаты сопредельной стороны, повесив автоматы на гвоздь, о чем-то болтали, показывали на нас руками. Потом они закурили и стали соревноваться, кто дальше плюнет в сторону границы.

Прошло несколько часов. Утренний туман рассеялся, видимость была отличная.

— Надо ждать гостей, — сказал Попов.

И он не ошибся. Вскоре послышался гул мотора. Услышав его, вояки сопредельной стороны похватили свои автоматы и приняли позы, означающие, по их мнению, бдительное несение службы.

По серпантину дороги к границе приближался легковой автомобиль. Скрипнули тормоза — из кабины вышел разведчик. Мы знали его в лицо и между собой звали «активный». Он хорошо говорил по-русски, всегда приветливо улыбался и давно пытался вступить с нами в контакт. Однажды принес три ондатровые шапки, стал предлагать:

— Берите! Чего боитесь?.. Застава далеко, никто не узнает. Дембель дадут — домой красивый поедешь!

Так хотелось послать гада кое-куда подальше! Но у границы свои законы — приходится молчать, спокойно выслушивать...

Другой раз «активный» появился на вышке с картонной коробкой. В ней оказался портативный магнитофон. Никелированные ручки ярко сверкали на солнце... Провокатор, оскалившись, шумно демонстрировал свою игрушку, затем нажал на клавишу — полилась ритмическая музыка, и на ее фоне мяукающий женский голос, захлебываясь от старания, понес антисоветчину. «Активный» прокрутил пленку, и началось обычное представление.

— На, возьми! — протягивал он магнитофон. — Таковую вещь нигде не достанешь! Никто не видит, никто не узнает...

Целый час старался провокатор, охрип на ветру. Наконец грязно выругался, кубарем скатился вниз, сел в машину, зло хлопнул дверцей... После того случая «активный» куда-то надолго исчез, и вот он снова появился на вершине.

— Ба! Старый знакомый! — усмехнувшись, тихо сказал Попов. — Что-то он затеял на этот раз?..

«Активный» молча поднялся на вышку. Вид у него был хмурый, озабоченный. Не глядя на нас, он приткнулся к окулярам оптической трубы, стал рассматривать фланги нашего участка. Потом достал из планшета карту. И тут случилось непредвиденное: дунул сильный порыв ветра, и карта буквально выпорхнула у него из рук. Подхваченная вихрем, она перелетела границу и прилипла к перилам нашей вышки, прямо рядом с Поповым. Я от неожиданности оцепенел. Глаза «активного» от ужаса стали квадратными. И только сержант — нужно отдать ему должное — действовал решительно и хладнокровно. Он каким-то быстрым, я бы даже сказал — элегантным движением снял карту с перил, ловко свернул ее несколько раз и спокойно положил за пазуху. Потом облокотился на перила и стал смотреть на сопредельную сторону так, будто ничего не произошло, и только краешком рта хрипло прошептал:

— Басаргин... доложи... на заставу...

Федя мгновенно слетел вниз и побежал к будочке, где у нас был телефон.

«Активный» пришел в себя.

— Попов, отдай карту! — яростно заорал он.

— Ты смотри, даже фамилию мою знает, — усмехнулся сержант. — Не зря свой хлеб жрет.

— Карту отдай! Отдай карту! Карту!.. — выл разведчик. И вдруг умолк, снял с руки часы, протянул их и заискивающе попросил: — Попов, это золотые... Верни карту, очень тебя прошу... С меня за нее живьем шкуру сдерут. А у меня семья, дети. Детей пожалей, сержант! Будь человеком! Зачем тебе эта карта?..

Я посмотрел на Попова. Он закусил нижнюю губу.

«Активный» немного помолчал, выжидая, что будет дальше. Попов стоял в той же позе.

— Ну, пеняй на себя! — зло крикнул «активный». — Не отдашь по-хорошему — силой возьмем! С трупа возьмем!

Он дал солдатам какую-то команду. Те испуганно переглянулись, потом нехотя передернули затворы, улеглись на доски смотровой площадки, направив на нас оружие.

— Минута тебе на размышление, Попов! — взвизгнул «активный». — Потом открываю огонь!

Сержант глянул на меня. Мы молча опустили флаж-

ки предохранителей автоматов и тут же услышали резкий свист. Это бы оговоренный сигнал: «спускайтесь вниз». Я посмотрел в сторону бугра — там у нас оборудован небольшой окоп, — Федя Басаргин, взяв на мушку «активного», был готов прикрыть нас.

— Медленно... спокойно... пошел! — приказал мне Попов.

— Юра, давай ты первым. У тебя карта, — забыв формальности службы, взволнованно прошептал я.

На какую-то секунду сержант задумался, потом кивнул и неторопливо пошел к лестнице.

Я не отрываясь смотрел на сопредельную сторону, готовый в любой момент дать ответную очередь. Сердце бешено стучало. Выл ветер. Гудели металлические перекладки под сапогами Попова.

«Активный» растерянно наблюдал за сержантом. Видимо, никак не мог принять роковое решение. Но вот он что-то приказал солдатам — те отрицательно качали головами, протестуя загалдели. «Активный» бросился на них с кулаками, выхватил пистолет... Что было дальше на их вышке, не знаю: раздался условный свист — и я камнем скатился вниз, рывком добежал до бугра и, как в воду, нырнул в окоп. Я весь был в испарине, тяжело дышал. Попов склонился надо мной. На его лбу тоже висели крупные капли.

— Порядок, Сережа... — невнятно пробормотал он.

Басаргин продолжал добросовестно вести наблюдение. Не оборачиваясь к нам, он сказал:

— Приказано мне с картой спуститься в долину... Вам оставаться здесь. Скоро прибудет тревожная группа...

Я занял место Басаргина. Как они передавали друг другу карту — не видел. Только услышал, Попов сказал Федору: «Оставь свой боекомплект...»

На сопредельной вышке теперь никого не было. Но вскоре ветер донес рев моторов — к линии границы выехали два грузовика с солдатами. По команде они развернулись в цепь.

Мы были готовы держать оборону.

— Стрелять только по моей команде. Прицельно. Одиночными, — приказал сержант.

И тут за нашими спинами раздался лязг и хрип: тревожная группа, на ходу изготавливая пулеметы, ввалилась в траншею. Ребята были в мыле... Потом они рассказывали, что никогда еще так быстро не забира-

лись на гору. «Карабкались, как обезьяны! — смеялся старшина. — Разворотили всю тропу!» Но это было позже... А тогда мы напряженно ждали, что произойдет.

Через несколько минут в небе затарахтели наши вертолеты. Это заметно придало нам бодрости.

На сопредельной стороне прозвучала команда. Солдаты быстро попрыгали в кузова грузовиков. Машины покатались прочь от границы.

Так закончился этот инцидент.

2

Приближался летний период службы, или, как говорят пограничники, — сезон чернотропа. Начальника заставы вызвали в штаб отряда. Он вернулся чем-то сильно озабоченный и вскоре собрал нас в классе тактической подготовки, где на специальном столе лежал рельефный макет участка: горы, лощины, ручьи, даже отдельные группы камней — все было видно на нем.

— Товарищи, я должен сообщить вам важные новости... — строго и необычно сурово начал капитан. — Удалось расшифровать ту злополучную карту, которую наш наряд доставил с границы...

В классе стояла напряженная тишина.

— Выяснилось, что сопредельная сторона хочет использовать наш район для заброски разведывательно-диверсионных групп. Обратите внимание на эти ущелья... — Капитан показал их на макете. — По ним протекают речушки, которые берут свое начало на гребне хребта, то есть у самой линии границы. Значит, двигаясь вдоль русла, лазутчики могут в темноте, не теряя ориентира, выйти в наш тыл... — Начальник заставы внимательно посмотрел на нас, нервно провел ладонью по широким скулам. — Нам приказано в ночное время выставлять секреты в ущельях — блокировать их. Конечно, нагрузка возрастет... Нам обещали помочь с людьми... Почти каждый из вас станет старшим пограничного наряда — вы лучше знаете участок. Я уверен, что мы справимся с этой задачей.

Через несколько дней на заставу действительно прибыло пополнение. В казарме пришлось потеснить койки, но все равно всем места не хватило. Тогда во дворе установили большую палатку, в нее по предложению старшины перебрались «любители свежего воздуха».

Месяц мы несли службу с повышенным напряжени-

ем. Все было тихо, спокойно... Днем, как обычно, наряды поднимались на вышку. «Активный» после того случая бесследно исчез. Но другие разведчики продолжали постоянно вести наблюдение. Правда, чего-либо настораживающего в их поведении не замечалось... Солдаты заставы успокоились, а некоторые даже посмеивались над нами: вот, дескать, навели шороху, «липовую» карту вам подсунули...

Прошел второй месяц... В августе по вечерам горы стали окутываться туманом. Как мягкий ледник, он медленно сползал в долину. Момент для нарушения границы был самый подходящий. Начальник заставы решил блокировать не только ущелья, но и лощины, по которым протекали небольшие ручьи. Одна из них досталась мне и молодому солдату Грише Семушкину.

Это случилось 8 августа в 3 часа 19 минут...

3

Ночь в горах похожа на живое существо — огромное, скользкое, неповоротливое. Оно все время тяжело вздыхает, ухает, ворочается — никак не может уснуть. Правда, пограничному наряду, несущему службу, это как раз на руку: невольно находишься в постоянном напряжении, чутко, до звона в ушах, вслушиваешься в шорохи и шумы.

Позицию мы занимали отличную: я лежал у дерева на краю лощины, а Семушкин — метрах в двадцати за мной, но уже внизу — прямо у ручья, среди больших валунов.

План у нас был такой. Если я замечаю нарушителя, идущего по дну лощины, — даю условный сигнал. Затем пропускаю его так, чтобы он оказался между мной и Семушкиным. Потом, окликнув нарушителя, иду на задержание, а Семушкин прикрывает мои действия.

Как же все это произошло?.. Сейчас мне трудно восстановить в памяти детали и подробности... Отчетливо я помню только начало боя... До того момента, как вскрикнул раненый Семушкин... Правда, тогда я подумал, что его убили. А крик, который он издал, был скорее похож на всхлип — такой жалобный, детский...

Они появились внезапно. Выплыли из тумана и шли тихо, как призраки, мерно покачиваясь в одном ритме. Было в этом видении что-то нереальное, фантастиче-

ское... Но во рту у меня сразу пересохло, и зубы застучали: инстинкты действуют быстрее, чем сознание.

Их было двое...

«Вот, значит, какой расклад...» Я точно помню, что именно эта нелепая мысль промелькнула у меня в голове, и дрожь сразу исчезла. Я дернул бечевку — другой ее конец был у Семушкина — и через несколько секунд уловил ответный рывок — Гриша меня понял.

Призраки приближались. Они двигались прямо к валунам, за которыми укрывался Семушкин. И вдруг случилось непоправимое. Видимо, Гриша хотел поменять позицию: он приподнялся, камень хрустнул под его сапогом — и тут же раздался странный, чавкающий хлопок: «Чох...» И я услышал, как Семушкин всхлипнул, жалобно, как ребенок.

Потом я понял, что они стреляли на звук. Потом... Но тогда от этого всхлипа во мне что-то оборвалось. Я вскочил и хриплым, страшным голосом закричал:

— Стой! Руки вверх!

И сразу же снова раздалось: «Чох... Чох...» (Как будто в резиновых сапогах по болоту идут.) От дерева, за которым я укрывался, отскочила щепка и больно впилась мне в щеку. Теперь-то я смекнул, что означает этот «чих...». Так звучит выстрел карабина бесшумного боя.

Они были внизу, а я — наверху. Укрыться им было трудно. Вот оно — упражнение «ночные стрельбы»... Одного я уложил сразу: он вскинул руки и плюхнулся прямо в ручей. Второго решил брать живьем.

— Бросай оружие! — приказал я. (Мой голос эхом отозвался в лощине.)

«Призрак», видимо, понял, что он у меня на мушке. Лазутчик, немного помедлив, кинул свое «устройство» — металл лязгнул о камни, поднял вверх руки.

Но стоило мне выйти из-за дерева, как он каким-то кульбитом прыгнул в сторону и тут уж грянул настоящий выстрел.

Я почувствовал удар в плечо. Он опрокинул меня на землю.

«Призрак» метнулся вверх по лощине, в сторону границы. Я судорожно подтянул одной рукой автомат, уперся им в корень и дал очередь: пули хлестанули прямо перед его носом.

Нарушитель рухнул как подкошенный. Затаился... Он ждал, когда я снова встану, чтобы осмотреть свой

трофеей. Но я, во-первых, специально бил впереди него и, стало быть, точно знал, что он невредим, а во-вторых, при всем желании не смог бы встать. Что-то липкое, теплое текло по плечу. Левая рука не слушалась меня. Леденящая боль ползла по телу.

Схватив разгоряченным ртом несколько глотков воздуха, я крикнул:

— Лежать! Пошевелишься — убью...

Для верности я прицелился в камень, торчавший рядом с его головой, и нажал на спусковой крючок. Ударил автомат. Нарушитель дернулся, съежился...

Потом стало тихо. Кричать уже не было сил. В глазах у меня помутилось. «Неужели потеряю сознание?» — мелькнула отчаянная мысль. И сразу туман рассеялся: нарушитель лежал в той же позе... лощина... ручей...

«Вот... Надо о чем-то думать... Если почувствую, что конец, я его, гада, прищучу. Не уйдет...»

Боль в плече начала дергать, а в голове что-то затиало, будто включили взрывное устройство.

Нарушитель встрепенулся. Он, наверно, дсгадался, что его противник ранен.

— Лежать... — прохрипел я и, стиснув зубы, нажал на спусковой крючок. Одиночный выстрел зловеще, как кнут, хлестанул по воздуху.

«Пусть знает, что я живой... В случае чего, я его уложу... На это у меня сил хватит...»

Неожиданно совсем рядом бухнула ракета — зеленый шарик, шипя, разбрасывая горячие искры, впился в небо, осветив все вокруг жутким мерцанием.

«Семушкин!.. Жив, родной... Семушкин...»

Прошло несколько минут. И снова теперь уже красная ракета взлетела вверх.

Я представил себе: раненый Гриша, лежа на спине, слабеющими пальцами выковыривает из ячейки гильзу, чтобы дать сигнал, и уже мчится к нам на помощь тревожная группа, и выдвигаются соседние наряды...

Теперь я точно знал, что дождусь.

Сознание как бы раздвоилось: одна половина, не отрываясь, следила за нарушителем, а вторая — воспринимала все то, что происходило во мне. А там жила и нарастала боль, полыхал жар и одновременно трепетал озноб.

Гул мотора... Свет прожектора...

«Предупредить надо...» — сквозь забытие подумал я, оперся на здоровую руку и, сделав последнее усилие,

чужим, визгливым голосом прокричал в ту сторону, откуда бил ослепительный голубой луч:

— Ребята... Он живой... С оружием...

Потом все закачалось, закружилось: лощина полетела вверх, а звезды оказались внизу...

4

В Москве на улице Большая Бронная есть музей пограничных войск. Когда подросток мой сын, я привел его сюда. Мы переходили от экспоната к экспонату, и я рассказывал ему о первых пограничниках, ходивших в лаптях по размокшим дозорным тропам, о сражениях с бандами басмачей, о тех, кто принял на себя внезапный удар фашистов... Я рассказывал о разных поколениях воинов границы. Все они выполнили свой долг. Каждый на своем посту...

И может быть, чуть дольше я задержался у одного из последних стендов: за толстым голубоватым стеклом лежит снаряжение ликвидированной разведывательно-диверсионной группы — карабины бесшумного боя, пистолеты, ножи...

— Папа, как звучит выстрел этого карабина? — спросил меня сын.

И я ответил:

— Представь себе, в резиновых сапогах идешь по болоту: «Чох... Чох...»

ПРЫЖОК

1

Когда на учебном пункте нас первый раз в сапогах вывели на физподготовку, я тут же вспомнил тренера. У него была своя метода: разминку мы проводили в специальных поясах, набитых дробью. Перед самым прыжком снимали их, и во всем теле мгновенно появлялось ощущение необычайной легкости, прямо-таки невесомости... А вот до сапог тренер не додумался, и я, усмехнувшись про себя, решил обязательно ему об этом написать.

Сержант, который проводил с нами занятия, дал команду:

— Бегом марш!

Мы побежали вокруг спортплощадки. Сразу же некоторые солдаты захромали.

— Стой! — громко крикнул сержант. — Снять сапоги!

Он стал ходить вдоль строя и каждому показывал, как правильно наматывать портянки, чтобы они не гробили ноги во время бега.

— Для пограничника это одна из самых важных наук... — поучал сержант.

— А я слыхал, что когда за шпионом бегут, то сапоги скидывают? — серьезно спросил белобрысый паренек, у которого на пятках уже появились мозоли.

— Это вот такие, как вы, умельцы, и «скидывают», — в тон ему ответил сержант, и все засмеялись.

Когда подошла моя очередь, сержант окинул меня взглядом с ног до головы и строго спросил:

— А вы почему не разуаетесь?

— У меня все в порядке, — дружелюбно ответил я.

Это было действительно так... В тот день, когда меня провожали в армию, мама устроила вечеринку для «друзей и подруг». В самый разгар веселья раздался звонок — на пороге стоял тренер. После того рокового прыжка я не видел его полгода. Этот приход был для меня неожиданностью.

— Ну-ка, дыхни! — зло сказал тренер.

Я с детства привык ему подчиняться, поэтому не задумываясь исполнил приказ. Хотя сейчас эта проверка не имела никакого смысла.

Убедившись, что от меня не пахнет вином, тренер обрадовался, но ничего об этом не сказал.

— Я тебе подарок принес... — Он развернул сверток и протянул два куска белой байки.

— Что это? — изумился я.

— Портянки. Сейчас буду тебя учить. Береги ноги. Особенно толчковую.

— Зачем?

— Я знаю — зачем! — опять почти враждебно крикнул он. — Садись!

Через пятнадцать минут я уже мастерски пеленал ступни...

Сержант опять оглядел меня с ног до головы.

— Вообще-то я за вами наблюдал... — неуверенно сказал он. — Бежали вы легко. Только... как-то разболтанно, шалаяй-валаяй...

Я не знал, что отвечать. Видимо, физиономия у меня

была довольно растерянная и жалкая, потому что сержант тотчас, чтобы меня успокоить, ободряюще сказал:

— Ну ничего! Спорт из вас сделает человека! — И, уже обращаясь ко всем, энергично дал команду: — Становись!

Наш строй значительно веселее трусил по кругу. На ходу я все время думал над словами сержанта: «Как же так? Почему он так сказал?.. Конечно, фигура у меня своеобразная, но достаточно атлетическая... По крайней мере я всегда так считал. Почему же он?..»

Я пытался проанализировать свои действия — и сразу же понял. Для прыгуна в высоту очень важно, чтобы работали только те мышцы, которые несут нагрузку. Остальные должны быть расслабленными. Это не так просто. Этому долго учат. Теперь, конечно, во время бега я расслабляюсь «автоматически». Видимо, с точки зрения армейской физкультуры это считается разгильдяйством... Вот, значит, как!

Мне стало немного обидно за свое искусство, и я решил при случае проучить сержанта.

После разминки он дал команду начать прыжки через коня. И тут я показал класс. Медленно разбежавшись, даже не касаясь руками снаряда, я поднялся в воздух, как самолет с вертикальным взлетом, а затем приземлился метрах в пяти от коня.

Сержант, открыв рот, изумленно смотрел на меня. Солдаты тоже притихли. Для них то, что сейчас они увидели, было явлением непонятным, прямо-таки космическим. Я скромно стоял на земле и наслаждался эффектом.

— Вы что... спортсмен? — проглотив воздух, наконец спросил сержант.

— Да... — спокойно ответил я.

— Какой вид?

— Прыжки в высоту.

— И разряд имеете?

— Мастер спорта...

— Вот это да! — Сержант немного помолчал и наконец, снова войдя в свою роль, строго сказал: — Почему значок не носите?

Этого я не ожидал. Значок лежал у меня в вещмешке. Я взял его из дома просто так, на память... Но сержант ждал ответа.

— Он у меня на парадной тужурке.

— Это правильно. — Мой первый командир одобрительно кивнул головой и еще раз повторил: — Это правильно...

2

Я люблю прыгать в высоту. И люблю смотреть, как прыгают другие. Конечно, если прыгают красиво. Когда я вижу спортсмена, перелетающего через планку, у меня что-то екает в груди, толчковая нога сама топает по земле, и я невольно кричу: «Опа!» В это время я переживаю все чувства прыгуна, поэтому получаю от соревнований тройную радость: и когда прыгаю сам, и когда сижу на скамеечке — отдыхаю перед очередной попыткой, и когда уже «схожу», становлюсь зрителем и наблюдаю со стороны, как другие перелетают через планку, до которой мне еще далеко... Или лучше сказать: высоко...

В четвертом классе я понял, что могу хорошо прыгать. Тогда в нашей школе преподаватель физкультуры решил провести соревнования, и я босиком взял «метр двадцать пять» каким-то неведомым науке способом.

— Молодец, Кузнечиков! Здорово прыгаешь! — похвалил меня учитель.

Все вокруг засмеялись, и я тоже смеялся, потому что это была добрая шутка.

Однажды зимой к нам в школу приехала комиссия из Института физкультуры. Заставили весь спортивный зал приборами и начали нас измерять. Что мы только не делали! Потеха! Крутили руками педали устройства, похожего на велосипед. Брели какой-то наконечник и колотили им по медному листу — кто больше за минуту настучит. Включали по сигналу рычажок — так проверяли скорость реакции... И все приборы, приборы, датчики... На одном тренажере пристегивали тонюсенький проводок к правой ноге и просили сделать мах, как можно выше. Очередь дошла до меня. Я махнул ногой — проводок порвался. Девушка, которая командовала этой «машиной», позвала дяденьку. Они привязали мне другой проводок — я снова махнул. Проводок уже не порвался. Девушка глянула на шкалу, по которой бегала стрелочка. «Ого-го!» — восторженно сказала она. Дяденька посмотрел на меня оценивающим взглядом и буркнул: «Тяжеловат! Но запиши его на всякий случай». И меня записали...

Так я попал в экспериментальную детскую спортивную школу, куда отбирали ребят по «объективным параметрам».

Для меня наступили счастливые дни. Сразу после занятий я ехал в нашу стеклянную коробку, под которой прятался настоящий маленький стадион. Мальчишки с соседних улиц, приплюснув носы к толстому стеклу, с завистью смотрели, как мы выбегали на манеж: гордые, веселые, сильные... Мимо нас проходили люди, проезжали трамваи и машины... Мели снега, образуя возле стеклянных стен огромные сугробы... А мы играли в лето. Мы готовились к нему.

Как я любил все здесь! Запах пластика, огромные поролоновые кубы, которые подкладывались под планку, наши стоечки, нашу полосатую планку... Когда после тренировки мы всей группой заваливались на эти кубы отдыхать, как на большую тахту, все посмеивались над нами: «Лежбище попрыгунчиков!»

Тренировки, нагрузки... Все мы начали с маленькой высоты. Прямо игрушечной! Отрабатывали технику. Роль каждого элемента. Знаете, оказывается, как это сложно... Тренер всегда говорил: «Наш спорт, ребята, — модель жизни! В ней всегда очень трудно подняться на новую высоту...»

А мне в прыжках в высоту больше всего нравится зримое единоборство с преградой. Ты — и она. Она — и ты... Бегун борется со временем. Конечно, он его чувствует. Но он рвет грудью тонкий луч фотофиниша и, задыхаясь, хриплым голосом спрашивает: «Сколько?» Метатель посылает снаряд. Это борьба мгновений. Всю свою силу и умение он вложил в один импульс. И все... Теперь уже ничего не изменишь, ничего не вернешь и ничего не поправишь. Тебе остается только с надеждой следить глазами за копьем, молотом или ядром... Что принесет тебе этот порыв? Все ли было верно?.. В жизни так тоже бывает...

А наш барьер — видимый. Вот он перед тобой: твой враг и твоя мечта, твоя надежда и твоя боль — высота! Ты собираешься преодолеть ее! Говорят — взять! «Взять высоту!» Именно взять, как крепость!.. И ты все время находишься в борьбе: и когда разбегаешься, и когда делаешь толчок, и когда бережно обвиваешь планку своим телом, боясь прикоснуться к ней, как к лезвию сабли... До конца не ясен тебе исход. Ведь в последний момент одним неверным движением можно все испортить...

В жизни так бывает гораздо чаще. Иногда только в конце ее человек понимает: покори́л он свою высоту или нет...

Вы видели когда-нибудь, как прыгает классный спортсмен, как борется он с рекордной высотой? Стадион замирает, а человек долго ходит, успокаивает себя, затем стоит перед преградой, топает ногой, потряхивает руками — снимает нервное напряжение с мышц. И все следят за ним... Наконец он решается, зло смотрит на планку, разбегается и... Стадион взрывается в едином вопле радости, или вздох разочарования легким ветерком пролетает над полем.

Во время футбольного матча после неточного удара болельщики делят свои голоса на крики «Мазила!», «Намыло!» и так далее. Это свойственно для игровых видов — это игра! Прыжок в высоту — преодоление, дерзновенный порыв! К поражению прыгуна все относятся с уважением. И только тогда можно услышать единый вздох, именно вздох, огромного числа людей.

Иногда что-то подобное бывает на фигурном катании, когда спортсмен неожиданно падает на лед, но музыка все сглаживает, да и народу в зале поменьше...

3

После «учебки» весь наш призыв направили на границу, и только меня одного — на контрольно-пропускной пункт, который нес службу в порту. Сначала я даже немного разочаровался, потому что хотел «на передний край невидимой борьбы». Но потом оказалось, что именно здесь этой «невидимой борьбы» более, чем достаточно. Вспоминаю свою первую встречу с начальником нашего подразделения капитаном Шевчуком. О нем я читал еще на гражданке: «гроза контрабандистов, шпионов и диверсантов». Так вот, оказалось, что этот «грозный человек» выглядит довольно мило, интеллигентно. У него тихий, вкрадчивый голос, мягкие черты лица, очки... Чем-то он напоминал молодого Чехова, портрет которого висел в школьном кабинете литературы как раз напротив моей парты.

Шевчук дотошно просматривал мои документы, а я рассматривал Шевчука. Наконец капитан удивленно вскинул брови и в упор уставился на меня. Видимо, он прочитал заветные слова: «Мастер спорта СССР».

Его взгляд заставил меня поежиться. Уже тогда я

невольно почувствовал в нем какую-то силу и понял, что это незаурядный человек.

А Шевчук, наверно, смотрел на меня и думал: неужели вот такой оболтус прыгает в высоту на два с лишним метра?..

Капитан неожиданно улыбнулся и весело сказал:

— Такого солдата у меня еще не было! Вы не волнуйтесь... Мы предоставим вам возможность для тренировок. Рядом с портом есть отличный стадион.

— Спасибо. Я больше не прыгаю... — тихо ответил я.

— То есть как? — Капитан буквально впился в меня глазами. — Почему?

Что я мог ответить? История, в общем-то, заурядная...

Это случилось во время обычной тренировки. Совершая очередной прыжок, я неудачно приземлился и выбил локтевой сустав. Резкая боль пронзила руку и по цепочке нервных волокон впилась в мозг. Не знаю, что уж там произошло... Психолог объяснил это так: «устойчивый условный рефлекс, возникший под воздействием шока».

Вначале никто не придавал этому эпизоду особого значения. Конечно, тренер отругал меня, две недели я ходил в гипсе, затем снова вернулся в сектор. Стоило мне начать разбег — тут же заныл «раненый» сустав. Внимание было сосредоточено только на нем. Я прыгнул... Но какой это был прыжок! Все мышцы были зажаты ожиданием предстоящей боли. Тренер, ясное дело, заметил полный развал техники, но решил, что это связано с длительным перерывом. И только после нескольких тренировок он понял: происходит что-то неладное — я начал отлынивать от прыжков, делая вид, что уделяю больше внимания силовым упражнениям.

— Что случилось? — откровенно спросил он.

Пришлось рассказать ему всю правду.

— Ничего с собой поделать не могу... — чуть не плача, закончил я свою исповедь.

— Главное, не паникуй! — спокойно сказал тренер. Сутки он обдумывал ситуацию, а потом принял решение: — Даю тебе месяц отдыха... Ходи в кино, читай книги, влюбись в конце концов... Постарайся отвлечься, забыть, что есть на свете прыжки в высоту... Надо разорвать в сознании эту патологическую связь между прыжком и болью. А это может сделать или время, или

какое-то другое более сильное психологическое воздействие... Вот так... Теперь все зависит только от тебя.

Я взял на работе отпуск и поехал на дачу. Купался, ловил рыбу, валялся на раскладушке в саду, читая нескончаемый детективный роман... Иногда, устав от книги, я часами смотрел в траву. Там копошилась странная, не ведомая мне жизнь. Уйма маленьких жучков неторопливо вела свое хозяйство... Однажды я обратил внимание на чудную козявку — она как-то таинственно висела в воздухе. Я поймал ее на кончик карандаша. Кто ты, победивший земное тяготение?

Странная букашка, у которой не было крылышек, как бы отвечая на мой вопрос, прыгнула и плавно поплыла по воздуху, но я почувствовал: ее что-то связывает с моим карандашом. Я начал крутить его — и козявка остановилась. Она стала что-то предпринимать, но я крутил карандаш еще быстрее. Наконец я подставил его под луч солнца и на сыгравшем блике увидел: карандаш окутан тонюсенькой ниточкой. Так вот, оказывается, в чем дело!

После этих наблюдений я открыл для себя: мир состоит из малого... Я стал рассматривать кору дерева, доски старого забора, гранитный валун, который валялся здесь, быть может, с самого ледникового периода... Можно видеть предмет по-разному! Можно брать его целиком, как таковой: длинный забор, высокое дерево, тяжелый камень... Но всмотритесь в узор сучков и линий деревянной доски, в мозаику пятен на буром гранитном валуне, в складки коры дуба — и вы поймете, что они не менее интересны и красивы, чем природный ландшафт, горы и леса...

Высота приблизила меня к земле, заставила немного посидеть на одном месте, посмотреть в одну точку и подумать. И за это я ей тоже благодарен...

Когда до конца отпуска оставалось несколько дней, я вернулся в город. Ранним утром, чтобы никто не видел, я пришел в спортивный зал. Принес маты, поставил стойки... Я начал разбег и сразу понял: все... это конец...

Больше я сюда никогда не приходил. Тренеру я послал письмо, в котором написал, что навсегда ухожу из спорта: осенью меня призовут в армию, а потом буду поступать в институт...

Итак, в восемнадцать лет я твердо решил, что моя спортивная карьера закончилась. Я безумно любил прыжки в высоту, но прыгать больше не мог...

Приход корабля в порт — всегда событие. Звучит веселая музыка, вывешены флаги расцвечивания, пассажиры и свободные от вахты члены команды толпятся у бортов, с интересом всматриваются в незнакомый берег. Наконец подан трап, и все взгляды устремились на причал: туда, где стоим мы — пограничники, первые представители Советского государства, с которыми встречаются иностранцы на нашей земле.

В работе контрольно-пропускного пункта есть что-то общее со спортом: в учебных классах, невидимых для зрителя, остались многочасовые тренировки, долгая учеба, точный расчет, детальная отработка каждого момента, каждого приема... И вот — твой выход! Изящество, четкость движений, быстрота, образцовый внешний вид... Каждое действие полно достоинства и в то же время подчеркивает уважение к иностранному гостю, соответствует духу гостеприимства советского народа. Аккуратность, кажущаяся легкость... И только сам пограничник знает, что в это время все его умение, весь опыт сконцентрированы в одно желание, направлены на одну цель — своевременно обнаружить и задержать нарушителя государственной границы, контрабанду, запрещенные к ввозу и вывозу материалы.

Никогда не забуду, как первый раз при мне капитан Шевчук поймал шпиона. Да-да — шпиона! самого настоящего. Внешне все прошло тихо, спокойно. Ни стрельбы, ни мордобоя... А ведь была схватка. Схватка нервов, характеров, убеждений...

Наряд проверял документы у иностранных туристов, возвращавшихся на теплоход.

— Пожалуйста! — радостно улыбаясь, высокий элегантный мужчина предъявил свой паспорт. — А это — маленький презент командиру! — Иностранец ловким движением достал из кармана изящную зажигалку.

— Спасибо! — Шевчук отодвинул рукой «подарок». Он внимательно перелистывал страницы документа. Затем жестом подозвал работника таможни, что-то тихо сообщил ему.

— Вам придется пройти личный досмотр, — обращаясь к щедрому гостю, спокойно сказал таможенник.

— По какому праву? — возмутился турист, но глаза тревожно забегали и алые пятна выступили на щеках.

Как потом выяснилось, в специальном жилете ино-

странец пытался вывезти кассеты с пленкой, на которой были сфотографированы военные объекты.

Капитан Шевчук позже объяснил нам, почему этот господин вызвал в нем подозрение:

— Протягивал паспорт — рука слегка дрожит... В глазах — лихорадочный блеск... Лицо худощавое, а по фигуре — Геракл! Костюм плотно облегает могучие бицепсы...

Я стоял рядом с капитаном, но ничего этого не заметил... Потом, конечно, я многому научился и многое понял. Я выявлял поддельные документы и обнаруживал тайники с антисоветской литературой, испытывал на себе идеологические атаки противника, его попытки втянуть нас в провокацию... И всегда рядом со мной были боевые товарищи и командиры, готовые в любую минуту прийти на помощь...

И еще было задержание. Была схватка один на один. Был прыжок в высоту, который снова вернул меня в спорт.

Да, тренер, как всегда, оказался прав: есть такое чувство, которое сильнее любой боли, любого шока. Оно называется — долг перед Родиной...

5

В ту ночь в порту был густой туман. Под светом прожекторов в мутном мареве едва проступали очертания судов. Младший сержант Сорокин и я несли службу на причале у иностранного сухогруза. Рядом с ним швартовался наш «банановоз» «Урал». От него исходил душистый, ароматный запах.

— Вот аппетит нагуляем, — пошутил Сорокин.

Ночью порт жил своей ритмичной трудовой жизнью: гудели моторы кранов, перезванивали буфера вагонов, нетерпеливо покрикивали тепловозы, сразу заглушая все шумы...

Пошел дождь. Тяжелые капли забарабанили по металлу. Борта кораблей стали жирными, блестящими. Укрывшись под козырьком навеса, мы внимательно наблюдали за сухогрузом. Неожиданно раздался громкий всплеск где-то у кормы судна. Сорокин встрепенулся.

— Смотри за трапом, — взволнованно прошептал он.

Младший сержант скрылся за штабелем контейнеров, и тут же за своей спиной я услышал какое-то тихое урчание. Я оглянулся — один из кранов сухогруза

плавно повернулся так, что его стрела была над причалом. На конце троса висел человек. С ловкостью циркового гимнаста он соскочил на землю и скрылся в проходе между двумя складами. На мгновение я опешил и вдруг услышал топот сапог, крик старшего наряда:

— Кузнечиков, преследуй нарушителя!

Я понял: Сорокин добежит до трапа и станет на пост. Нельзя терять ни секунды! Я рванулся вперед, пробежал склады и увидел нарушителя. Между нами было метров триста.

— Стой! — истошно крикнул я.

Но человек даже не оглянулся. Он бежал уверенно к какой-то цели, по заранее обдуманному маршруту.

Максимальная скорость! Спурт! Все внимание на спину соперника — не упустить из виду!

Перепрыгивая через рельсы, нарушитель мчался к воротам — из порта выезжал очередной железнодорожный состав. И сразу же стало ясно: сейчас пройдут вагоны, нарушитель шмыгнет за ними, ворота автоматически закроются. Я окажусь по одну сторону стены, окружающей порт, а он — по другую. Все было рассчитано до мелочей!

До нарушителя оставалось каких-нибудь полтора метра. Наверняка он слышал, что я приближаюсь, но опять-таки даже не обернулся — настолько, видать, был уверен в осуществлении своего плана. Нарушитель остановился, выждал, когда последний вагон скроется в темном проеме, и спокойно — мне даже показалось, шагом! — последовал за ним. И тут же медленно поползла тяжелая металлическая плита.

Теперь бежать к воротам не было смысла. Дикая злоба закипела во мне. «Неужели уйдет? От этой мысли я чуть не задохнулся. В тридцати метрах от порта — Приморский бульвар. В это время еще многолюдно... Он смешается с толпой... А может, его ждет машина? Ах ты, гад!..»

Высота стены — метра два с половиной... Сверху на ней натянута колючая проволока...

Решение возникло само собой. Я уже ничего не соображал. Все за меня делали ноги. Они сами выбрали угол разбега, вовремя сделали ускорение. Толчок! С хрустом посыпались на землю пуговицы тужурки, острое железо полоснуло по животу и лицу, вцепилось в руки, но я уже был на другой стороне.

Я сразу увидел его — он поднимался по насыпи. Какая-то непонятная сила, как на крыльях, несла меня вперед. Ненавистная спина приближалась. В последнее мгновение нарушитель, видимо, почувствовал неладное. Он обернулся. Лицо его исказилось от ужаса. Изодраный, окровавленный человек со страшной скоростью приближался к нему. Последние метры я уже не мог бежать. Я прыгнул и в полете сбил его с ног, придавил своим телом к земле. Нарушитель извивался, хрипел, пытался выбраться из-под меня. Но я давил, давил его что было силы... И вдруг почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо, услышал голос капитана Шевчука:

— Отпусти его, Кузнечиков, задушишь...

6

Неужели я перепрыгнул через стену? Этот прыжок снится мне каждую ночь. И каждый раз я просыпаюсь со слезами восторга на глазах. Удивительное, неповторимое чувство!

После этого задержания я неделю провалялся в лазарете. Потом еще две недели осознавал: со мной что-то произошло. И наконец не выдержал. Дождавшись, когда капитан Шевчук будет в канцелярии один, я постучался и решительно открыл дверь:

— Разрешите обратиться, товарищ капитан!

Шевчук молча кивнул. Он перебирал какие-то бумаги. И взгляд его был напряженным, строгим.

— Товарищ капитан... — Я не знал, как сформулировать свою просьбу, боялся, что она будет выглядеть смешно или даже совсем глупо. — Вы когда-то говорили... я хотел бы воспользоваться...

Шевчук тут же впился в меня глазами.

— Я хотел бы снова начать тренировки...

Капитан ничего не ответил. Он открыл ящик письменного стола, достал оттуда большой пакет, протянул его мне и тихо сказал:

— Вот... Держите!

— Что это? — удивился я.

— Распечатайте. Там все сказано...

В конверте было письмо. Знакомый размашистый почерк тренера!

«Ванюша, милый, здравствуй!.. Капитан Шевчук написал мне о твоём прыжке. Это великолепно! Я всегда

верил в тебя!.. Мне кажется, ты сделал то, что нужно.. Высылаю план тренировок на три месяца. Начинай! Сообщи о первых результатах. Жду!..»

7

У портовиков оказался отличный стадион. Правда, сектор для прыжков в высоту был простенький, но сейчас он меня вполне устраивал.

Никогда, наверно, я не разминался с таким удовольствием. Потом сразу установил планку на рекордную для себя высоту, не спеша надел шиповки и стал представлять, что я на Олимпийских играх.

В свое время тренер специально для меня — «такого впечатлительного спортсмена!» — придумал этот способ внушения.

Мне казалось, я слышу его восторженный голос:

«Олимпийские игры! Ты знаешь, что это такое? Это сгусток силы всего человечества! Итог достижений нашего биологического вида! Это отчет перед предками и залог потомкам!

У спортсмена увеличиваются силы от одного сознания своей ответственности, от счастья, что он «самый»! Самый сильный человек на Земле! Самый быстрый человек на Земле! Самый прыгучий человек на Земле!

Не торопись! Ты остался один! Ты не имеешь права обмануть ожидания людей... Отмерь разбег. Никто не упрекнет тебя в нерешительности. Ты на грани неведомого...

Все видят, что ты собран. Ты не авантюрист, ты добываешь для человечества новую победу и не должен рисковать...

Ты представитель человечества, и ты обязан показать ему, на что оно способно!

Ты — сын Земли! Гордость Земли! Слава Земли!.. Вперед!..»

Я побежал. Ветер засвистел навстречу. Время, как во сне, стало мягким, тягучим. Мне казалось, что я вижу себя со стороны, контролирую каждое свое движение. Появилось знакомое ощущение наплывающей на тебя победы... Толчок! Мах! Нога резко взлетает вверх!..

Серая планка тихо прошуршала подо мной. И я, счастливый, уткнулся лицом в песок...

СТАЖИРОВКА

По вечерам, когда Саша Александров брал гитару и запевал о крыше дома своего, а затем о сережке ольховой, будто пуховой, Володя Антоничев еще отчетливее начинал понимать, что за два года его учебы в военном училище здесь, на заставе, почти ничего не изменилось. Все так же в назначенное время шли на службу наряды, все так же тревожно и неожиданно звучала сирена сигнализации при срабатывании системы, все так же начальник заставы старший лейтенант Лысенко продолжал называть нарушителей границы неизвестно от кого унаследованным словом «шпиён». Все так же по утрам в сарае мирно мычала общая любимица корова Марта. Все так же, терпеливо выслушивая возражения и доводы, старшина заставы прапорщик Юкш отправлял очередную партию тех, «кому делать нечего», на прополку огорода.

А изменения если и были, то не те, которые могли бы поколебать этот годами отшлифованный порядок. Уехали домой, пряча глаза от неожиданно нахлынувших слез, пограничники старших возрастов. Потом прибыли новички, их и сейчас можно было определить — по неизбитой еще обуви и сохранявшему свой естественный цвет обмундированию. Но сапоги, как известно, быстро снашиваются, а хэбэ — выгорает, так что через какой-нибудь месяц исчезнут и эти различия.

Жизнь на заставе шла своим чередом. Так шла она здесь и три года назад, когда Антоничев сам был молодым солдатом. Так идет она и сейчас, когда он прибыл на заставу для стажировки...

Александров пел, а Антоничев шел в свой «кабинет» — переоборудованную на время комнату бытового обслуживания — заполнять дневник стажировки. Записи, он поймал себя на мысли, также были на удивление

похожи. Регулярные заметки о проверке службы пограничных нарядов изредка перебивались записями о проведении занятий по специальной подготовке и политических занятий.

Заполнив все графы, Антоничев вынул чистый лист бумаги и взялся писать письмо своему однокашнику по училищу Олегу Тылику.

«Вот наконец решил черкнуть тебе пару строчек. Стажировка заканчивается, завтра уезжаю. Старик, ты был прав. Напрасно я не послушал тебя и не поехал на южную границу. Там, конечно, интереснее. Должен признать, что зря я так стремился на свою родную заставу. Тут ничего не изменилось. Все такая же тишь. Правда, есть новость. Начальник заставы Лысенко, помнишь, я тебе рассказывал о нем, женился. Жену красивую взял. И умную. Она у него конструктор подводных аппаратов. Правда, не знаю, где он ей работу тут сыщет. В ближайшем райцентре только карамели производят. Ему, кстати, присвоили новое звание. Но новая звездочка не испортила Лысенко, мужик он крепкий и службу знает.

А все-таки жаль, Олежка, что не поехал я с тобой на юг».

Антоничев писал письмо и знал, что через несколько минут к нему, как это было во все дни стажировки, заглянет рядовой Ильясов.

Ильясов на заставе был поваром. Розовощекий, крепко сбитый азербайджанец, умевший из любого обыденного «второго блюда» сделать объедение, с первых минут приезда Антоничева взял над ним шефство. То ли тут сыграла свою роль щуплая фигура Володи, то ли повар получил на этот счет какие-нибудь «секретные указания» от старшего лейтенанта Лысенко, но повар всячески старался лишний раз накормить курсанта-стажера, побаловать его чем-нибудь вкусненьким.

Заслышав шаги в коридоре, Антоничев повернулся к двери — это шел Ильясов. Несмотря на свой огромный рост и вес, он всегда ступал легко.

— Обедать, — широко улыбнулся повар. — Стынет, товарищ курсант.

— Не хочется, — вполне искренне сказал ему Антоничев.

— Товарищ старший лейтенант ругать будет, если

узнает, что вы не ели... Зачем неприятности, надо кушать.

— Ну что же, надо так надо, — зная неуступчивость повара, покорно согласился Антоничев...

После обеда его позвал к себе старший лейтенант Лысенко. Идя по узкой, выложенной кирпичами тропинке к утопающему в зелени офицерскому домику, Антоничев ломал голову: зачем он понадобился начальнику заставы? Удивляло его это отступление от уже привычного распорядка дня.

Предстоящей ночью старший лейтенант Лысенко намеревался осуществить внезапную проверку своих подчиненных. Вводную для них он приготовил нелегкую — поимка нарушителя государственной границы. В качестве «шпиена» должен был выступать его однокашник по училищу начальник соседней заставы старший лейтенант Безлепкин. Тот вместе с женой и дочкой (благо выдался выходной) уже с утра гостил у него. Вначале Безлепкину совсем не хотелось убивать свободное время на беганье по полям и оврагам, но потом он уступил настойчивым просьбам Лысенко.

— Но только в чем я пойду? — Безлепкин показал на свои офицерские туфли. — В этой обуви? Так пограничники сразу определяют, что это я. Обувь нужно гражданскую...

Лысенко предложил свои туфли. Но они оказались малы для Безлепкина.

— Придется отложить, — Безлепкин развел руками и улыбнулся. — Теряется внезапность...

— Не волнуйся. — Лысенко потянулся к телефону. — Дежурный? Передайте стажеру, пусть зайдет ко мне. — Уловив удивленный взгляд Безлепкина, объяснил: — Пошлю его на твою заставу за обувью. Да и курсант пусть проветрится, а то засиделся.

Через несколько минут он инструктировал Антоничева:

— Возьмите у старшины велосипед и съездите на соседнюю заставу. Там возьмете туфли старшего лейтенанта Безлепкина и одежду, он скажет какую, и привезете сюда. К ужину обязательно возвращайтесь. А то, — он улыбнулся, — старший лейтенант на концерт опоздает, а Ильясов на вас обидится.

По укатанной дозорной тропе ехать было одно удовольствие. Антоничев легко крутил педали и фантазировал, куда же вечером пойдет старший лейтенант Безлепкин. Дело в том, что в райцентр — ближайший к заставе городок на гастроли прибыли два вокально-инструментальных ансамбля и артисты театра оперетты. У неизбалованной зрелищами местной публики появился выбор.

Лично он, Антоничев, предпочел бы концерт артистов оперетты. Оперетту он любил. Это чувство передалось ему от мамы — учительницы начальных классов. Каждый раз, собираясь в театр, она брала с собою и Володю. Правда, за время учебы в училище ему ни разу не пришлось побывать в оперетте... А неплохо было бы присоединиться к старшему лейтенанту Безлепкину. Если бы не ночная проверка, на которую предстояло идти, то, наверное, старший лейтенант Лысенко разрешил бы сходить вечером в город. Под влиянием этих мыслей Антоничев тихо напевал нахлынувший мотивчик:

Любовь такая глупость большая,
Влюбленных всех лишает разума любовь...

Он еще быстрее закрутил педали. Лишь у хрупкого мостика, перекинутого через небольшую речушку, он остановился. Осторожно повел велосипед в руках. Мостик гибко завибрировал под его шагами. Перейдя на противоположный берег, Антоничев как-то невольно взглянул на виднеющиеся из сумки туфли Безлепкина и подивился их размеру. Ну и нога у старшего лейтенанта, подумал, богатырская, хотя сам-то росту среднего. Спустившись с мостика, Антоничев вынул одну туфлю и осторожно отпечатал ее на мокром песке. Да, след почти на полметра тянет. Потом сделал тут же отпечаток своего сапога, который по сравнению с первым выглядел удивительно малым...

Отдав старшему лейтенанту одежду и обувь, он попытался было завести с ним речь о концерте, но офицеры, переглянувшись, перевели разговор на другое. А потом старший лейтенант Лысенко, холодно и, как показалось Антоничеву, обидно посоветовал ему идти заниматься делами, готовиться к службе. Вспыхнув от этих слов, курсант отдал честь и, круто повернувшись, побежал от офицерского домика к заставе.

Последнее время Борису Бойко, известному в определенных кругах как Боб Рваный (на лице его у левого глаза был неровный красный шрам), здорово везло. После побега ему быстро удалось найти надежную хату. В пивном баре Боб познакомился с нестарым еще, крепкого вида мужчиной, угостил. Угостил он этого мужика просто так, от души, что ли, — нашла какая-то слабина. Угостил, ни на что не надеясь, а оказалось, попал в точку.

Мужик тот оказался спивающимся непризнанным художником. Увидев сочувствующие глаза напротив, он, видимо, из благодарности пригласил Боба к себе. После второй бутылки водки, выпитой в заброшенной квартире, он совсем расчувствовался и сказал — ночуй здесь, вдвоем будет веселее.

Так решилась проблема с хатой. Боб покупал каждый день две бутылки водки и отдавал их художнику, а сам уходил в город. Как бы по делам.

Дело он хотел завернуть большое, взять кассира с зарплатой. Он давно его приметил — худенькую небольшую старушку, которую в дни получения денег сопровождал кто-нибудь из мужчин, видимо, работников завода. Денег они брали много. И ехали не на машине, а шли пешком: до проходной от банка было метров сто. Боб решил встретить их на углу.

Но ему позарез нужно было заполучить оружие.

Уж везет, как везет. Боб подстерег на переходном мостике через железную дорогу одинокого патрульного милиционера. Опираясь на палку, будто инвалид, он зашел ему со спины, оглушил ударом. Вынув пистолет, сбросил обмякшее тело на путь, как раз перед приближавшимся поездом. Оружие было.

На углу тоже получилось все неплохо. Сопровождавший старуху мужик, увидев пистолет, упал на асфальт и послушно лежал, даже не шелохнулся. Сама старуха оказалась упрямой. Схватившись обеими руками за чемоданчик, она тянула его к себе и кричала так, что, наверное, на заводе слышно было. Боб ударил ее пистолетом, вырвал чемоданчик и исчез в проходных дворах.

Денег было много, он даже и не ожидал такого количества. Боб переложил их в простую тряпичную сумку, зарыл в землю чемодан и пошел домой. По пути купил водки — праздник как-никак, удача. Выпили вме-

сте. Вскоре художник уснул, а Боб остался сидеть, задумавшись о своей жизни, о том, что его ждет.

Веселого было мало. На нем висел побег, милиционер, старушка (вряд ли она оклемается), деньги. Что он имел — имел пистолет, деньги и зарытое на крайний случай золотишко. Немного, правда, но было. Осталось с прошлых времен.

Боб знал, что рано или поздно его возьмут, милиция свое дело знает. Что ему делать? Куда пойти — куда податься? Он посмотрел на спящего художника, рассказывавшего утром о великих итальянцах, и вдруг мелькнула мысль: а не рвануть ли к этим самым итальянцам? Хотя почему именно к итальянцам? Можно и к немцам, и у французов весело, Париж как-никак.

Трезвея, он начал понимать, что, пожалуй, этот вариант нынче самый подходящий. Только вот как пробраться к этим самым итальянцам? Он слышал, что многие пытаются уходить на самолетах. Заманчиво — скорость и комфорт. Но как пронести оружие? А если даже он и пронесет его, то что можно одному сделать в огромном самолете, где, конечно же, есть охрана? Ничего. На пароходе ему тоже ничего не светило.

К утру, допив водку, Боб твердо решил: уходить по земле. Он решил ехать на северо-запад. В тот день он снял со стенки две картины, которыми хозяин квартиры очень гордился, забрал кисти, краски, ушел. Купил билет до небольшого районного центра, расположенного прямо у границы. По документу художника ему удалось устроиться в переполненную приезжими артистами гостиницу. Показал «свои» картины, и они понравились — художник не обманул. После этого многие артисты начали называть его коллегой.

По утрам, надев спортивный костюм и кроссовки, взяв краски, он уходил за околицу. Как говорил, работать.

А сам смотрел — где и как можно уйти на ту сторону. Бобу казалось, что везению его пришел конец, везде он натыкался на будто из-под земли появлявшихся пограничников. Тогда решил перейти границу ночью. Но прежде чем идти, прикинул пути отступления. Решил: в случае неудачи — бежать к железной дороге, туда, где на крутом повороте поезда замедляли свой ход. Если что — в любой вагон. Никто не сыщет. В крайнем случае... он притронулся к спрятанному пистолету.

Хотя он в это продолжал упрямо верить, ему должно повезти...

Из города он вышел, когда уже вечерело. На окраине постоял, делая вид, что любуется красным закатным небом. Потом наклоняясь, собирая цветы, пошел вдоль дороги. Рвал красные, быстро осыпающиеся маки и осматривался, проверялся.

Слежки не было, и это опять успокоило Боба, значит, не засекли. Он уже далеко отошел от районного центра, когда услышал шум едущей по дороге автомашины. Швырнув в сторону собранный букет, он кинулся в ближайшие кусты. Прилег и затаился, ожидая, когда машина исчезнет.

Но автомобиль неожиданно остановился неподалеку. У Боба екнуло сердце, и он потянулся за пистолетом, — кажется, заметили. Из кабины вышли двое мужчин. Боб не мог разобрать в темноте, кто они. Видел только, что они закурили и завели о чем-то беседу. Время для него будто остановилось.

Потом стоявшие на дороге бросили сигареты. Один из них полез в кабину, а второй, махнув ему рукой, пошел в сторону границы. Машина уехала. Что это за люди? На милиционеров они не похожи. На пограничников также. Почему один из них ночью пошел к границе?

И вдруг его осенило. А может быть, это такой же, как и он сам? Желаящий уйти на ту сторону! А если так, а если так, ловил он мысль, то человек, видимо, знает, как и где туда идти. Ну что же, Боб подхватился и быстро пошел за уже почти растворившейся в сумерках фигурой, стараясь держаться от идущего впереди на удобном для наблюдения расстоянии.

Но неожиданно человек, будто дойдя до какого-то невидимого непреодолимого препятствия, остановился, а затем быстро побежал назад. Почувствовав опасность, Боб также изо всех сил рванул подальше от границы. Пробежав, сколько было сил, он присел в кустах. Отдышался, задумался. Что же случилось, почему человек, бывший уже рядом с границей, вдруг начал убегать? Может, он, Боб, поспешил последовать ему? Боб сидел в кустах и размышлял, — может, пойти снова к границе.

Вдруг он услышал неподалеку громкие голоса. Тихонько раздвинул ветки кустарника и отпрянул назад.

На проверку Антоничеву выпало идти вместе с сержантом Петром Сочневым, инструктором служебно-розыскной собаки по кличке Пират. Пират был здоровенным черным псом, помесью волка и собаки. Антоничев помнил его еще щенком — неуклюжим, шлявшимся по всей территории заставы. Еще тогда Пират прославился тем, что за один присест съел у зазевавшегося повара почти все мясо, и застава чуть не осталась без ужина. Пирата после этого случая стали притеснять — посадили в клетку, когда же он всем надоедал своим обиженным визгом и лаем, выпускали, но предпринимали все меры предосторожности, чтобы он не попал в здание заставы. Антоничеву было жалко подвергнутого всеобщему гонению щенка, и он втихаря подкармливал его — то хлебом, то куском котлеты, а то и конфетами, до которых Пират оказался на удивление охоч.

Когда Пират подрос, его определили в школу служебно-розыскных собак. И назад он вернулся ученым, как говорил прапорщик Юкш, дипломированным псом. Диплом, конечно, вещь хорошая. Но, несмотря на то, что он являлся обладателем такого уважаемого документа, Пират периодически наносил визиты на кухню. И теперь уже зазевавшийся Ильясов ругал его во весь голос. А отобедывавшая по «облегченному варианту» застава вновь принимала к своему любимцу «воспитательные меры». После них Пират ходил несколько дней с грустно-рассеянным видом и обиженно отворачивался от всех, кто его окликал. Многих за это время видел он людей, но, видно, навсегда запомнил доброе отношение к себе Антоничева. Лишь появился курсант на заставе, Пират, дружелюбно махая хвостом, подошел к нему и как бы в знак особого расположения лизнул в лицо. Пока Антоничев оттирал собачью слюну, стоявший рядом старший сержант Сочнев объяснил:

— Понравились вы ему...

Такие проявления любви и уважения к Антоничеву для Пирата стали традиционными.

И в этот раз Антоничев стойчески выдержал «поцелуй» пса, терпеливо вытер лицо носовым платком. Улыбнулся Сочневу:

— Вы бы, товарищ сержант, его чему-нибудь другому обучили...

Тот удивился:

— Чему? Он же все знает и умеет. Любой след берет. Весной был случай, две собаки из соседних застав

не смогли след проработать, он легко взял. Пират, — скомандовал он собаке, которая, будто чувствуя, что речь идет о ней, не спускала с них глаз. — Пират, мне жарко.

Пес дружелюбно замахал хвостом. Потом одним движением поднялся на задние лапы. Осторожно схватил зубами фуражку Сочнева и стянул с его головы.

— Молодец, Пират. Молодчина...

Да, несмотря на все свои «подвиги», Пират был умной и хорошей служебно-розыскной собакой. И Антоничев был рад, что на проверку они пойдут втроем.

Старший лейтенант Лысенко, отдав боевой приказ, спросил вдруг:

— Последний день стажировки?..

— Последний, — ответил Антоничев.

— Последний наряд, — как-то задумчиво сказал офицер, будто прислушиваясь к каким-то своим мыслям. Повторил: — Последний...

После небольшой паузы еще раз спросил:

— Устали, наверное? Но ничего, скоро каникулы, отпуск, отдохнете...

Под контролем дежурного по заставе Антоничев и Сочнев зарядили оружие. Потом вышли из ворот заставы и широкой заасфальтированной дорогой пошли к границе.

Вечерело. Было то время суток, когда день еще не ушел, а ночь еще только заявляла о себе черными глубокими тенями. Антоничев не любил это время. Оно таило в себе коварство. При слабом свете уходящего солнца легко можно было не заметить след, не помогал и включенный фонарь.

Вышли на дозорную тропу. Не спеша двинулись по ней. Антоничев шел впереди, наблюдая за контрольно-следовой полосой, а Сочнев, придерживая Пирата, — сзади. Он осматривал сигнальную систему и прилегающую к ней полосу земли.

Было так тихо, что, казалось, сорвется лист с дерева, и можно будет услышать его падение.

Пограничники шли молча. Молча останавливались, вслушиваясь в эту чуткую тишину, и так же молча двигались дальше.

Они прошли уже несколько километров, когда призывно и тревожно зазвенел «колокол». Застава вызыва-

ла их на связь. Антоничев, достав телефонную трубку, поспешил к ближайшему телефонному гнезду. Подключился в линию связи:

— Вызывали? — спросил дежурного по заставе. Тот закричал:

— Что вы так долго на связь не выходите? Уснули! У двадцать шестого знака сработка, пятый «клепает». Проверьте, вы там ближе всех.

К пятому участку системы, который «клепал», срабатывал, нужно было возвращаться. Антоничев и Сочнев, который взял на всякий случай Пирата на поводок, кинулись обратно.

У двадцать шестого знака на «валике» с тыльной стороны системы они увидели следы. Антоничев доложил на заставу. Потом они перелезли через забор и начали изучать след.

Отпечаток был большим, но неглубоким. Нога большая, а рост малый — констатировал Антоничев. Сочнев тоже это заметил. Ширина шага нарушителя тоже была небольшой.

Чем дальше Антоничев всматривался в след, тем больше ему казалось, что он где-то видел нечто подобное. А потом вспомнил. Это же отпечаток туфли старшего лейтенанта Безлепкина. Тех самых, которые он вез сегодня. Значит, вот на какой концерт отправился начальник соседней заставы. «Проверка учебная, — улыбнулся, — но мы «шпиёна» поймаем быстро».

— Сочнев, — скомандовал он, — ставь Пирата на след.

И вскоре они уже неслись по полю. Пират, крепко натянув повод, бежал все быстрее и быстрее. Он чувствовал нарушителя, чужой запах. В одном месте он неожиданно остановился, видимо, потерял знакомый запах.

Но потом снова резко рванул и повел пограничников к невысокому кустарнику. По поведению собаки было видно, что нарушитель близко. Сочнев отпустил повод, и Пират, хрипя от злости, кинулся в кусты. Антоничев и Сочнев на секунду приостановились, ожидая, что сейчас оттуда выйдет старший лейтенант Безлепкин...

Но из кустов донесся вскрик, а затем оттуда громко и неожиданно раздался выстрел. Потом еще один. Сочнев побежал на выстрелы. Сделав несколько шагов, он, резко дернувшись, упал навзничь. Какое-то мгновение растерявшийся курсант стоял неподвижно. Снова

грянул выстрел, пуля попала в автомат Антоничева и, расщепив ложу, ушла в рикошет.

Антоничев упал. Подполз к Сочневу.

— Петя, Петя, что с тобой?

— Ранен, в руку, — тихо простонал сержант.

Антоничев снял куртку, разорвал майку и перетянул товарищу руку повыше раны.

Попробовал подняться и отыскать упавший в кусты автомат Сочнева, но сразу раздался выстрел из пистолета. Их противник не давал поднять голову.

Нужно отвлечь его и заставить расстрелять все патроны. Антоничев нащупал камень и кинул его в сторону кустов. И снова грянул выстрел. Он кинул еще, опять прозвучал выстрел...

В кустах, совсем рядом, зашелестело. Боб направил пистолет на этот звук. Но пистолет лишь сухо щелкнул. Кончились патроны.

В наступившей тишине Боб услышал далекий шум движущегося поезда. И будто молнией ударило — бежать к дороге, к спасительному повороту. И он побежал, вкладывая в этот бег все свое желание жить.

Жить! Он мчался, скользя по мокрой траве, запинаясь о кочки. Падал, вставал и опять бежал.

Антоничев бросил еще несколько камней, но противник не стрелял. Хитрит, подумал курсант. Кинул прямо туда, где сидел стрелявший. Опять тишина.

Осмелев, он поднял голову. Прислушался. Тихо. Только где-то далеко тяжело гремел по стыкам поезд.

Перебежками Антоничев подобрался к месту, где раньше лежал неизвестный.

При ярком свете луны увидел несколько желтоватых гильз. Наверное, патроны кончились. Подсчитал для верности. Один выстрел в Пирата, один в Сочнева, потом в автомат. Потом еще, еще. Да, патронов больше не было. «Куда он мог подеваться? — лихорадочно размышлял он. — Куда? Затаился в кустах? Нет, он должен понимать, что на выстрелы прибегут другие пограничники. Он или уходит назад, или... рванул к границе. Нужно найти след».

Антоничев схватил висевший на боку фонарь. Нажал кнопку, и рефлектор заблестел желтоватым светом. Освещая перед собой дорогу, он медленно пошел вокруг кустов. Круг замкнулся, но следов не было. Тогда Антоничев пошел по еще большему радиусу. Опять ничего. Теряя выдержку, он сделал вокруг кустов тре-

тий круг. Между двумя поросшими травой кочками на черной блестящей земле виднелся рифленый отпечаток кроссовок. Чуть дальше обнаружились еще несколько. Следы вели, не было никаких сомнений, в тыл. В тыл. Но куда в тыл? Нарушитель, конечно, пытается побыстрее уйти от границы. Значит, побежал к райцентру, там железнодорожный и автомобильный вокзалы. Но следы человека вели в противоположную сторону. Куда?

Гудок далекого поезда заставил Антоничева вздрогнуть. Ему вдруг стало ясно, куда побежал его противник. Конечно, к тому месту, где на подъеме поезд замедлял ход. Это место Антоничев знал давно. Еще будучи солдатом, возвращаясь из отпуска, он здесь спрыгивал с поезда, чтобы быстрее попасть на заставу.

...Боб приложил ухо к рельсу. Поезд близко. Перебравшись через насыпь, он лег на крутой склон. Постепенно отдышался, но спокойствие не приходило. Он чувствовал опасность. Это чувство заставило его собрать остатки сил и приподняться над рельсами. Из глубины поля, от границы прямо сюда, к спасительному повороту бежал пограничник. На фоне уже начавшего на востоке сереть неба отчетливо была видна его фигура. Боб скрипнул зубами — сейчас бы пистолет. Уложил, и ничто бы не помешало ему спокойно прицепиться к поезду. Боб видел, как пограничник добежал до железной дороги и медленно пошел по шпалам в его направлении...

Первой мыслью Боба было — бежать. Бежать дальше, в поле, бежать куда глаза глядят. Но он отбросил эту мысль, понимая, что спасение его только поезд. А он, как назло, не шел.

Не опуская глаз с приближающейся фигуры солдата, Боб пополз вниз, к основанию насыпи. Стараясь не шуметь, побежал вдоль насыпи навстречу поезду. Но тут увидел огромную трубу, пронизывающую насыпь у самого ее основания. Кажется, опять повезло. Боб, не раздумывая ни секунды, втиснулся в нее. Заскользил по устлавшему дно мокрому от недавних дождей илу. Прополз несколько метров и остановился. Расчет его был таков: пограничник не решится преследовать его здесь, останется наверху. Тогда Боб выйдет на противоположную сторону насыпи и незаметно заберется в вагон.

Если же солдат рискнет ползти за ним в трубу, то все решается еще проще. Надо будет задержать его тут,

а потом быстро выползти и уехать. Боб взглянул на крепко зажатый в руке пистолет и обрадовался, что не выбросил его во время бега. Подумал: может, и до конца повезет — пограничник трубы вовсе не заметит...

Человек, который бежал вдоль насыпи, вдруг исчез. Антоничев съехал с насыпи по траве вниз. Даже не отряхнувшись, побежал туда, где исчез бандит. Он уже понял: нарушитель хочет дожидаться поезда в трубе. Понял, что обязательно его нужно оттуда выкурить до прихода поезда. Или задержать. Он подошел к темному проему трубы. Антоничеву стало страшно.

В трубе было темно. Преступник загородил противоположный выход, и в чернеющей темени совершенно невозможно было определить, где находится бандит. Он полз, выставив вперед руки. Наткнуться, схватить и не отпускать, пока пройдет поезд. Там видно будет.

И тут с болью яркий, яркий свет.

Очнулся Антоничев от резкого запаха нашатыря.

— Лежите спокойно, — услышал он женский голос. Антоничев посмотрел в его сторону и увидел, что голос принадлежит жене старшины заставы прапорщика Юкша. Одетая в белый халат, она набирала в шприц лекарство. «Где я?» — подумал Антоничев. Он повел глазами по комнате и вдруг увидел на полу знакомые огромные туфли. Посмотрел вверх и встретился взглядом со старшим лейтенантом Безлепкиным. Тот улыбчиво глядел на него. И вдруг Антоничев вспомнил: труба... шум приближающегося поезда. Где же тот человек? Он рванулся и почувствовал, как крепкая рука легла ему на плечо.

— Говорят, лежи, — это уже был голос старшего лейтенанта Лысенко, — значит, лежи. Того типа, который Сочнева ранил и Пирата убил, старший лейтенант Безлепкин скрутил. Скажи ему спасибо, что вовремя к этой трубе подбежал...

— Спасибо, — буркнул Антоничев. — А кто он такой?

— Преступник. Рецидивист. Хотел уйти за границу.

— Хватит, товарищи, разговаривать. Больному нужен покой, — жена прапорщика прервала их беседу.

Офицеры ушли. Антоничев дотянулся до лежащего рядом обмундирования. Нашел в кармане недописанное другу письмо и смял его.

РОМАН ФЕДИЧЕВ

ВЕРСИЯ СВИРИДОНОВА

Времени не оставалось, и старший лейтенант Свиридонов, оставшийся вместо отбывшего в отпуск начальника заставы, понимал: медлить нельзя. Сколько еще осталось? День... два? Неделя? А может, месяц? Поди-ка угадай, усмехнулся он. Не пророк ведь и не ясновидящий, хотя ясновидящим быть сейчас не мешало бы...

Уже третий час, поднявшись с тропы, они с сержантом Ивановым вглядывались в противоположную, «чужую» сторону гор, по которой, как усталые путники, были разбросаны столбы телефонной связи. Ничего особенного в них не было, даже Свиридонов, прибывший на заставу с повышением всего восемь месяцев назад, уже привык к ним и каждый из столбов узнавал по наклону. Даже шутил: а прилепить бы им имена из отечественной классики... вон тот — точный Плюшкин.

Напротив Плюшкина они и лежали сейчас с сержантом Ивановым, всматриваясь в рыжеватую, без единой травинки, полосу щебневых осыпей. Он словно пожадничал, не пустил своих сородичей вдоль горы, и те поковыляли прямо в гору, сутулясь еще больше. Последний, четвертый от Плюшкина столб терялся в расщелине, откуда рос у горы «палец». Разглядеть там людей — дело безнадежное, хотя до расщелины не более трех километров: туман, казалось, прописался там навсегда.

Но пограничники «вели» сейчас только Плюшкина, потому что только там могли пройти люди, если им потребовалось бы идти в расщелину, куда вели столбы телефонной связи. Эта связь заинтересовала и насторожила наших пограничников недавно. На той стороне провели то ли инспекторскую проверку, то ли маленькие смотровые учения, после чего «соседи» решили подновить связь. Что ж, дело хозяйское, только старые прово-

да они почему-то не убрали, а новые показались сержанту Иванову «не того калибра». С чего бы вдруг?

На заставе отметили это как факт, высказали предположение, что «соседи» проложили дополнительную или параллельную связь. Что ж, ничего особенного. Но еще через какое-то время по тропе вдоль столбов, как муравьи по травинке, в расщелину «соседи» начали переносить зачехленный груз. Поняли, когда один из нарядов доложил: «Наверное, решетки... очень похоже на звенья радара...»

Нет, не просто переход границы готовится на той стороне, понимал Свиридонов. Зачем радар или локаатор? За нами смотреть? Прослушивать? Но для этого не нужна такая конспирация. А дизель поставили в глухом месте, тот участок не просматривается. Опять же, зачем? Посчитали — не догадаемся? Хотя шансов у них для того было более чем достаточно...

Но в запасе еще было около получаса, и Свиридонов ждал.

Третьи сутки старший лейтенант спал урывками: четыре сработки. Две из них, сегодняшние, одновременно на разных участках, шесть километров одна от другой... Свиридонов выехал с тревожной группой и к месту нарушения прибыл в то самое время, когда ефрейтор Джалилов успокаивал Пройду. У собаки клочьями падала пена с губ, она рвалась прямо на КСП — след был вызывающе свеж...

— Товстарлей... левее моего столба, — почти беззвучно подсказал из-за валуна сержант Иванов.

Свиридонов повел бинокль к участку сержанта, отмечая, как четко сработал пограничник: передал свой участок наблюдения, а сам уже перехватил его, участок командира... ни минуты пустой! Ну да ничего... и выспимся, уже за двоих подумал Свиридонов.

Он поймал биноклем столб, замер. Что же насторожило сержанта? Ах, вот что! И Свиридонов тотчас выхватил из четверых, одетых в хаки, того самого, кого они с Ивановым условно называли «гостем».

Наконец-то! Иди-ка, иди, познакомимся... Так открыто Свиридонов впервые видел «гостя», и на мгновение он забыл о времени, стараясь запомнить в нем все: походку, рост, лицо... нет, смуглое, усы... ботинки... Тот оступился на камне, и Свиридонов ожидал, что вот сейчас он прижмет автомат локтем. Ах, вот как! Ожидание не сбылось — «гость» ладонью подхватил автомат за

конец приклада. Любопытно, что-то говорит старшему наряда. Но почему тот — офицер?

— Товстарлей...

Это предупреждение сержанта Иванова: пора уходить. Конечно, мог бы забыться: такая ведь минута! Но подстраховка есть подстраховка, Свиридонов тоже знал — не осталось ни секунды, и он подал знак: «Отходим!»

Через несколько минут они уже спустились к тропе и шли по ней во весь рост, не прячась и не таясь, как всегда ходят по своей земле. На ходу разминали отекавшие колени и спины, сержант как веером обмахивал панамой грудь, шурился, улыбался широко и белозубо, не в силах сдержать восторг удачи. И если бы не автомат и не форма да не лицо, непривычно и чуть жестковато покрытое здешним загаром, можно было подумать, что Коля Иванов вырвался на выходные из городской суеты и теперь улыбается щедрому летнему солнцу русского перелеска где-нибудь под Тарусой. Но Свиридонов шел впереди, не оборачивался, и сержант надел панаму, одернул гимнастерку, быстро догнал командира.

— Хорошее место оставляем, — отметил Свиридонов.

— Место что надо, товарищ старший лейтенант, — согласился сержант. Ему хотелось добавить еще что-то, но он удержался, видимо, опасаясь, что комплименты прозвучат уже неестественно, и невольно оглянулся, нашел глазами место, которое они только что оставили.

Валун этот, обросший мохом, заметил Свиридонов и на нем остановил свой окончательный выбор. Доля риска в этом, конечно, была: валун хотя и не особенно приметный среди остальных, но с той стороны он хорошо просматривался, и заметь они их, замаскированных под камни, сразу же возникли бы подозрения. Но Свиридонов рискнул и учел время суток: пока солнце не перевалило «палец», наблюдавшие оставались в тени.

Но учитывали это и «соседи» — вышли в самое несмотровое время. Еще бы минут двадцать, и все ожидания напрасны. Но теперь и без слов было ясно, что сработали они чисто: раз «гость» прошел мимо и угодил под их бинокли, значит, та сторона останется спокойной.

— Ну, сержант, докладывай, — решив, что времени для обдумывания было достаточно, разрешил Свиридонов.

— Это не пограничник, товарищ старший лейтенант, — уверенно сказал сержант, слишком поздно

вспоминая, что выводы делает командир, а он должен с предельной точностью доложить результаты наблюдения. — То есть не такой он, как те, — начал было исправляться сержант. — Я знаю их отряд, а новичок, как вам сказать, он не служить приехал...

— Почему же не служить, если ходит в наряд?

— Делает вид. Это они нам хотят сказать: у нас новенький, будет служить. Но их пограничники служат по-другому.

— Яснее, сержант.

— У новичка нет покорности. Знаете, товарищ старший лейтенант, мне кажется: «гость» не мусульманин.

Свиридонов остановился, посмотрел прямо в глаза сержанту. Взгляд прямой, в нем ничего лишнего — лишь спокойствие и уверенность. И только по тому, как сжал он пересохшие губы, можно было догадаться, что ошибку со своей стороны он все же допускает. Свиридонов мысленно поблагодарил его за это: не настаивает, высказывает лишь версию, опасаясь ввести в заблуждение, хотя уверен на все сто.

— Хорошо, а теперь факты.

И пока Иванов обосновывал версию фактами, Свиридонов не переставал удивляться: откуда в этом двадцатилетнем калужском пареньке столько взрослости? Наверное, ни разу не видел гор, а как читает их? Откуда глубина? Наблюдательность? Хотя, вспомнил Свиридонов, наблюдательность от профессии, он же бывший пасечник.

— А вы заметили, как он сегодня автомат поддерживал?

— Да, да, заметил, все верно, — проговорил Свиридонов.

— Что, товарищ старший лейтенант, будем ждать его? — понизив голос, спросил сержант.

Свиридонов не ответил. Да и что мог он ответить? Главное сержант знал не хуже командира: на участке границы готовится попытка перехода. Остальное бывает известно только после сработки или когда собака возьмет след, уводящий в тыл заставы. Но в этот раз готовилось что-то неожиданное, и времени уже не оставалось: чувствовалось, что та сторона готова. Свиридонов на минуту расслабился, потом снова попытался выстроить события в цепочку, выявить закономерности. Итак, три месяца назад у «соседей» появилось начальство, оно оставило на заставе троих новеньких. Один не в счет,

он явно служака-новобранец, но вот другие... С первым познакомились: даже не мусульманин. Откуда? Зачем? Почему шел в расщелину? Значит, появившийся локатор и сам «гость» — звено одной цепи?

Не мог Свиридонов объяснить себе и появление локатора. Он вспомнил карту, еще раз мысленно перечитал ее... Зачем им локатор, который видит только расположение нашей заставы? Зачем?

Опять словно подножка его рассуждениям мысль о недавнем ЧП с нарядом старшего сержанта Павлова. Если считать, что оно имеет отношение ко всему происходящему, то... Но Свиридонов опять запретил себе додумывать эту мысль. Слишком понятной становилась картина происходящего, слишком четко все становилось на свои места, но чем понятнее и убедительнее, тем страшнее она казалась командиру. Нет, этого не могло быть! Мы же застава, советская пограничная застава. Фантастика! Значит, надо рассчитать другие варианты, надо успеть.

— Думаете, не он, товарищ старший лейтенант?

И опять Свиридонов не ответил. Он остановился, сдвинул набок и расстегнул полевую сумку.

— Все может быть... все. А пока, сержант, давай-ка вот это... восполняй калории. — И Свиридонов ровно на две части разделил плитку шоколада, уже не хрупкого, а словно бы подвяленного.

Впереди, за вышкой, на которой сейчас нес службу рядовой Игнатов — боевой расчет Свиридонов помнил наизусть, — пылил «уазик» медицинского бога заставы прапорщика Савельева. Машина несколько раз вильнула, отдавая должное дороге, и начала спускаться к поселку, осторожно, как черепаха, боясь споткнуться передними лапами.

Сержант перехватил взгляд командира, и оба они подумали об одном: врачи поселковой больницы снова проверяли наряд Павлова.

— Знаете, товарищ старший лейтенант, ребята не верят, что это было случайно, — проговорил наконец сержант Иванов, снова подталкивая командира к мысли, от которой тот все время хотел отказаться: ЧП с нарядом связано с «той» стороной.

— В том ручье мы всегда умываемся и воду для бани берем... Понимаете? А тут вдруг простуда?

— Не фантазируйте, — холодно и официально, почти приказом, остановил его Свиридонов, хотя понимал, что

зря он так с сержантом. Сомнение приказом не развеешь... Но к чему лишняя паника? Поверить в ЧП — значит допустить, что у ручья, на нашей территории, побывали с той стороны... А почему бы и нет? Горы! И как объяснить странную простуду наряда Павлова? Диагноз так и остался открытым: сужения зрачков, куриная слепота на три вечера, хрипы, иногда легкие судороги. Конечно, если домыслить, можно предположить воздействие нервно-паралитиков. Но откуда? Здесь? В четырех километрах от заставы? Кто? И почему переболели лишь русские, все, кроме таджика Джалилова?

И Свиридонов вдруг совершенно ясно понял, что ЧП с нарядом и нынешняя обстановка на границе могут быть как-то связаны. Понял, что с этого дня, с этой самой минуты он должен учитывать и эту версию...

Пытаясь успокоиться, он додумывал запретную для себя мысль, выстраивал еще одну цепочку; сама возможность подобного казалась ему самым настоящим бредом, но старший лейтенант проработал версию до конца.

— Что загрузили, сержант? — пытаюсь искупить недавнюю резкость, спросил Свиридонов. — Вы же с Оки родом?

— Оттуда.

— А я со Свири, потому и фамилия такая странная: Свиридонов... Так что речные мы братья, а, сержант?

Иванов улыбнулся, пошел рядом с командиром.

— Послушай, а как ты в пасечники угодил?

— Отца пожалел, товарищ старший лейтенант. У него пасека была, а тут семья за семьей, семья за семьей... Никогда не было, а тут налетел варратоз, вот как колорадский жук на картошку. Одному трудно ему было, вот я и пошел на пасеку.

— И что же теперь?

— А ничего! Осталось восемь семей, это из ста двадцати. — Сержант не удержался, вдруг опять свел на свое: — Вот вы не верите с нарядом Павлова. А скажите: был у нас раньше колорадский? А варратоз? Откуда они?

Свиридонов молчал. Что ответить сержанту? Он не знал, откуда и почему вдруг где-то возникают очаги сибирской язвы, оспы. Не знал, почему случаются внезапные эпидемии, поражающие лишь определенные этнические группы. Он не знал этого точно, доказательно, как и должен высказываться военный человек. А высказы-

вать точку зрения телезрителя программы «Международная панорама» он просто не имел права, особенно сейчас...

От заставы пахло картошкой с тушенкой, позволившей для пятницы роскошью. Пограничники обтирались до пояса холодной водой — старшина специально остужать ее ездил к девятому пикету, колот там лед и бросал в бочку. Через несколько минут построение на завтрак.

— Вовремя! — подмигнул Свиридонов.

Дежурным по заставе заступал замполит, старожил этих мест — он служил на этой заставе срочную. И все же Свиридонов проверил боевой расчет, попросил:

— Наряд у девятого пикета пусть проверит противогазы, распорядись.

Он не стал посвящать замполита в свои догадки, а все остальное они с офицерами обсудили и взвесили у него в кабинете. Говорить много не пришлось, каждый понимал, что готовится переход, и каждый знал, что делать ему на своем месте.

Свиридонов постоял у выхода: старшина сливал остатки воды в умывальники, готовил цистерну, чтобы завтра привезти с пикета полную — суббота, банный день... Постучал по соседней бочке, проверяя на слух остатки питьевой воды — ее привозили из поселка. А ветер доносил обрывки приказа:

— ...выступить на охрану государственной границы...

Еще раз взглянул на хлопотливого старшину, вспомнил, что девятый пикет — участок наряда сержанта Иванова, и пошел к вагончику с единственной мыслью: постараться уснуть, надо!

Свиридонову сначала показалось, что это он сам для себя придумал тревогу, что это галлюцинации. Но все настойчивее к нему прорывался негромкий, но требовательный зуммер сработки сигнальной системы. Тревога!

Навстречу из спального помещения уже бежали солдаты тревожной группы, взревела мотором машина.

— Товарищ старший лейтенант...

— Где? — прервал доклад Свиридонов.

— Две сработки... опять на шестом и третьем участках. И сержант Иванов доложил: нарушена государственная граница.

Мысль работала четко, словно Свиридонову оставалось теперь лишь повторить хорошо заученный урок.

— Во сколько доложил Иванов?

— В ноль четырнадцать. А через три минуты сработка... обе... Обстановка ясна, товарищ старший лейтенант, на той стороне засекли обнаружение и...

— Действуйте! Я с тревожной, к Иванову!

Машина, вспарывая темноту прожектором, карабкалась к пикету, когда совсем рядом, всего в ста метрах заплясал лучик фонарика.

— За мной!

Помощь не потребовалась. Свиридонов сунул пистолет в кобуру, остановил доклад Иванова:

— Все вижу. А «гость»?

— Его не было... А Джалилова ножом, гад, успел.

Джалилов стоял в стороне, придерживал одной рукой бок чуть выше бедра, а другой рукой успокаивал Пройду.

— И еще вот что, товарищ старший лейтенант, хотел раскусить...

Свиридонов взял ампулу, задержанный рванулся, но никто не удержал его: связан он был надежно.

— Это не яд, товарищ старший лейтенант. Видите?

Свиридонов согласно покачал головой, не замечая, как крепко сжал руку сержанта. Он все не отпускал ее, словно мог ответить на вопросы, которые читал в глазах сержанта Иванова: а варратоз? А почему не заболел только Джалилов? Ведь все умывались, весь наряд! И Свиридонов проговорил, может, не для сержанта, больше для себя:

— Подопытных нашли? Лабораторию захотели в естественных условиях!..

На минуту стало тихо. И, не сговариваясь, все посмотрели на командира, точно почувствовали опасность. Показалось, они и хотели и могли сейчас понять странную недоговоренность в словах офицера. Каждому из них в данный момент это было необходимо.

СОДЕРЖАНИЕ

«Вы так сильны, мои заставы...» В. И. Назаров . . .	3
Павел Ермаков	
ПОКА НЕ ПАЛ ТУМАН (повесть)	5
Евгений Воеводин	
ПУД СОЛИ (повесть)	77
Виктор Пшеничников	
ВОСЕМЬ МИНУТ ТРЕВОГИ (повесть)	191
Р а с с к а з ы	
Николай Черкашин	
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ	289
Игорь Козлов	
ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ	304
Владимир Тикыч	
СТАЖИРОВКА	347
Роман Федичев	
ВЕРСИЯ СВИРИДОНОВА	360

ИБ № 5343

В ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ

Редактор С. Ионин
Художник В. Ногаев
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор Р. Сиголаева
Корректоры И. Ларина, Т. Пескова

Сдано в набор 17.06.86. Подписано в печать 09.12.86. А14809. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 19,32. Условн. кр.-отт. 19,92. Учетно-изд. л. 20,5. Тираж 150 000 экз. (75 001 — 150 000 экз.). Цена 1 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21. Заказ 1509.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь», 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Заказ 6—408.

1 р. 30 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ